

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2015

№ 3 (35)

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.

Журнал входит в "Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук", Высшей аттестационной комиссии



*Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) – отв.
секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

*Editorial Board of the
Tomsk State University
Journal of Philology*

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) – Editor-
in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) – Deputy Edi-
tor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) – Deputy
Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) – Executive
Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) – Deputy
Executive Editor
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

*Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Дж.Ф. Бейлин Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Варганова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)

М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)
А.С. Янушкевич (Томск, Россия)

*Editorial Council of the
Tomsk State University
Journal of Philology*

J.F. Bailyn (Stony Brook, United States)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, United King-
dom)
M.N. Lipovetsky (Boulder, United States)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, United States)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)
A.S. Yanushkevch (Tomsk, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Богоявленская Ю.В. Конвергенция парцелляции и лексического повтора во французских и русских медиатекстах	5
Воробьева Е.Н. О коммуникативном статусе недоуменного вопроса	16
Ковальчук С.С. К вопросу о структурных видах и типах монолога в трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет, принц датский»	26
Матханова И.П. Высказывания со словом <i>получается</i> : предпосылки и условия вводного употребления	33
Меняйло В.В. Трансформация образа художника в едином тексте Дж. Фаулза	48
Мишанкина Н.А., Рахимова А.Р. Метафорическое моделирование структуры психики человека в научном психологическом дискурсе	57
Рахилина Е.В. Стилистически маркированные глаголы в русском языке: <i>совать</i> – <i>сунуть</i>	73
Трубакина Н.В. Семантика подчинительных союзов в островных немецких говорах Алтая	93
Юрина Е.А., Живаго Н.А. Метафоризация поглощения пищи в образном строе русского языка	107
Якоба И.А. Власть дискурса медийного пространства в борьбе за номинацию	122

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Биткинова В.В. Текст документа, стиливой диалог и языковая игра в исторических эссе Виктора Сосноры	135
Воробьева Т.Л. Поэтика пьесы Нины Садур «Чудная баба»: мистико-мифологические мотивы и образы	152
Жилякова Э.М., Буданова И.Б. Книги И.-В. Гете и Виктора Гена об Италии в круге чтения А.Н. Островского (1870–1880-е гг.)	164
Новикова Е.Г. Проблематика перевода в программе деконструкции Жака Деррида	179
Янушкевич А.С. Феномен калокагатии в русской словесной культуре 1790–1830-х гг. Статья 1	189

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

Калиткина Г.В. Рецензия на книгу: Ефанова Л.Г. Норма в языковой картине мира русского человека	202
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	209

CONTENTS

LINGUISTICS

Bogoyavlenskaya Yu.V. Convergence of parcelling and lexical repetition in French and Russian newspaper texts	5
Vorobyova Ye.N. On the communicative status of the baffling question	16
Kovalchuk S.S. On the structural kinds and types of the monologue in W. Shakespeare's tragedy <i>Hamlet, Prince of Denmark</i>	26
Matkhanova I.P. Expressions with the word <i>poluchayetsya</i> : prerequisites and conditions for parenthetical use	33
Menailo V.V. The image of artist transformation in the author's text of J. Fowles	48
Mishankina N.A., Rahimova A.R. Metaphorical modeling of human psyche structure in scientific psychological discourse	57
Rakhilina E.V. Stylistically marked Russian verbs: the case of <i>sovat'</i> – <i>sunut'</i>	73
Trubavina N.V. Semantics of subordinate conjunctions in the oral speech of upper- and low-insular Altai German dialects	93
Yurina Ye.A., Zhivago N.A. Metaphorization of eating in the imagery of the Russian language	107
Yakoba I.A. Discourse power of media space in the struggle for nomination	122

LITERATURE STUDIES

Bitkinova V.V. Documentary text, dialogue of styles, and language play in the historical essays of Victor Sosnora	135
Vorobyova T.L. The poetics of Nina Sadur's play <i>Chudnaya baba</i> : mystic and mythological motifs and images	152
Zhilyakova E.M., Budanova I.B. Books of I.-W. Goethe and Victor Hehn about Italy in A.N. Ostrovsky's reading circle (1870–1880s.)	164
Novikova Ye.G. Translation issues in Jacques Derrida's deconstruction program	179
Yanushkevich A.S. The kalokagathia phenomenon in the Russian verbal culture of 1790–1830s. Article 1	189

REVIEWS, CRITIQUES, BIBLIOGRAPHY

Kalitkina G.V. A Book Review: Yefanova L.G. <i>Norma v yazykovoy kartine mira russkogo cheloveka</i> [The Norm in the Language Picture of the World of a Russian]	202
--	-----

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	209
--	-----

ЛИНГВИСТИКА

УДК 811.161.1:811.133.1'42
DOI 10.17223/19986645/35/1

Ю.В. Богоявленская

КОНВЕРГЕНЦИЯ ПАРЦЕЛЛЯЦИИ И ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОВТОРА ВО ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКИХ МЕДИАТЕКСТАХ

В статье рассматривается взаимодействие парцелляции с различными разновидностями лексического повтора. В качестве исследовательского материала используются тексты французских и русских газет. Анализ корпусов позволяет зафиксировать широкое и эффективное использование данного вида конвергенции, которая основана, с одной стороны, на функциональной общности этих стилистических приемов – выделении значимого фрагмента текста, с другой – на эксплуатации их деструктивно-конструктивного механизма. Выявляются значимые сходства, расхождения и специфические особенности в использовании разновидностей повтора, способного входить в конвергенцию с парцелляцией во французском и русском языках.

Ключевые слова: парцелляция, лексический повтор, стилистическая конвергенция, стилистический прием, сопоставительная стилистика.

В современной лингвистике единодушно признается, что парцелляция – явление живое, активное, преуспевающее, что вызывает стабильный интерес исследователей, изучающих различные аспекты этого интереснейшего феномена начиная с середины прошлого столетия. Однако при всем богатстве лингвистической литературы по проблеме парцелляции отсутствуют работы, посвященные углубленному изучению некоторых вопросов, в частности конвергенции парцелляции с конкретными стилистическими приемами. В исследованиях, посвященных стилистическому аспекту парцелляции, иногда указывается на возможность ее вхождения во взаимодействие с другими стилистическими средствами языка с представлением перечня зафиксированных вариантов (см., например, [1. С. 10–12]). Следует также упомянуть, что основная масса работ по парцелляции выполнена на материале русского языка, гораздо реже английского, немецкого, французского и т.д., в связи с чем с особой остротой встает вопрос о выявлении конвергентного потенциала парцелляции в других языках и его сопоставлении с русским. Как показал анализ научной литературы по вопросу, как во французской, так и в российской лингвистике на данный момент отсутствуют работы, направленные на изучение конвергенции парцелляции и повтора. Данное исследование, выполненное в русле сопоставительной стилистики, позволит выявить репертуар видов подобных конструкций и изучить их стилистический потенциал в сопоставительном аспекте на материале двух отдаленно родственных языков – французского и русского. Эти языки имеют значительные различия в грамматической системе, что может ограничивать или не допускать применение тех или иных видов конвергенции этих приемов.

Вслед за Г.А. Копниной под парцелляцией мы понимаем «стилистический прием (в иной интерпретации – стилистическая фигура), состоящий в таком расчленении единой синтаксической структуры предложения, при котором она воплощается не в одной, а в нескольких интонационно-смысловых речевых единицах, или фразах» [2]. Прием парцелляции позволяет расчленить структуру предложения на две и более составляющие – основную часть и парцеллят(ы), например:

1) La perspective d'une loi d'amnistie des délits politico-financiers est inacceptable (1). *Scandaleuse*. (2) *Révoltante*. (3) (L'Humanité, 08.07.2002).

2) Glencore поможет «Русснефти» (1). *Чтобы не потерять ее контракты* (2) (Коммерсантъ, 06.03.2013).

В приведенных примерах (1) – основная часть парцеллированной конструкции, (2) и (3) – парцелляты.

Основной функцией парцелляции, присущей всем конструкциям, признается выделительная функция [3. С. 13–14]. В каждой текстовой реализации парцеллированная конструкция может выполнять также изобразительную, характерологическую и/или эмоционально-выделительную функции [4. С. 87–89].

Для изучения парцеллированных конструкций были созданы два оппортунистических корпуса текстов статей, отобранных из интернет-архивов французских и русских респектабельных и массовых газет: «Le Monde», «Le Figaro», «La Tribune», «Libération», «L'Humanité»; «Российская газета», «Коммерсантъ», «Аргументы и факты» (АиФ), «Независимая газета», «Московский комсомолец». Данные исследовательские корпуса содержат около 2500 случаев использования парцеллированных конструкций. Обращение к корпусной методологии обусловлено необходимостью более точно статистически описать изучаемый лингвистический феномен, разграничить типичное и менее типичное, а также редкое или даже окказиональное.

Анализ корпусов показывает широкие возможности парцелляции к конвергенции, под которой понимаем «сложный стилистический прием, основанный на взаимодействии стилистических средств одного или разных уровней языка в результате выполнения ими единой стилистической функции» [3. С. 11]. В результате конвергенции стилистические приемы оттеняют, высвечивают друг друга, «производимый ими сигнал не проходит незамеченным» [5. С. 63].

Приведем несколько примеров. Одним из наиболее распространенных случаев является конвергенция парцелляции и приемов метафоризации (примеры 3, 4):

3) En reportant l'ensemble du projet de loi sur la famille, le président de la République fâche la gauche, contente la droite et légitime un camp réactionnaire. *Sans pouvoir prédire où s'arrêtera ce jeu de dominos* (L'Humanité, 04.02.2014).

4) Антрепризные спектакли дают играющим какие-то деньги. *И пожирают талант (если он остался) своей невзыскательностью* (АиФ, 24.12.2014).

Конвергенция парцелляции и метафоры в яркой эмоционально-экспрессивной форме выводит на первый план выражение авторского восприятия ситуации, ведь, как справедливо отмечает М.В. Плотникова, «мета-

форическая репрезентация позволяет наиболее точно и полно понять авторскую картину мира» [6. С. 343].

Совместно с градацией парцелляция может вывести в фокус внимания члены ряда, расположенные по нарастающей смысловой или эмоциональной значимости (примеры 1, 6), часто также сопровождающиеся метафоризацией (пример 5):

5) D'abord refusée par les grands éditeurs britanniques, la série de J.K. Rowling, où le héros grandit au même rythme que ses premiers lecteurs, a été un événement majeur, de l'avis de tous les professionnels du secteur. Un séisme dans le paysage littéraire (Le Monde, 26.11.2014).

6) Есть было нечего. Буквально. СОВСЕМ нечего (АиФ, 09.05.2013).

В примере 6 второй парцеллят усилен повтором «нечего» и использованием графона «СОВСЕМ». Подчеркнутые элементы имеют нечто общее, но в то же время противопоставлены по степени интенсивности проявления этого общего. Парцелляция градонимов выражает пространственное или иное, значимое в коммуникативном плане, возрастание признака, а также способствует реализации усиленной достоверности (примеры 1, 5, 6). В основном встречается двухкомпонентная парцеллированная градация, но в нашем корпусе имеются и более сложные конструкции, включающие до четырех парцеллированных градонимов, чаще всего выполняющих характерологическую (пример 7) или эмоционально-выделительную функцию:

7) Mais le plus beau c'est que je skie depuis ce week-end. Un peu. Doucement. Précautionneusement. Amoureusement. (Le Figaro, 15.01.2014).

Назначение антитезы заключается в «подчеркивании различия между элементами противопоставления через их разделение» [7. С. 27]. Совмещение парцелляции и антитезы в рамках одной конструкции способствует созданию рельефного и подчеркнутого контраста (примеры 8, 9):

8) Sur terre, Auvinen avait un âge avancé. Mais, au ciel, il n'est encore qu'un novice, brûlant du désir de s'initier aux «missions de protection» (Le Monde, 22.05.2014).

9) В советской школе подневольно изучали «Как закалялась сталь» про героическую и трудную жизнь Павла Корчагина. А после уроков дети с азартом читали «Двенадцать стульев» про весёлую и мошенническую – Остапа Бендера (АиФ, 17.12.2014).

Комбинация парцелляции и сравнения позволяет сконцентрировать внимание читателя на выдвигаемом на первый план характере ситуации (примеры 10, 11):

10) «Je serai pilote», avait annoncé Marcus Gronholm. Comme une bravade, un défi lancé au sort (La Tribune, 6.10.2002).

11) Первое, что я очень скоро понял, спортсмены – как дети. Даже, скорее, как инопланетяне. (АиФ, 14.02.2014).

В имеющихся корпусах зафиксированы также многочисленные примеры парцелляции, конвергирующей с другими разноплановыми стилистическими приемами: зевгмой, хиазмом, эллипсисом, гиперболой, полисиндетоном и т.д.

Итак, парцелляция имеет действительно большой конвергентный потенциал. Как показал анализ материала, одним из наиболее встречающихся видов изучаемой конструкции является конструкция с парцелляцией повтора.

В лингвистической литературе описываются различные виды повторов, которые сводятся к следующим:

- фонетические повторы;
- повтор одних и тех же языковых единиц: морфемные, лексические, фразовые повторы;
- семантические повторы;
- синтаксические повторы (тождественное построение предложений или их фрагментов).

Для всех видов повторов характерна функция эмфатизации (выделения) какого-либо отрезка текста за счет определенной плотности повторяющихся единиц в речи, которая становится заметной для слушателя или читателя [8. С. 260]. Повтор также участвует в реализации категории связности текста. Следовательно, парцелляция и повтор имеют ряд как общих, так и различающихся черт. Общим является назначение того и другого приема выделять значимый фрагмент текста. Различным – способы достижения этой цели.

Если парцелляция – прием деструктивный, графически разрывающий линейную последовательность словоформ в предложении, то повтор – прием конструктивный, выполняющий роль связующего элемента и обеспечивающий локальную когезию текста. Совмещение этого общего и противоположного порождает эффект неожиданности и значительно увеличивает стилистический потенциал этих приемов, особенно в условиях сосредоточенной конвергентности.

Наш исследовательский материал располагает многочисленными примерами парцелляции всех указанных выше видов повторов, однако наиболее часто встречающимся видом является парцеллированный лексический повтор, который мы подробно рассмотрим в данной статье.

Как правило, парцеллированные повторы получают значительное синтаксическое расширение (100 и 96%):

12) Nous constatons d'ailleurs souvent qu'à rebours des discours des adultes les enfants sont contents. *Contents de faire des choses différentes dans l'école, contents que leurs journées de classe soient plus courtes.* (Libération, 06.10.2013).

13) Вот вам Герман во всей красе. *Герман, играющий смыслами и цитатами из тех же Стругацких* (АиФ, 06.03.2014).

Такие повторы позволяют, с одной стороны, несколько «разгрузить» основную часть конструкции, с другой – развить в зрительно выделенном парцелляте важную для автора мысль, сконцентрировав на ней внимание адресата (примеры 12, 13, 16–29).

Специфической чертой русского корпуса являются примеры нераспространенных повторов (4%). В этом случае автор дважды фиксирует внимание на важном для него фрагменте (примеры 14, 15):

14) И насколько я понимаю, у Хиллари Клинтон и Лаврова очень хорошие отношения. *Очень хорошие отношения* (Независимая газета, 03.07.2012).

15) И все родители хотят любить своего хорошего ребёнка. *Хорошего...* (АиФ, 12.11.2013).

Акцентированный в парцелляте, повтор приобретает особую значимость и обогащается дополнительными смысловыми нюансами. Поясним, что первый парцеллированный повтор «очень хорошие отношения» (пример 14) был

употреблен в конце абзаца, и далее эта тема не развивалась, осталась читателю на домысливание. Таким образом, автор не только убеждает читателя в теплых отношениях между двумя политиками, но и создает интригу, намекая, что в действительности эти отношения могут быть более серьезными, чем просто профессиональные. В примере 15 конвергенция парцелляции и повтора «хорошего» позволяет подчеркнуть и вывести на первый план одну из ключевых идей публикации: для родителей их ребенок всегда хороший, даже если он стал преступником. Они всегда найдут оправдание его поведению. Подобные парцеллированные повторы позволяют в емкой форме выразить смысл целого высказывания, сосредоточить мыслительные усилия реципиента, задать определенный угол зрения в понимании анализируемой проблемы.

По характеру расположения лексический повтор подразделяют на контактный (анадиплозис, геминация) и дистантный. Среди упорядоченных дистантных повторов выделяют анафору, эпифору, реддицию. Однако, как показывает анализ, не все виды вышеперечисленных повторов могут вступать в конвергенцию с парцелляцией.

Двукратные контактные повторы (анадиплозис) выступают эффективным средством выделения ключевого слова высказывания. Примеры взаимодействия парцелляции и анадиплозиса (39 и 30,5%) довольно многочисленны в обоих корпусах:

16) Régis Mailhot boit pour oublier. *Oublier* cette époque «moralisatrice» où «la franchise» serait devenue «un acte de délinquance», où les «inquisiteurs» de la bien-pensance seraient «partout» et où la «glorification de la différence» serait érigée en dogme (Le Monde, 21.03.2014).

17) Они, как и многие школьные учителя, действительно стараются сделать как лучше. И поэтому выработали чёткую и недвусмысленную стратегию. *Стратегию* коврового запрета (АиФ, 21.03.2014).

Конвергенция парцелляции и анадиплозиса – неожиданный и яркий прием, который используется для создания эффекта замедленной съемки.

Во французском корпусе зафиксированы примеры конвергенции парцелляции и анадиплозиса, в которых повтор выражен указательным местоимением (6%), дублирующим существительное и согласующееся с ним в роде и числе (примеры 18, 19):

18) Ce qu'elles partagent, c'est l'angoisse de l'échec, la crainte lancinante de ne pas réussir à reproduire les codes. *Ceux du maître blanc* (Le Monde, 13.02.2014).

19) Cela n'empêche pas la rage. *Celle d'une finale de Coupe de France, face à Sedan* (Le Figaro, 16.05.1999).

Местоименный повтор – достаточно распространенное явление во французской речи. Его парцелляция, как и в предыдущих случаях, позволяет сфокусировать внимание реципиента на той или иной детали, вернуть его к значимому элементу. Подобные повторы демонстрируют грамматическую (морфологическую) вариативность парцеллированного повтора, что является специфической чертой французского корпуса.

Следует отметить, что парцелляция может конвергировать только с такой разновидностью контактного повтора, как анадиплозис. Примеров взаимодействия парцелляции и геминации (трехкратный повтор) зафиксировано не было.

Почти в два раза чаще контактных в обоих корпусах встречаются дистантные повторы (60 и 65%), которые имитируют спонтанность разговорной речи или развития авторской мысли, дают возможность читателю проследить за ходом ее развития (примеры 20, 21):

20) Nous devons donc négocier avec eux. Mais il y a aussi les politiques qui prennent le relais par méconnaissance de ce qu'est notre droit. *Méconnaissance non seulement de ce qu'est la Sacem mais de toutes les sociétés d'auteurs, en particulier européennes, qui sont unies dans ce domaine* (Humanité, 31.01.2014).

21) Положа руку на сердце, хороший ребёнок, для огромного числа людей – это удобный ребёнок. *Удобный для жизни...* (АиФ, 12.11.2013).

Реддичия (кольцо) – достаточно редко встречающийся вид повтора (1 и 1,5%). Повторяемое слово находится в начале основной части конструкции, а повтор – в конце парцелляты:

22) «Une polémique ayant été entretenue sur la validité de ce règlement et quelle qu'en soit la réalité, je ne puis la laisser prospérer», écrit encore M. Sarkozy. *Mais l'affaire dite « des pénalités » ne saurait se résumer à une simple « polémique »* (Le Monde, 04.12.2014).

23) Приятно удивили сборные Алжира, Франции и Голландии. *А вот россияне никак не удивили* (Московский комсомолец, 14.07.2014).

Обычно такие кольцевые повторы выражают уверенность, неизбежность оценки или же, наоборот, заостряют внимание на противоречивости того или иного явления, становятся средством противопоставления (пример 23), выражением иронического или саркастического (пример 22) отношения автора.

Случаи совмещения парцелляции и эпитифорического повтора зафиксированы только в русском корпусе (3%). Подобные парцелляты подчеркивают непреложность конечного вывода, результата, который чаще всего носит пессимистическую или отрицательную окраску, что наглядно иллюстрирует пример (24):

24) Я отчетливо увидел, что, взрослея, мы много теряем. *Что-то обретаем, но очень-очень много теряем* (АиФ, 26.04.2013).

Парцеллированный повтор «много теряем» представлен в сосредоточенном взаимодействии с двойным наречием со значением интенсификации «очень» и усилен парцеллятной антитезой «обретать – терять». Автор стремится донести до читателя, что с возрастом человек теряет все же больше, чем приобретает на своем жизненном пути. Эпитифорический парцеллят транслирует чувство сожаления, которое автор хочет разделить с читателем.

Проанализируем еще один пример, где посредством конвергенции парцелляции, эпитифорического повтора и риторического вопроса автор добивается высокой экспрессивизации текста (пример 25):

25) Как за последние десятилетия факт детской стрельбы стал из фантастики – реальностью? *Пугающей, ошеломляющей, но реальностью* (АиФ, 05.11.2014).

Здесь парцеллированный эпитифорический повтор фокусирует внимание читателя на второй части антитезы «фантастика – реальность», которая охарактеризована автором яркими эпитетами с негативной семантикой «пугающая», «ошеломляющая».

В трех- и более компонентных конструкциях были выявлены два вида парцеллированных повторов: лучевые и последовательные.

Конвергенция парцелляции и лучевого повтора свойственна как французским (пример 26), так и русским (пример 27) конструкциям:

26) D'un côté, la reine des abeilles. Celle qui pollinise une féminité fière, militante et émancipée depuis le début des années 2000, lorsqu'elle officiait au sein du «girl's band» Destiny's Child, dont elle repêche ici le tube Survivor – coffre profond, léger vibrato. Celle qui vocalise pour l'investiture de Barack Obama, guinche avec Michelle pour lutter contre l'obésité, organise une collecte de vêtements pour Emmaüs avant ses concerts parisiens. Celle qui, casquette queer vissée à la tête, se targue de ne compter, hormis une paire d'aimables acrobates français, que des femmes sur scène à ses côtés : une dizaine de musiciennes, une dizaine de danseuses (Le Monde, 27.04.2013).

27) В настоящую черную дыру мировой политики превратился юго-восток Украины. Дыру, где не действуют никакие нормы и правила. Дыру, где понятия «логика» и «здоровый смысл» попросту не существуют. Дыру, которая обладает способностью высасывать весь позитив из нашей жизни (Московский комсомолец, 22.07.2014).

Как правило, в этом случае взаимодействие парцелляции и повтора дополняется полным или частичным синтаксическим параллелизмом, анафорическими повторами (только в парцеллятах) и используется в целях усиления и выделения смысловых и эмоциональных компонентов текста, а также ритмизации речи.

Обычно количество таких парцеллят не превышает трех, но во французском корпусе имеются примеры более крупных лучевых построений, достигающих до шести парцеллят (пример 28):

28) Derrière ces pas de danse se tient l'autre Beyoncé. La fusée fuselée. Celle qui propulse, du haut de ses talons aiguilles, les archétypes d'une certaine Amérique rutilante, gentiment croyante et phallocrate. Celle qui chanta, le 31 décembre 2009, pour la famille Kadhaft, ou, en février dernier, à la mi-temps du Superbowl. Celle qui a baptisé sa tournée The Mrs. Celle qui simule en combinaison dentelée, sur Naughty Girl, un peep show de pacotille, et fait rugir les lance-flammes tous azimuts. Celle, encore, qui entrecoupe sa prestation d'extraits du documentaire qu'elle a réalisé pour HBO, Life is But a Dream, ode un brin édifiante à l'épanouissement familial, avant de promener des landaus zébrés. Celle, enfin, qui grimpe les tonalités crescendo sur Love on Top, hit jacksonnien en diable de son quatrième et dernier album à ce jour, 4 (2011) (Le Monde, 27.04.2013).

В данном примере взаимодействуют парцелляция, анафорические повторы в парцеллятах, полипредикативный полисиндетон контактной структуры, частичный синтаксический параллелизм, реализующиеся в рамках рассредоточенной конвергенции.

Как правило, лучевые повторы позволяют ввести полную, исчерпывающую характеристику объекта, сделав акцент на каждом парцеллированном элементе и подчеркнув множественность аспектов его рассмотрения.

Вторая разновидность конвергенции парцелляции и лексического повтора в сфере многокомпонентных конструкций – последовательные парцеллированные повторы (пример 29), отмечаемые только в русском корпусе (6%):

29) А вот теперь – как и обещано, почему лично для меня фильм кажется цельным. Более того, не просто цельным, а внятным, легко читаемым предсмертным посланием Алексея Германа. И не просто посланием, а посланием покаянным (АиФ, 06.03.2014).

Взаимодействие парцелляции и последовательного повтора способствует активизации восприятия содержания как в логико-семантическом, так и в логико-эмоциональном планах.

В целом взаимодействие парцелляции и различных разновидностей повтора можно объяснить с функциональной точки зрения. Оба стилистических приема выполняют общую – выделительную – функцию, но используют при этом различные механизмы: повтор – уплотнение речевой цепи определенными лексическими единицами, а парцелляция – графическое расчленение высказывания на части. Этот альянс конструктивно-деструктивного обеспечивает действенность этих экспрессивных средств и способен создавать, как мы убедились, различные стилистические эффекты. Взаимодействуя, парцелляция и повтор дополняют, усиливают и обогащают друг друга.

Конвергенция парцелляции и лексического повтора во французском и русском языках

Парцелляция повтора в рамках однозвенных конструкций			
		Французский язык, %	Русский язык, %
<i>По распространённости парцеллированных повторов</i>			
Нераспространённые		–	4
Распространённые		100	96
<i>По расположению парцеллированных повторов</i>			
Контактный (анадиплозис)	Выраженный им. сущ.	33	30,5
	Выраженный место- им.	6	–
Дистантный		60	65
Кольцевой (реддичия)		1	1,5
Эпифорический		–	3
Парцелляция повтора в рамках многозвенных конструкций			
<i>По распространённости парцеллированных повторов</i>			
Нераспространённые		–	–
Распространённые		100	100
<i>По расположению парцеллированных повторов</i>			
Лучевые		100	94
Последовательные		–	6

Важное замечание: конвергентная модель парцелляция + лексический повтор не остается закрытой, она допускает расширение за счет других стилистических средств (градация, метафора, синтаксический параллелизм, риторический вопрос и т.д.), осложняющих эту конвергентную модель и высвечивающих дополнительные коннотации (оценочность, актуализация поясняющей информации, создание контраста и т.д.).

При сопоставлении возможностей конвергенции парцелляции и повтора во французском и русском языках было обнаружено значимое сходство: взаимодействие этих приемов практически в равной степени широко используется в обоих языках. Различия касаются репертуара и частотности применения их разновидностей на уровнях типичное / менее типичное / редкое.

Результаты сопоставительного исследования обобщены в таблице.

Сопоставительный анализ позволил выявить сходство, различия и специфические черты, проявляющиеся при конвергенции парцелляции и лексического повтора. Как уже отмечалось, сходство проявляется, во-первых, в самой возможности вхождения парцелляции в конвергенцию с повтором. Во-вторых, как во французском, так и в русском языке возможно взаимодействие парцелляции с такими разновидностями контактного и дистантного повтора, как анадиплозис, эпифора и реддация. В-третьих, в обоих корпусах не обнаружено примеров парцелляции анафорического повтора, охватывающего и основную часть, и парцелляты, и геминии. В области расхождений зафиксировано отсутствие французских конструкций с парцеллятами – эпифорическими и последовательными повторами, тогда как в русском корпусе содержится незначительное количество подобных примеров. Специфической чертой русского материала в группе однозвенных конструкций является наличие нераспространенных парцеллятов-повторов, не свойственных французскому материалу. Французский корпус показывает возможность конвергенции парцелляции и местоименных повторов, дублирующих существительное основной части в роде и числе. Наличие этой специфики обусловлено особенностями грамматических систем французского и русского языка. В последнем эквивалентные указательные местоимения отсутствуют.

Анализ также позволил выявить более и менее типичные разновидности конвергенции парцелляции и повтора. В сфере однозвенных парцеллированных конструкций наиболее типичными видами в обоих языках являются парцеллированные распространенные повторы, расположенные дистантно, менее типичными – контактно расположенные парцеллированные повторы. В сфере многозвенных конструкций наиболее распространенными можно признать парцеллированные лучевые повторы. К редким разновидностям отнесем конвергенцию парцелляции и эпифорического повтора, а также последовательные парцелляты-повторы в многозвенных русских конструкциях.

Литература

1. Цумарев А.Э. Парцелляция в современной газетной речи: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2003. 26 с.
2. Копнина Г.А. Парцелляция // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. / под ред. М.Н. Кожинной. 2003. 696 с. URL: <http://stylistics.academic.ru/105/Парцелляции>
3. Копнина Г.А. Конвергенция стилистических фигур в современном русском литературном языке (на материале художественных и газетно-публицистических текстов): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Красноярск, 2001. 27 с.
4. Сковородников А.П. О функциях парцелляции в современном русском литературном языке // Рус. яз. в школе. 1980. № 5. С. 86–91.
5. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: (Стилистика декорирования). Л.: Просвещение, 1981. 295 с.

6. Плотникова М.В. Метафорическое представление образа любви в поэтическом дискурсе (на материале баллад Франсуа Вийона и их переводов на русский язык) // Вестн. ЧПУ. 2012. № 3. С. 342–350.

7. Плотникова М.В. Стилистические фигуры противопоставления в балладах Франсуа Вийона // В мире научных открытий. 2012. № 4.4 (28). С. 24–33.

8. Хазагеров Т. Г., Ширина Л.С. Общая риторика. Ростов на/Д: Феникс, 1999. 320 с.

CONVERGENCE OF PARCELING AND LEXICAL REPETITION IN FRENCH AND RUSSIAN NEWSPAPER TEXTS.

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 5–15. DOI 10.17223/19986645/35/1
Bogoyavlenskaya Yuliya V., Ural State Pedagogical University (Ekaterinburg, Russian Federation).
 E-mail: jvbog@yandex.ru.

Keywords: parcelling, lexical repetition, stylistic convergence, stylistic device, comparative stylistics.

Parceling is a special way of communicative and stylistic organization. It allows dividing the sentence structure into two or more parts: the main part and the parcel (parcels). The parcel may contain the most significant communicative and pragmatic information. Parceling allows the author to mark out the required part of the sentence to focus the attention and intensify the efforts of the recipient aimed at understanding the importance of this subject.

In the case of convergence the impact of parcelling improves thanks to the fusion of the potentials of stylistic devices the author uses. The study of the convergent potential of parcelling in comparative aspects on the material of distantly related languages with significant differences of the grammatical system, able to restrict the use of certain devices, is of interest to linguistics.

The analysis of French and Russian corpuses of newspaper texts reveals the great opportunities of parcelling in stylistic convergence. The convergence of parcelling and lexical repetition is especially effective and efficient. If parcelling is regarded as a destructive device, graphically tearing the linear sequence of word forms in a sentence, repetition is a constructive device playing the role of a connector and providing a local cohesion of the text. The combination of these opposites creates the effect of surprise. Parceled repetition emphasizes a mental fragment of the text, attracts attention and limits the scope or a particular aspect of its consideration.

The author of the article has identified, described and compared different species of parceled repetitions, actively operating in the French and Russian newspaper speech: contact and distant, common and non-circular, epiphoric, radial and successive. Performing the general, peculiar to all the species of the parceled text structure, function of highlighting of a significant fragment from other information, focusing the recipient's attention on it, each species of parcel-repetition accomplishes its specific function.

In addition, a comparative analysis revealed some significant differences in the use of different species of parceled repetitions. The distinctive features of the French corpus are the absence of structures with parcels: epiphoric, successive and non-developed repetitions, and the presence of parcels-repetitions with demonstrative pronouns. This specificity is due to the peculiarities of the grammatical system of the French language.

References

1. Tsumarev A.E. *Partsellyatsiya v sovremennoy gazetnoy rechi*. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Parceling in modern newspaper speech. Abstract of Philology Cand Diss.]. Moscow, 2003. 26 p.

2. Kopnina G.A. *Partsellyatsiya* [Parceling]. In: Kozhina M.N. (ed.) *Stilisticheskii entsiklopedicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian Language]. Moscow: Flinta Publ., Nauka Publ., 2003. 696 p. Available from: <http://stylistics.academic.ru/105/Partsellyatsiya>.

3. Kopnina G.A. *Konvergentsiya stilisticheskikh figur v sovremennoy russkom literaturnom yazyke (na materiale khudozhestvennykh i gazetno-publitsisticheskikh tekstov)*. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [The convergence of stylistic figures in the modern Russian literary language (based on artistic, newspaper and journalistic texts). Abstract of Philology Cand Diss.]. Krasnoyarsk, 2001. 27 p.

4. Skovorodnikov A.P. O funktsiyakh partsellyatsii v sovremennom russkom literaturnom yazyke [On functions of parceling in the modern Russian literary language]. *Russkiy yazyk v shkole*, 1980, no. 5, pp. 86-91.

5. Kopnina G.A. *Konvergenstsiya stilisticheskikh figur v sovremennom russkom literaturnom yazyke (na materiale khudozhestvennykh i gazetno-publitsisticheskikh tekstov)*. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [The convergence of stylistic figures in the modern Russian literary language (based on artistic, newspaper and journalistic texts). Abstract of Philology Cand Diss.]. Krasnoyarsk, 2001. 27 p.

6. Arnol'd I.V. *Stilistika sovremennogo angliyskogo yazyka (Stilistika dekodirovaniya)* [The stylistics of modern English (Stylistics of decoding)]. Leningrad: Prosveshchenie Publ., 1981. 295 p.

7. Plotnikova M.V. Metaphorical Representation of the Love Image in Poetic Discourse (François Villon's Ballads and Their Translations into Russian). *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University*, 2012, no. 3, pp. 342-350. (In Russian).

8. Plotnikova M.V. Stilisticheskie figury protivopostavleniya v balladakh Fransua Viyona [Stylistic Figures of Contrast in François Villon's Ballads]. *V mire nauchnykh otkrytiy*, 2012, no. 4.4 (28), pp. 24-33.

9. Khazagerov T. G., Shirina L.S. *Obshchaya ritorika* [General Rhetoric]. Rostov-on-Don: Feniks Publ., 1999. 320 p.

УДК 811.111

DOI 10.17223/19986645/35/2

Е.Н. Воробьева

О КОММУНИКАТИВНОМ СТАТУСЕ НЕДОУМЕННОГО ВОПРОСА

В статье определяется коммуникативный статус недоуменного вопроса. Автор показывает, что в недоуменном вопросе возможна различная сочетаемость собственной, информативной функции и вторичной функции, связанной с выражением эмоционально-оценочного состояния недоумения. В силу специфики синтаксической семантики вопросительного предложения, выражающего недоумение, его коммуникативный статус определяется как промежуточный, вопросительно-повествовательный.

Ключевые слова: недоуменный вопрос, вторичные функции вопросительного предложения, кардинальные и промежуточные коммуникативные типы предложения, актуальное членение, транспозиция, вопросительно-повест-вовательное предложение.

В процессе изучения вопросительного предложения с эмоционально-оценочным значением недоумения возникает вопрос о его коммуникативном статусе. Коммуникативная установка предложения имеет важное семантико-синтаксическое значение для его обобщающей характеристики. Согласно данному основанию в академических грамматиках выделяются четыре коммуникативных типа предложений: повествовательные, вопросительные, повелительные и восклицательные [1, 2, 3, 4] и др.

На современном этапе развития лингвистики предпринималось ряд попыток пересмотреть четырехчленную классификацию. Многие отечественные языковеды (как англисты, так и русисты) не поддерживают определение восклицательного предложения как отдельного коммуникативного типа, рассматривая восклицательность как черту, сопутствующую всем трем типам предложения [5, 6, 7, 8, 9, 10].

Поскольку свойством вопроса традиционно считалась направленность на выяснение неизвестной информации, эта его специфика и послужила основой отграничения вопросительного предложения (высказывания) от других коммуникативных типов. Теория речевых актов впервые расширила это понимание, обратив внимание на возможное многообразие интенций говорящего и выявив нетипичные случаи употребления стандартных речевых актов. Например, употребление формально-вопросительного предложения для выражения просьбы, отрицательно ответа, оценочного суждения и т.д. [11].

Действительно, если брать в расчет коммуникативную цель вопроса, то запрос неизвестной информации не является его единственной функцией. Эта особенность вопросительного предложения была отмечена в работах многих лингвистов – А.М. Пешковского, О. Есперсена, Е.В. Падучевой, Н.Н. Колесовой, О.Н. Хачапуридзе, О.Г. Почепцова, И.М. Кобозевой, Н.И. Голубевой-Монаткиной, Е.П. Хиндели, М.М. Поздеева, Л.Л. Дроботовой, Н.Н. Самсоновой, М.В. Рыбаковой, Л.З. Терешкиной, О.А. Казанли и др. Многие из этих исследователей говорят о вопросительных предложениях, сочетающих в себе

запрос информации и различные дополнительные эмоционально-импликативные оттенки. Согласно полученным статистическим данным вторичное значение реализуется примерно в 25% вопросительных форм [12. С. 116; 13. С. 119].

Некоторые исследователи упоминают эмоции удивления, недоумения, сомнения, несогласия при описании вторичных функций вопросительного высказывания (Л.П. Чахоян, Е.П. Хиндели, С.С. Шимберг, Е.М. Кутянина, Л.А. Остроухова и др.), хотя и не подвергают их более детальному рассмотрению. Термин «недоуменный вопрос» вводится впервые для обозначения вопросительных высказываний с семантикой недоумения. Ранее при рассмотрении добавочных эмоциональных значений вопроса авторы в основном упоминали вопросительные высказывания (предложения), выражающие психическую, эмоционально-оценочную «реакцию» собеседника на содержание предшествующего высказывания (например, недоумение, удивление, недоверие, несогласие) [14. С. 83; 15. С. 16; 16. С. 15; 17. С. 8]. По наблюдению Е.П. Хиндели, вопросы с эмоциональными оттенками удивления и недоумения являются наиболее частотными (3,94 и 3,48% соответственно) [13. С. 119].

Все отмеченные нетипичные случаи употребления вопросительных предложений четко устанавливаются в новой теории «коммуникативного треугольника», выдвинутой М.Я. Блохом. В соответствии с ней в синтаксисе языка строго выделяются девять коммуникативных типов предложения – три кардинальных (повествование, вопрос и побуждение) и шесть промежуточных – по два между каждой парой кардинальных (повествовательно-вопросительные, повествовательно-побудительные, вопросительно-повествовательные, вопросительно-побудительные, побудительно-вопросительные и побудительно-повествовательные) [7. С. 22; 18. С. 9]. Кардинальные и промежуточные типы предложения выделяются с учетом специфики их актуального членения. Под промежуточными коммуникативными типами предложения понимаются промежуточные конструкции со смешанными коммуникативно-установочными особенностями. При этом первая часть двойного термина обозначает форму конструкции, а вторая – ее функцию.

В основе появления неинформативных функций лежит механизм транспозиции, или оппозиционного замещения, который связан с переходом одного члена лингвистической оппозиции в сферу действия другого. При этом один член оппозиции выполняет одновременно две функции, причем первичная функция замещающего члена по преимуществу является дополнительной, а вторичная, несобственная функция – основной. Посредством синтаксической транспозиции выражаются тонкие нюансы этических значений, сильные эмоции, создается эффект экспрессивного воздействия на слушающего [19. С. 82–85].

Недоуменный вопрос помимо реализации первичной (информативной) функции выражает эмоционально-оценочное отношение участника коммуникации к фактам и ситуациям действительности. Именно эмоционально-оценочная реакция недоумения наиболее тесно связана с вопросительной семантикой, так как сигнализирует озадаченность, незнание, сомнение, недоверие. Эти значения для вопроса и являются категориальными. Недоумение

входит в группу отрицательных интеллектуальных эмоций и является инвариантом, составляющим таких эмоций, как удивление и изумление [20. С. 6]. Это объясняет тот факт, что вопрос, содержащий недоумение, редко встречается в чистом виде.

Эмоционально-оценочная семантика относится к модально-коммуникативному плану предложения. Как отмечает В.Г. Гак, «модус включает в себя, помимо собственно модального и коммуникативного элементов, также и эмоционально-экспрессивный аспект предложения» [21. С. 169–170]. Собственно информативное значение вопроса соответствует предметному (тематическому, номинативному) аспекту содержания вопросительного высказывания (диктуму).

Применительно к предмету настоящего исследования нам необходимо выяснить, может ли эмоционально-оценочное значение, заложенное в недоуменном вопросе, транспонировать вопросительное высказывание в эмфатическое выражение собственного эмоционального отношения к словам собеседника, что меняет его интеррогативную коммуникативную установку на вопросительно-повествовательную. Целью данного анализа также является рассмотрение доли эмоциональной оттеночности данного вида вопросительного предложения.

Обратимся к первому примеру:

«Boring?» she said hesitantly. «I didn't think he was boring at all. In fact, I thought that was one of our more interesting evenings».

«Did you?» he said, genuinely surprised. He was again reminded of their difference of opinion regarding Craig's works, and he frowned. «Well, he certainly seemed to like you ... and Craig doesn't like anybody».

«Well!» she said with a little laugh. [22. С. 264].

Структурные показатели квалифицируют коммуникативный тип анализируемого высказывания как вопросительный. Данный коммуникативный тип предложения предполагает открытость ремы и должен программировать ее заполнение в ответной реплике [7. С. 18]. Следовательно, реакцией на данный вопрос должно быть либо согласие с высказыванием, либо его опровержение. Как мы видим, вопросительное предложение *Did you?* представляет собой не столько уточнение информации, полученной от собеседницы, сколько выражает искреннее удивление на ее оценочное суждение. В семантику удивления здесь также входит недоумение вследствие непонимания. На преобладание эмоционального компонента значения высказывания указывает и отсутствие адекватной ответной реплики на его вопрос. Если обратиться к более широкому контексту, подобная эмоциональная реакция объясняется тем, что герой (Селден) не ожидал от своей гламурной жены-модели такой осведомленности в сфере серьезной литературы. В теории парадигматического синтаксиса место предложения в надфразовом синтаксисе трактуется как реализация его внешних связей через внутренние [23. С. 202]. Если подвергнуть данное вопросительное предложение экспериментальной трансформации, дополнив его, то мы получим следующее повествовательное предложение, которое мы считаем его семантическим инвариантом: *I am really surprised, that you didn't find him boring and think that it was one of our most interesting evenings.*

Приведенный выше анализ эмоционального вопросительного предложения проиллюстрировал явление коммуникативной транспозиции, смещения вопроса в сторону эмоционально-повествовательного суждения, а именно транспонирование по линии коммуникативной установки (вопросительность / повествовательность).

Проанализируем следующий пример:

Victor, with a resolutely cool smile: What a pity it was that I didn't go on with science.

Walter, puzzled: **What's wrong with that?**

Victor, laughing: Oh, Walter, come on, now! [24. С. 421].

Тематическую часть вопроса *What's wrong with that?* составляет оценочная конструкция *is wrong*. Помимо конструкции, оценка осуществляется и вопросительной формой предложения. Характер эмоционального состояния героя ясно описывается благодаря дескриптору-спецификатору в словах автора *puzzled*. Данный вопрос выражает недоуменную реакцию Уолтера на оценочное высказывание брата. Вопросительное местоимение *what* предполагает ответ, раскрывающий причину сожалений Виктора по поводу того, что он не связал свою жизнь с наукой. Однако вместо развернутого ответа автор вопроса получает лишь ироничное междометное восклицание. Таким образом, в данном вопросительном предложении мы наблюдаем то, что совмещенная оценочно-недоуменная семантика выходит на первый план и происходит транспонирование по линии коммуникативной установки, переводящее данное предложение в промежуточный, вопросительно-повествовательный тип.

Следующий пример также демонстрирует простую нераспространенную структуру, но эллиптического характера:

«You'll support me. If you're so big why don't you support your wife?»

«**Why should I?** Her father's rolling in it».

«You're so smug, is what gets me. Don't you ever think you're going to have to pay the price?» She looks at him now squarely with eyes bloodshot from being in the water [25. С. 136].

Вопросительное эмоциональное предложение может быть реагирующей репликой не только на предшествующее повествовательное предложение, но и на вопросительное (встречный вопрос). В данном тексте герой Гарри с недоумением возражает в ответ на вопрос любовницы, почему он не поддерживает материально свою жену. В вопросе *Why should I?* содержится еще меньше собственно информативной семантики, чем в предыдущем примере. На первый план выходит недоумение и возражение. Это подтверждает следующее за вопросом аргументирующее повествовательное предложение, проясняющее позицию героя. В русском переводе высказывание с идиоматическим выражением (*to be rolling in it*) соответствует варианту: *Зачем? У ее папашки много денег*. Вопросительное местоимение *what* выражает рематический пик запроса информации. Но ответная реплика героини не заполняет рему вопроса, поскольку она не отвечает на него, но высказывает собственное оценочное суждение аморальной позиции Гарри.

Сложноподчиненные предложения часто демонстрируют наличие более сложной заявительной семантики. На их примере можно проследить, как

трансформация синтаксической конструкции по линии усложнения влияет на коммуникативный статус предложения. Недоуменный вопрос в следующем примере следует непосредственно за выражением оценки происходящего:

James Quantz, Police Officer This is terrible. There's babies. There's animals. It's nasty. There's no place to sleep. There's no place to eat except for what they brought in here to us. James Quantz, Police Officer: If the press could bring in their TV trucks and everything else, why the hell couldn't a truckload of water, a truckload a medicine, a busload of physicians, people who could bring help and care and hope to the people – why couldn't they get through? [26].

Анализируемый вопрос представляет собой сложное предложение с условным и атрибутивным придаточными. Кроме того, главная часть вопросительного предложения осложнена однородными подлежащими. Многосоюзие в атрибутивном придаточном, избыточное в функциональном плане, свидетельствует о взволнованном состоянии говорящего. По сути, конструкция главного предложения, являющегося носителем семантики недоумения, не закончена ввиду отсутствия предиката. Конструкция приобретает законченный вид лишь во втором вопросе *why couldn't they get through?* Незавершенность конструкции, синтаксический параллелизм, однородные подлежащие указывают на высокую эмоциональную оттеночность высказывания. Семантика недоумения, выражающая непонимание, здесь тесно переплетается с такими добавочными оттенками, как возмущение, упрек (вопросительно-отрицательная форма) и даже гнев. Коммуникативным центром вопросительного предложения становится выражение эмоционально-оценочного отношения полицейского к сложившейся ситуации, когда никто не помогает пострадавшим, а лишь занимает позицию наблюдателей за страданиями обездоленных людей. Такая эмоциональная насыщенность выводит данное высказывание за рамки строго вопросительного коммуникативного типа.

Е.А. Истомина отмечает, что в вопросительно-отрицательных предложениях семантика запроса информации оказывается дополненной семантикой отрицания. В определенных условиях отрицание включается в сферу речевых смыслов и их взаимодействий и способствует передаче субъективно-модальных значений, являясь оценочным элементом высказывания [27. С. 9–10]. Появление дополнительных признаков предложения связано с нейтрализацией или транспозицией отрицания. В следующем примере эмоционально-оценочное значение, содержащееся в высказывании, оказывается доминирующим, вопросительная семантика предложения *Haven't he told you?* практически полностью затушевывается. Наряду с оценкой в вопросе содержатся коннотации, возникающие из общего фонда знаний (пресуппозиций) собеседников. Фрэнк намекает на какую-то щекотливую ситуацию, о которой не должен знать третий участник разговора. В данном примере произошло транспонирование по линии коммуникативной установки, на первый план вышло выражение модально-оценочного значения недоумения, о чем свидетельствует ответная реакция собеседника. Открытая рема вопроса не получает своего заполнения:

Frank (to Jimmy). Have you formed your association yit?

Jenny. What association is this?

Frank. **What! Haven't he told you?**

Jimmy. Shut up Frank Bryant or you'll get me hung [28. С. 211].

По справедливому наблюдению М.Я. Блоха, эллипсис следует рассматривать как закономерный компонент системы актуального членения предложения: ремовыделяющая функция синтаксического усечения соотносительна с функцией логического ударения в неусеченном предложении [7. С. 17]. Рассмотрим следующий отрывок:

«I'll have the money ready for you. In cash. I'll call you at your office Tuesday and tell you where to meet me».

«**In cash?**» Henry looked puzzled. «What's the matter with a check? I hate to carry that much cash around with me».

«I don't write checks», I said [29].

Воспользовавшись процедурой восполнения эллипсиса, мы получаем следующий синтагматически восполненный вариант: *You'll have the money ready for me in cash?* Данное вопросительное предложение представляет собой переспрос относительно дополнения. При переспросе выделению подвергается наиболее значимый, т.е. рематичный компонент. Открытая рема вопроса не получает своего восполнения в ответном высказывании. Как видно из речевой реакции собеседника, данный вопрос был воспринят как выражение эмоционального отношения к сообщаемой информации. Рематическое восполнение получает только второй вопрос диктемы (*What's the matter with a check?*). Следовательно, по коммуникативному заданию вопроса предложение *In cash?* можно трактовать как вопросительно-повествовательное.

В следующем высказывании сильное изумление вызвано недоумением героя. Эмоционально-оценочное значение вопросительного предложения усилено благодаря, во-первых, интонационному рисунку высказывания, а именно восклицательному обращению и фонетико-графическому выделению местоимения *you*. Во-вторых, вопросительное предложение с прямым порядком слов зачастую более эмоциональное, чем соответствующий нормативный вариант, поскольку в нем доминируют в основном невопросительные значения. М.С. Саидова в этой связи утверждает, что «выражение невопросительных коммуникативных смыслов в большой степени характерно для вопросительных предложений с прямым порядком слов» [30. С. 10]. Нетипичный для вопросительного предложения прямой порядок слов повышает его экспрессивность:

«Aunt Marjorie!» Dart looked flummoxed. «**You've had Lee working for you?**»

«And what's wrong with that? It was for the ultimate good of the family. How can we proceed, if we don't know the facts?» [31. С. 247].

Реагирующая реплика наглядно подтверждает преобладание заявительной, эмоционально-оценочной семантики в недоуменном вопросе *You've had Lee working for you?*, который ее автор воспринял как комментарий отрицательного оценочного характера.

Поэтому реакцией на вопрос является не краткий ответ, подтверждающий или отрицающий правдивость полученной информации, как этого требует альтернативный вопрос с открытым характером ремы. Первое предложение ответного высказывания составляет оценочное вопросительное предложение, за которым следует повествовательное предложение, оправдывающее точку

зрения героини. Завершает «рамочную» конструкцию риторический вопрос.

Следующий вопрос, хотя и схож с предыдущим примером по структуре, раскрывает несколько иное соотношение вопросительной и эмоционально-оценочной семантики:

Parris: Why, sir – I discovered her – indicating Abigail – and my niece and ten or twelve of the other girls, dancing in the forest last night.

Hale, surprised: **You permit dancing?**

Parris: No, no, it were secret. [32. С. 172].

Лексический дескриптор-спецификатор *surprised* указывает на эмоциональное состояние удивления. Однако семантика данного вопросительного высказывания представляется более сложной, чем это кажется на первый взгляд. Герои знаменитой пьесы А. Миллера «Суровое испытание», повествующей о средневековой охоте на ведьм, Преподобные Пэррис, местный священник, и Хейл, приезжий специалист по изгнанию бесов, обсуждают проступок группы молодых девушек, застигнутых за совершением таинственного ритуала Вуду. Из ситуативного контекста нам известно, что Хейл более значим, авторитетен, он ведет расследование. Пэррис опасается за свое положение и репутацию. Реплика Хейла передает сложные эмоции, переполняющие героя. Удивление здесь осложнено недоумением в связи с непониманием Хейлом произошедшего. Вопрос отражает и праведный гнев Хейла при мысли о том, что Пэррис, возможно, потворствует такому бесстыдству и ереси.

Что касается ответного высказывания Пэрриса, то оно соответствует речевой направленности вопроса, опровергая предположение Хейла. Но двойное отрицание и дефис в конце предложения указывают на то, что вопрос собеседника взволновал Пэрриса. Следовательно, доля невопросительной, эмоционально-оценочной семантики в данном вопросительном предложении достаточно велика, что позволяет говорить о его переходе в промежуточный, вопросительно-повествовательный тип.

Таким образом, коммуникативный статус вопросительного высказывания, выражающего недоумение, можно определить как промежуточный, вопросительно-повествовательный. Доля эмоционально-оценочного компонента недоуменного вопроса может быть неоднородной – от относительно невысокой до значительной. Там, где недоуменная семантика преобладает, речевая открытость вопросительного предложения не получает своего восполнения в ответном высказывании из-за резко заявительного, констатирующего характера вопроса.

Литература

1. Зиндер Л.Р. Пособие по теоретической грамматике и лексикологии немецкого языка. М.: Учпедгиз, 1962. 148 с.
2. Ilyish B. The Structure of Modern English. М.; Л.: Progress Publishers, 1971. 654 p.
3. Бархударов Л.С., Штеллинг Д.А. Грамматика английского языка. М.: Высш. шк., 1973. 423 с.
4. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика современного английского языка. М.: Высш. шк., 2007. 368 с.
5. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. 2-е изд., испр. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 296 с.
6. Почепцов О.Г. Семантика и прагматика вопросительного предложения (на материале английского языка): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1979. 24 с.

7. Блох М.Я. Коммуникативные типы предложения в аспекте актуального членения // Иностр. языки в школе. 1976. № 5. С. 14–23.
8. Грамматика русского языка («Грамматика 60»). Т. 1–2. М.: Изд-во АНН СССР, 1960. 440 с.
9. Богуславский А.С. О коммуникативных типах предложения // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки, 1964. Вып. 4. С. 144–151.
10. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М.: Высш. шк., 1978. 438 с.
11. Конрад Р. Вопросительные предложения как косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16. С. 349–383.
12. Поздеев М.М. Синтаксис английского вопросительного предложения и теория диалогической речи // Вопросы романно-германской филологии. М., 1970. Т. 55.
13. Хиндели Е.П. Функции коммуникативных типов предложения в современном английском языке: дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 2003. 177 с.
14. Чахоян Л.П. Синтаксис диалогической речи современного английского языка. М.: Высш. шк., 1979. 166 с. (Учен. зап. МГПИИЯ им. М. Тореза).
15. Шимберг С.С. Функциональный диапазон вопросительного высказывания в современном английском диалогическом дискурсе: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1998. 19 с.
16. Остроухова Л.А. Структура и семантика неместоименного вопросительного предложения в современном немецком языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1983. 19 с.
17. Кутянина Е.М. Системное моделирование переспроса в немецком диалогическом синтаксисе: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Иркутск, 1998. 17 с.
18. Блох М.Я. Проблема регуляции речевого общения и коммуникативный треугольник // Актуальные проблемы английской лингвистики и лингводидактики: сб. науч. тр. Вып. 6. М.: «Прометей» МПГУ, 2007. С. 3–10.
19. Блох М.Я. Проблема тождества предложения в свете соотношения понятий синтаксиса, семантики и информации // Вopr. языкознания. 1977. № 3. С. 73–85.
20. Юдина Н.Е. К вопросу об эмоциональных конструкциях в составе диалогических единств: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1973. 19 с.
21. Гак В.Г. О модально-эмоциональной рамке предложения // Новые явления и тенденции во французском языке: межвузов. сб. науч. тр. М., 1984. С. 169–174.
22. Bushnell C. Trading up. London: Abacus, 2003. 548 p.
23. Блох М.Я. Надфразовый синтаксис и синтаксическая парадигматика // Проблемы грамматики и стилистики английского языка. М., 1973. С. 195–223.
24. Miller A. The Price // The Portable Arthur Miller. Dallas, Pennsylvania: Penguin Books, 1971. 529 p.
25. Updike J. Rabbit, Run. N.Y.: Fawcett Crest, 1991. 284 p.
26. NPR Sunday, (20050911) // The Corpus of Contemporary American English (Корпус современного американского английского языка) [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.americancorpus.org
27. Истомина Е.А. Взаимодействие синтаксико-семантических компонентов предложения (на материале вопросительно-отрицательных предложений современного английского языка): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1982. 16 с.
28. Wesker A. Roots // Modern English Plays. Moscow: Progress Publishers, 1966. 382 p.
29. Shaw I. Nightwork / Метод. аппарат и сост. Н.А. Дашенко: учеб. пособие. М.: Дом педагогики, 1999. 208 с.
30. Саидова М.С. Коммуникативная функция вопросительного предложения в современном английском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ташкент, 1988. 16 с.
31. Francis D. Decider. London and Sydney: Pan Books, 1993. 278 p.
32. Miller A. The Crucible // The Portable Arthur Miller. Dallas, Pennsylvania: Penguin Books, 1971. 529 p.

ON THE COMMUNICATIVE STATUS OF THE BAFFLING QUESTION.

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 16–25. DOI 10.17223/19986645/35/2
Vorobyova Yelena N., Vologda State University (Vologda, Russian Federation). E-mail: helenvorobyova@mail.ru

Keywords: baffling question, secondary functions of interrogative sentence, cardinal and intermediary communicative types of sentences, actual division, transposition, interrogative-declarative sentence.

In the article the communicative status of the baffling question is defined. The traditional classification of sentences is based on their communicative purpose. The only communicative purpose of the interrogative sentence is an inquiry about information which the speaker does not possess. Thus, the

interrogative sentence is naturally connected with the answer. The speech act theory was the first to emphasize the atypical functions of the interrogative utterance. And it inspired linguists to explore non-interrogative semantics of this communicative type.

The present analysis is based on the theory of cardinal and intermediary communicative types of sentences, presented by Professor M.Ya. Blokh, as it clearly classifies all the recognized non-interrogative functions of the question. Cardinal and intermediary communicative types of sentences are identified on the basis of their actual division. The rheme of the interrogative sentence is informationally open. Its function consists in marking the rhematic position in the response sentence. The appearance of secondary functions is rooted in transposition or oppositional substitution, i.e. the transfer of the properties of one communicative type in another, with the aim of achieving an expressive effect.

Modern linguistics admits existence of interrogative utterances which combine a purely interrogative function with different implied emotive meanings. Besides performing its main function (to obtain information from the interlocutor), the baffling question conveys emotional-evaluative attitude of a speaker towards the facts and situations of real life. Perplexity is closely connected with the semantics of interrogation, because it emphasizes the lack of knowledge, doubt, distrust, which is inherent to the question. It can be often used with such related emotions as surprise and astonishment.

The author states that emotional-evaluative meaning of the baffling question can transfer an interrogative utterance into the emphatic declaration of one's personal attitude to the interlocutor's words. Thus, the baffling question is an intermediary (an interrogative-declarative) predicative construction distinguished by mixed communicative features.

In the article the fraction of the emotional component of this kind of interrogative question is also analyzed. In this question different compatibility of the primary informational and the secondary (emotive) function can be observed. The emotional coloring of the baffling question can be intensified by elliptical, interrogative-negative constructions, interrogative constructions with direct word order, complex sentences and graphical expressive means. If the emotional tension is rather high, the rheme is not filled up in the answer. Thus, the baffling question can be followed by the reply that emphasizes its declarative (evaluative and emotional) implication. Due to its connotations, the answers to such a question can also contain evaluation and be quite emotional. They may include interjections, repetitions and exclamations, imperative and evaluative constructions. The declarative nature of the baffling question often invites counter-questions (e.g. rhetorical).

References

1. Zinder L.R. *Posobie po teoreticheskoy grammatike i leksikologii nemetskogo yazyka* [Textbook on the theoretical grammar and lexicology of the German language]. Moscow: Uchpedgiz Publ., 1962. 148 p.
2. Ilyish B. *The Structure of Modern English*. M. Leningrad: Progress Publ., 1971. 654 p.
3. Barkhudarov L.S., Shtelling D.A. *Grammatika angliyskogo yazyka* [English grammar]. Moscow: Vysshaya shkola Publ. Publ., 1973. 423 p.
4. Kobrina N.A., Boldyrev N.N., Khudyakov A.A. *Teoreticheskaya grammatika sovremennogo angliyskogo yazyka* [Theoretical grammar of modern English]. Moscow: Vysshaya shkola Publ. Publ., 2007. 368 p.
5. Smirnitkiy A. I. *Sintaksis angliyskogo yazyka* [Syntax of the English language]. 2nd edition. Moscow: Izdatel'stvo LKI Publ., 2007. 296 p.
6. Pocheptsov O.G. *Semantika i pragmatika voprositel'nogo predlozheniya (na materiale angliyskogo yazyka): avtoref. dis. kand. filol. nauk* [The semantics and pragmatics of an interrogative sentence (based on English). Abstract of Philology Cand. Diss.]. Kyiv, 1979. 24 p.
7. Blokh M.Ya. *Kommunikativnye tipy predlozheniya v aspekte aktual'nogo chleneniya* [Communicative types of sentences in terms of actual division]. *Inostrannye yazyki v shkole*, 1976, no. 5, pp. 14–23.
8. *Grammatika russkogo yazyka ("Grammatika 60")* [Russian Grammar ("Grammar '60")]. Moscow: USSR AS Publ., 1960. V. 1–2, 440 p.
9. Boguslavskiy A.S. *O kommunikativnykh tipakh predlozheniya* [On communicative types of sentences]. *Nauchnye doklady vysshey shkoly. Filologicheskie nauki*, 1964, no. 4, pp. 144–151.
10. Valgina N.S. *Sintaksis sovremennogo russkogo yazyka* [The syntax of the modern Russian language]. Moscow: Vysshaya shkola Publ., 1978. 438 p.
11. Conrad R. *Voprositel'nye predlozheniya kak kosvennye rechevye akty* [Interrogative sentences as indirect speech acts]. In: Paducheva E.V. (ed.) *Novoe v zarubezhnoy lingvistike* [New in foreign linguistics]. Moscow: Progress, 1985. Is. 16, pp. 349–383.

12. Pozdeev M.M. *Sintaksis angliyskogo voprositel'nogo predlozheniya i teoriya dialogicheskoy rechi* [The syntax of English interrogative sentence and the theory of dialogical speech]. *Uchenye zapiski Moskovskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta inostrannykh yazykov imeni Morisa Toreza*, 1970, v. 55.
13. Khindeli E.P. *Funktsii kommunikativnykh tipov predlozheniya v sovremennom angliyskom yazyke*: diss. kand. filol. nauk [Functions of communicative types of sentences in modern English language. Philology Cand. Diss.]. Pyatigorsk, 2003. 177 p.
14. Chakhoyan L.P. *Sintaksis dialogicheskoy rechi sovremennogo angliyskogo yazyka* [The syntax of dialogical speech of modern English]. Moscow: Vysshaya shkola Publ., 1979. 166 p.
15. Shimberg S.S. *Funktsional'nyy diapazon voprositel'nogo vyskazyvaniya v sovremennom angliyskom dialogicheskom diskurse*: avtoref. dis. kand. filol. nauk [The functional range of the interrogative statements in modern English dialogical discourse. Abstract of Philology Cand. Diss.]. St. Petersburg, 1998. 19 p.
16. Ostroukhova L.A. *Struktura i semantika nemestoinennogo voprositel'nogo predlozheniya v sovremennom nemetskom yazyke*: avtoref. dis. kand. filol. nauk [The structure and semantics of non-pronoun interrogative sentence in modern German language. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Leningrad, 1983. 19 p.
17. Kutyanina E.M. *Sistemnoe modelirovanie peresprosa v nemetskom dialogicheskom sintaksise*: avtoref. dis. kand. filol. nauk [System modeling of the echo question in German dialogic syntax. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Irkutsk, 1998. 17 p.
18. Blokh M.Ya. [The problem of regulation of speech communication and a communicative triangle]. *Aktual'nye problemy angliyskoy lingvistiki i lingvodidaktiki* [Topical issues of English linguistics and linguodidactics]. Moscow: "Prometey" MPGU Publ., 2007, is. 6, pp. 3–10. (In Russian).
19. Blokh M.Ya. Problema tozhdestva predlozheniya v svete sootnosheniya ponyatiy sintaksisa, semantiki i informatsii [The problem of identity of the sentence in the light of relationship between the concepts of syntax, semantics and information]. *Voprosy yazykoznaniya*, 1977, no. 3, pp. 73–85.
20. Yudina N.E. *K voprosu ob emotsional'nykh konstruktivnykh v sostave dialogicheskikh edinstv*: avtoref. dis. kand. filol. nauk [On emotional structures as part of dialogues. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Moscow, 1973. 19 p.
21. Gak V.G. *O modal'no-emotsional'noy ramke predlozheniya* [On the modal and emotional scope of the sentence]. In: Gak V.G. (ed.) *Novye yavleniya i tendentsii vo frantsuzskom yazyke* [New developments and trends in French]. Moscow: Moscow State Pedagogical Institute Publ., 1984, pp. 169–174.
22. Bushnell C. *Trading up*. London: Abacus, 2003. 548 p.
23. Blokh M.Ya. *Nadfrazyvnyy sintaksis i sintaksicheskaya paradigmatica* [Supraphrase syntax and syntactic paradigms]. In: *Problemy grammatiki i stilistiki angliyskogo yazyka* [Problems of grammar and style of the English language]. Moscow, 1973, pp. 195–223.
24. Miller A. *The Portable Arthur Miller*. Dallas, Pennsylvania: Penguin Books, 1971. 529 p.
25. Updike J. *Rabbit, Run*. N.Y.: Fawcett Crest, 1991. 284 p.
26. The Corpus of Contemporary American English. NPR_Sunday, (20050911). Available from: www.americanacorp.us.
27. Istomina E.A. *Vzaimodeystvie sintaktiko-semanticheskikh komponentov predlozheniya (na materiale voprositel'no-otritsatel'nykh predlozheniy sovremennogo angliyskogo yazyka)*: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Interaction of syntactic and semantic components of the sentence (based on interrogative negative sentences of modern English language). Abstract of Philology Cand. Diss.]. Moscow, 1982. 16 p.
28. Wesker A. *Roots*. In: Levidova I.M. et al. *Modern English Plays*. Moscow: Progress Publ., 1966.
29. Shaw I. *Nightwork*. Moscow: Dom pedagogiki Publ., 1999. 208 p.
30. Saidova M.S. *Kommunikativnaya funktsiya voprositel'nogo predlozheniya v sovremennom angliyskom yazyke*: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Communicative function of interrogative sentences in modern English language. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Tashkent, 1988. 16 p.
31. Francis D. *Decider*. London and Sydney: Pan Books, 1993. 278 p.
32. Miller A. *The Portable Arthur Miller*. Dallas, Pennsylvania: Penguin Books, 1971. 529 p.

УДК 82-2-21

DOI 10.17223/19986645/35/3

С.С. Ковальчук

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРНЫХ ВИДАХ И ТИПАХ МОНОЛОГА В ТРАГЕДИИ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА «ГАМЛЕТ, ПРИНЦ ДАТСКИЙ»

Статья посвящена рассмотрению основных структурных видов и типов монолога в трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц датский». Монологи подразделяются согласно целевой установке, коммуникативной направленности, структурной организации и отношению к информативности сообщаемого материала на фабульно-направляющий, фабульно-интригующий и фабульно-подытоживающий монолог. Согласно характеру сценической речи монологи делятся на однорядные и расширенные, которые по-разному оценивают окружающую речевую ситуацию.

Ключевые слова: фабульно-интригующий монолог, фабульно-инструктивный монолог, фабульно-итоговый монолог, однорядный, расширенный, речевая ситуация.

Понятие «монолог» рассматривается в масштабах таких научных дисциплин, как лингвистика, литературоведение, культурология и даже философия. Существуют разные, зачастую не согласующиеся друг с другом подходы к осмыслению монолога. Долгое время исследования монолога как вида речевой деятельности играли второстепенную лингвистическую роль, так как считалось, что монолог является одной из форм диалога. Ю.В. Рождественский писал, что «вне структуры диалога структура монолога не обосновывалась» [1. С. 121].

О.С. Ахманова определяет монолог как речь, обращенную, прежде всего, к самому себе, не рассчитанную на словесную реакцию собеседника. Монолог характеризуется стремлением охватить более обширное тематическое содержание по сравнению с тем, которое характеризует обмен репликами в диалоге [2. С. 239].

Согласно определению Литературной энциклопедии монолог (от греч. monos – единственный, единый и logos – слово) – «единоречие» (soliloque, Selbstgesprach), в драматургии – речь одного действующего лица в условиях сценической изолированности, произносимая независимо от реплик других действующих лиц и определяющая известный момент в развитии действия [3].

Особый интерес представляет рассмотрение монолога в драматургическом тексте, поскольку внутренние и внешние признаки, которые определяют монолог как особую структурно-семантическую форму сценического текста, позволяют драматургу выразить в ней не только основное фабульное содержание пьесы, но и мировоззренческое отношение автора к описываемым событиям.

Цель данного исследования заключается в теоретической интерпретации монолога согласно структурно-смысловой организации в драматургическом

тексте. Обозначенная цель может быть достигнута путём решения следующих задач:

1. Определить структурные виды и типы монолога:
 - а) по его целевой установке;
 - б) коммуникативной направленности;
 - в) структурной организации;
 - г) отношению к информативности сообщаемого в нем материала.
2. Раскрыть соотношение монолога и сценической речи.

В содержательном плане под монологом понимается высказывание более объемного характера, чем обычная реплика. Монолог, как правило, изолирован от присутствия других действующих лиц, однако в редких случаях драматургический текст допускает наличие монолога, произносимого одним из главных героев, находящимся в окружении кого-либо из задействованных персонажей [4].

В подобном случае обязательно соблюдение следующих условий:

1. Монолог произносится, когда окружающие героя персонажи являются его непременными единомышленниками. Основанием для данного утверждения может послужить монолог Клавдия в трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц Датский»:

KING
Follow her close; give her good watch, I pray you.
[Exit Horatio.]
O, this is the poison of deep grief; it springs
All from her father's death — and now behold!
O Gertrude, Gertrude...
... O my dear Gertrude, this,
Like to a murd'ring piece, in many places
Gives me superfluous death [5. С. 200].

2. Монолог имеет свою целевую установку, направленную на выполнение определенных действий лицами, находящимися рядом с говорящим. Монолог воспринимается как заранее продуманный, т.е. такой монолог не предполагает альтернативы, поскольку говорящий четко знает решение задачи. Примером служит следующий монолог короля Клавдия:

Enter King and Queen, Rosencrantz, and Guildenstern (with others)

KING
Welcome, dear Rosencrantz and Guildenstern...
... I entreat you both
That, being of so young days brought up with him,
And sith so neighbored to his youth and havior,
That you vouchsafe your rest here in our court
Some little time, so by your companies
To draw him on to pleasures, and to gather
So much as from occasion you may glean,
Whether aught to us unknown afflicts him thus,
That opened lies within our remedy [5].

3. Инструктивный характер такого монолога служит основанием к появлению уточняющих вопросов к говорящему со стороны окружающих, и, таким образом, монолог способен развивать действие как переходящее в диалог или полилог, т.е. раскрывать дальнейший ход сюжета [1].

4. Такого рода монологи никогда не сопровождаются противодействующей реакцией окружающих персонажей. В противном случае это противоречило бы предназначению монолога, произносимого в присутствии единомышленников, окружающих говорящего и введенных автором для выполнения тех инструкций, которые изложены в монологе. Иначе говоря, эти лица выступают своеобразным художественным инструментарием для выполнения и пояснения фабульной части сюжета [6].

Все вышеперечисленные особенности характеризуют первый вид монолога – фабульно-направляющий, или инструктивный.

Наряду с этим видом монолога существует другой, также произносимый при нахождении на сцене иных персонажей, но являющийся как бы внезапной реакцией на неожиданно возникшую речевую ситуацию, подобно следующей:

Queen.	Let her come in.	(Exit Gentleman)
(Aside)	To my sick soul, as sin's true nature is, Each toy seems prologue to some great amiss, So full of artless felousy is guilt, It spills itself in tearing to be spilt [5. C. 198].	

Такого рода монолог характеризуется следующими особенностями:

1) показывает внутреннюю реакцию говорящего, которую тот пытается скрыть от присутствующих, поэтому сопровождается комментариями в виде авторской ремарки (*aside*);

2) свидетельствует о своем спонтанном появлении, т.е. произносящий монолог не думал над его содержанием заранее;

3) не является направляющим для последующих поступков и для дальнейшего развития сюжета;

4) всегда ограничен в объеме, но имеет право называться монологом, так как произносится одним персонажем и не ведет к вытекающей из него беседы или хотя бы диалога;

5) произнесен говорящим персонажем и возвращается к нему, своего рода заикливаясь на нем без перспективной направленности;

6) в нем концентрируется предшествующее знание и подводится итог того, что известно говорящему, но, что говорящий не осмыслил прежде.

Такого рода монолог может быть назван фабульно-итоговым или подытоживающим.

Наряду с описанными выше видами монологов существует третий вид монолога, произносимый в полной изоляции говорящего, когда персонаж, озвучивающий монолог, оказывается как бы сам с собой, однако в действительности он не одинок. По воле автора такой артист концентрирует внимание на себя, но по ходу действия ни к кому не обращается.

Данному виду монолога присущи следующие черты:

1) он не суммирует предыдущее содержание произведения как нечто понятное и полноценно осознанное говорящим;

2) не связан с кем-либо из персонажей, присутствующих на сцене в момент его произнесения;

3) должен восприниматься как фабульно-наводящий или интригующий, так как в нем заложена дальнейшая интрига сюжетной линии;

4) будучи изолированным от непосредственного воздействия на других персонажей, отмечен перспективной линией воздействия на ход сюжета;

5) в процессе своего поступательного развития призван включать в себя всех персонажей произведения, представив их в композиционной конфронтации по отношению к положительной и отрицательной оценке действия. Например, слова Гамлета:

...Now, whether it be
Bestial oblivion, or some craven scruple
Of thinking too precisely on the event,
A thought which, quarter'd, hath but one part wisdom
And ever three parts coward, I do not know
Why yet I live to say 'This thing's to do;
Sith I have cause and will and strength and means
To do't... [5].

Согласно характеру сценической речи, основанной на межфазовости логических выводов, классификация монологов значительно изменяется. В подобном случае целесообразно говорить о наличии двух основных структурных типах монолога: однорядного и расширенного.

Первый тип представлен монологом интригующим, т.е. фабульно-наводящим, второй объединяет оба других вида, а именно: фабульно-итоговый (т.е. подытоживающий) и фабульно-направляющий (т.е. инструктивный).

Однорядный тип монолога строится как объемная речь действующего лица, существенно превышающая обычную реплику. В этом типе говорящий персонаж пытается: 1) не только осмыслить ситуацию, в которой он оказался, но и найти разумный выход из создавшегося двусмысленного положения (к примеру, вопрос Гамлета: *To be or not to be*). Поэтому такой выход предполагает двуполярность сложившихся обстоятельств и неоднозначность подхода к их решению.

HAMLET
To be, or not to be – that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them [5. C. 165].

В подобном случае имеет место рассмотрение целого ряда наиболее значимых моментов:

1. Жить или умереть: “*To die, to sleep...*”, причем смерть понимается как сон, после которого не существует ничего.

2. В этом сне, несмотря ни на что, говорящий не видит полного успокоения и блаженства. Сравним:

...and by sleep to say we end
The heartache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to.

3. Говорящий ищет объяснение такому положению, перечисляя те обстоятельства, которые окружают его в реальности. К примеру, тот же монолог Гамлета:

'Tis a consummation
Devoutly to be wished. To die, to sleep –
To sleep – perchance to dream: ay, there's the rub.
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause [5].

4. И наконец, не получив ответа на поставленный вопрос, говорящий приходит к мнению, что только неизвестность, которая связана с нашим незнанием жизни после смерти, может внести успокоение в метущуюся душу:

Who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscovered country, from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of? [5].

В связи с этим вопрос, поставленный в начале монолога: *to be or not to be*, остается проблемным, так как не находит ответа в самом монологе и поэтому делается смысловым центром всей интриги.

Фабульно-направляющий, или инструктивный, монолог и фабульно-подытоживающий входят в расширенный тип монолога, поскольку оба монолога однозначны по своему отношению к оценке окружающей их речевой ситуации. Фабульно-итоговый вид монолога воспринимает речевую ситуацию в четко однозначной оценке, при которой не остается места для сомнений, колебаний или выбора нового пути действия. Говорящий принимает речевую ситуацию как факт действительности [7].

Рассмотрим слова королевы Гертруды, матери Гамлета:

So full of artless jealousy is guilt
It spills itself in fearing to be split [6. С. 198].

Фабульно-направляющий монолог также является однозначным по той целевой установке, которую он излагает перед лицами, находящимися с ним в непосредственном контакте. Персонаж, произносящий подобный монолог, дает инструктаж – он выражает однозначную команду, что нужно делать. Примером служат слова короля: *Follow her close; give her good watch, I pray you* [5. С. 200]. После такой команды следующая часть монолога, в которой приводятся поясняющие дополнения, как бы направлены на то, чтобы сглаживать командный тон данной им установки.

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть теоретическое обоснование в данном исследовании структурно-смысловой организации монолога в трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц Датский». Монолог представлен дифференцированно в трех структурных видах: фабульно-направляющем, фабульно-интригующем и фабульно-подытоживающем. Ка-

ждому виду монолога присущи характерные особенности, а именно: фабульно-направляющий монолог произносится в присутствии единомышленников и никогда не сопровождается их противодействующей реакцией; такой монолог направлен на выполнение определенных действий лицами, находящимися рядом с говорящим; данный вид монолога служит основанием к появлению уточняющих вопросов, раскрывающих дальнейший ход сюжета.

Фабульно-интригующий монолог не связан с кем-либо из персонажей, присутствующих в момент его произнесения; в нем заложена дальнейшая интрига сюжетной линии; данный монолог призван в итоге включить в себя всех персонажей произведения и представлять их в композиционной конфронтации по отношению к положительной и отрицательной оценке действия.

Фабульно-подытоживающий вид монолога сопровождается авторскими ремарками; для него характерно спонтанное появление; такой монолог всегда ограничен в объеме; в нем подводится итог известной говорящему информации, которую он прежде не осмыслил.

Согласно характеру сценической речи классификация монологов значительно меняется. В данном случае речь идет об однорядном и расширенном структурных типах монолога. Однорядный тип представлен фабульно-интригующим монологом, а расширенный тип – фабульно-направляющим и фабульно-подытоживающим видами монолога. Однорядный тип монолога предполагает двуполярность сложившихся обстоятельств. Говорящий не только пытается осмыслить ситуацию, в которой он оказался, но и найти выход из двусмысленного положения. Расширенный тип монолога однозначен по своему отношению к оценке окружающей речевой ситуации.

Таким образом, следует подчеркнуть, что каждый из рассмотренных структурных видов и типов монолога в зависимости от цели высказывания, характера связи со сценической речью и коммуникативной направленностью сообщаемых фактов наделен фабульно-интригующим, фабульно-инструктивным и фабульно-завершающим значением.

Литература

1. *Shakespeare W.* The Tragedies. Ростов н/Д: Феникс, 2001. 352 с.
2. *Рождественский Ю.В.* Теория риторики. М., 1999.
3. *Луговская Е.Ю.* Речевая структура сонета: дис. ... канд. филол. наук. М., 2005. 150 с.
4. *Кошечкина И.Г.* О языке трагедии В. Шекспира «Гамлет»: Рефераты научно-исследовательских работ за 1959 г. Нальчик: Кабардино-Балкарский гос. ун-т, 1960. 39 с.
5. *Драгайцев Д.В.* Функциональная смысловая зависимость в структурно-семантических конституентах драматического произведения (на материале исторических хроник У. Шекспира): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2003. 25 с.
6. *Ахманова О.С.* Словарь лингвистических терминов. М., 2004.
7. *Монолог* // Лит. энцикл. [Электронный ресурс]. http://enc-dic.com/enc_lit/Monolog-3160.html

ON THE STRUCTURAL KINDS AND TYPES OF THE MONOLOGUE IN W. SHAKESPEARE'S TRAGEDY *HAMLET, PRINCE OF DENMARK*.

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 26–32. DOI 10.17223/19986645/35/3
Kovalchuk Svetlana S., Tyumen State University (Tyumen, Russian Federation). E-mail: sskovalchuk@mail.ru

Keywords: plot-directing monologue, plot-intriguing monologue, plot- summing up monologue, one-line, expanded, speech situation.

The article describes the main structural kinds and types of the monologue in W. Shakespeare's tragedy *Hamlet, Prince of Denmark*. The object of this research consists in the theoretical interpretation of the monologue according to the structural and semantic organization in the dramaturgic text. Monologues are subdivided into three main kinds according to their aim, communicative purpose, structural organization and relation to the informational content of the reported material. In this case the plot-directing, plot-intriguing and plot-summing up kinds of the monologue are meant. Each kind of the monologue has specific features. The plot-directing monologue is pronounced in the presence of like-minded persons and is never followed by their counteracting reaction; it is directed on performance of certain actions by the persons who are next to the speaker; it causes specifying questions turning into a dialogue or a polylogue and it is capable to open the further course of the plot.

The plot-intriguing monologue is not connected with any of the characters who are present at the time of its pronouncing; it contains the further intrigue of the plot line; as a result, it must include all the characters of the play and present them in a compositional confrontation to the positive and negative evaluation of the action.

The plot-summing up kind of the monologue is followed by author's notes; it emerges spontaneously; it is always limited in length; it sums up information speakers know but have not comprehended yet.

The classification of monologues changes considerably according to the character of the stage speech. In this case one-line and expanded structural types of the monologue are meant. The one-line type is presented by the plot-intriguing monologue, and the expanded type includes plot-directing and plot-summing up types of the monologue. The one-line type of the monologue assumes bi-polarity of the developed circumstances. The speaker tries not only to comprehend his / her situation, but also to find the way out of an ambiguous situation. The expanded type of the monologue is univocal in its evaluation of a surrounding speech situation.

Thus, it is necessary to emphasize that each of the considered structural kinds and types of the monologue depending on the aim of the statement, nature of connection with the stage speech and the communicative purpose of the reported facts has plot-intriguing, plot-directing and plot-summing up meaning.

References

1. Shakespeare W. *The Tragedies*. Rostov-on-Don: Feniks Publ., 2001. 352 p.
2. Rozhdestvenskiy Yu.V. *Teoriya ritoriki* [The theory of rhetoric]. 2nd edition. Moscow: Dobrosvet Publ., 1999. 488 p.
3. Lugovskaya E.Yu. *Rechevaya struktura soneta*: Dis. kand.filol. nauk [The speech structure of the sonet. Philology Cand. Diss.]. Moscow, 2005. 150 p.
4. Koshevaya I.G. *O yazyke tragedii V. Shekspira "Gamlet"*. *Referaty nauchno-issledovatel'skikh rabot za 1959g.* [About the language of Shakespeare's tragedy "Hamlet". Abstracts of scientific research for 1959]. Nalchik: Kabardino-Balkaria State University, 1960. 39 p.
5. Dragaytsev D.V. *Funktsional'naya smyslovaya zavisimost' v strukturno-semanticheskikh konstituentakh dramaticheskogo proizvedeniya (na materiale istoricheskikh khronik U. Shekspira)*: Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Functional and semantic relations in the structural and semantic constituents of a dramatic work (based on the historical chronicles of Shakespeare). Abstract of Philology Cand. Diss.]. Moscow, 2003. 25 p.
6. Akhmanova O.S. *Slovar' lingvisticheskikh terminov* [Dictionary of linguistic terms]. 2nd edition. Moscow: URSS: Editorial URSS Publ., 2004. 571 p.
7. *Monolog* [Monologue]. Available from: http://enc-dic.com/enc_lit/Monolog-3160.html.

УДК 81'36

DOI 10.17223/19986645/35/4

И.П. Матханова

ВЫСКАЗЫВАНИЯ СО СЛОВОМ *ПОЛУЧАЕТСЯ*: ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ВВОДНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ¹

В статье рассматривается переход глагола «получается» в разряд вводных слов со значением логического вывода. Анализируется семантическое варьирование глагола с использованием теории категориальных ситуаций, отмечается роль залоговых и видо-временных значений в создании предпосылок вводного употребления. Характеризуются функции вводного слова «получается», реализуемые в разных семантических типах высказываний и в сочетании с другими показателями, определяются причины активизации вводной единицы в речи.

Ключевые слова: вводные слова, парентетические глаголы, инференция, логический вывод, транспозиция, получается.

1. Вводные замечания

В последнее время можно заметить новые тенденции в лингвистике, которые касаются изменений в самой языковой системе и в ее исследовании. Одной из заметных черт в языковой действительности является усиление в ней динамических процессов, что во многом обусловлено активизацией речевой деятельности представителей различных социальных групп, интенсификацией языковых экспериментов в рекламе и иных областях коммуникации, оказывающих значительное влияние на речь и язык. Лингвистика все больше стала интересоваться не идеальными текстами, а речевыми произведениями рядовых носителей языка, аномальными высказываниями, языковой игрой; предписывающий характер описания сменился фиксирующим, узус кодифицируется и активно влияет на правила употребления языковых единиц. Говорящий становится более свободным в выборе и сочетании языковых единиц, но в большинстве случаев даже новые употребления слова актуализируют его потенциальные свойства. Таким образом, активные процессы «встраиваются» в общие тенденции развития языка и отражают особенности современной языковой ситуации. В этом аспекте весьма показательными являются процессы транспозиции, в частности перехода полнозначных глаголов в разряд вводных слов.

Вводно-модальные слова, которые «определяют точку зрения говорящего субъекта на отношение речи к действительности или на выбор и функции отдельных выражений в составе речи» [1. С. 568], относятся к наиболее подвижной сфере языковой системы. Они изучаются в лексикографическом, синтаксическом, коммуникативно-прагматическом и других аспектах ([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] и др.). Актуальным стало изучение функционирования этих единиц в высказывании с целью выявления правил и механизмов, определяющих

¹ Статья подготовлена при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант № НШ-3135.2014.6.

возможность их «миграции» из одного разряда в другой, правил транспозиции.

Слово *получается*, активно функционирующее в современной речи как вводное, до сих пор не было предметом специального изучения. В толковых словарях ([8, 9, 10, 11] и др.) и словарях синонимов [12] такое употребление не фиксируется, оно отмечено в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова под редакцией Н.Ю. Шведовой (впервые в [13] и послед. изд. до 2008 г.), а также в словаре синонимов под ред. Л.Г. Бабенко [14] и «Словаре вводных слов, сочетаний и предложений» [7], однако «взрыв» его вводного употребления произошел в последнее время.

Переход полнозначных глаголов в разряд вводных слов включается в общую систему транспозиции, дополняет ее существенными моментами, в том числе формулировкой правил такого перехода, которые не сводятся только к изменению синтаксической функции, к «побледневшему» [15] глагольному значению, к утрате его морфологических категорий. Существуют более сложные процессы, сопровождающие этот переход, в том числе у слова появляются новые свойства, постепенно «накапливающиеся» в пределах глагольных характеристик.

Традиционно вводные слова *следовательно, итак, таким образом, стало быть, стало (прост.), значит (разг.), выходит, следовательно (прост.)* [12], к которым относят и анализируемую единицу, не выделяются из разнородной группы единиц, устанавливающих связи и отношения между компонентами высказывания или отдельными высказываниями (см.: [16, 17, 5]) . Поэтому их квалификация как автономной группы, выполняющей особую функцию выражения логического вывода, является еще одной задачей, требующей решения.

В последние годы отмечается, что единицы разных семантических групп, названные дискурсивными [6], способны обеспечивать связность текста, представлять различную интерпретацию говорящим излагаемых фактов, а также сигнализировать о пропуске в высказывании какой-либо информации. Функция установления каузальных связей между фактами действительности характерна для многих вводно-модальных слов (см. описание персуазивных показателей в [4]). Эта функция вводных слов особо значима как показатель инференциальности. Н.А. Козинцева, впервые охарактеризовавшая категорию эвиденциальности в русском языке, писала: «Специфика семантики инференциальности состоит в том, что говорящий наблюдает определенные явления в конкретной предметной ситуации, которые он, исходя из общих соображений, возводит к их причине, которая и оказывается сообщаемым фактом <...>. При выражении инференциальности могут использоваться модальные наречия *верно, вероятно, наверно, возможно, видимо, по-видимому, очевидно, судя по..., значит* и др.» [18. С. 87]. Представляется, что пополняющаяся новыми единицами группа вводных слов со значением логического вывода специализируется на фиксации этого аспекта категории засвидетельствованности. Таким образом, описание функционирования слова *получается* как вводного включается в рассмотрение проблем и транспозиции, и эвиденциальности.

И для транспонированных, и для дискурсивных слов необходимо установить релевантный для них контекст. Такое исследование, по нашему мнению, перспективно проводить в рамках функционального подхода к анализу языка с использованием теории категориальных ситуаций, разработанной А.В. Бондарко ([19, 20] и др.). В этом случае в центре внимания оказывается взаимодействие единиц в высказывании, установление правил такого взаимодействия, ориентация на «усредненного» говорящего с его интенциями, что позволяет выявить механизмы «миграции» слов на основании их потенциальных свойств.

Итак, для установления предпосылок транспозиции слова *представляется* проследим цепочку семантических шагов от полнозначного глагола к вводному элементу с опорой на лексико-семантические варианты глагола и на семантику высказываний, в которых эта единица функционирует, выявим условия реализации новой семантики, а также семантико-прагматические причины его активизации.

В статье используется база данных Национального корпуса русского языка (примеры с пометой НКРЯ), а также привлекается иллюстративный материал из толковых словарей, преимущественно из [9], если нет других указаний.

2. Семантические предпосылки вводного употребления глагола *получается*

Пополнение состава вводных слов, как отмечалось еще в «Грамматике русского языка» [16. С. 144–146], происходит за счет имен (падежные формы существительных, прилагательных, местоимений), наречий и глаголов. Наиболее сложными являются семантические преобразования вводно-модальных слов, мотивированных глаголами, так как они обладают наиболее разветвленной системой лексико-грамматических связей, утрачивающихся или модифицирующихся в процессе перехода. Описанию условий вводного употребления глагола, изменению его семантических свойств и поведения посвящен ряд работ ([1, 2, 5, 21, 22, 23] и др.). Образцовый анализ интегрального описания полисеманта *выйти*, включающего и его вводное употребление, представлен Ю.Д. Апресяном [24. С. 493].

При характеристике семантических преобразований глагола учитываются смена актантных ролей участников ситуации, влекущая за собой изменение залоговых значений, особенности видо-временных и персональных планов. Проследим, как меняются лексико-грамматические характеристики при семантическом варьировании глагола *получаться*.

Если обратиться к толкованию глагола *получаться* в словарях [8, 9, 13], то можно увидеть отсылки – к невозвратному глаголу несовершенного вида (далее – НСВ) *получать* и к глаголу совершенного вида (далее – СВ) *получиться*, которые, в свою очередь, восходят к форме *получить*. В качестве базового нами используется комплекс значений и оттенков глагола *получить*, представленный в Словаре русского языка [9], и далее толкования даются по этому словарю, если нет специальной ссылки на другой словарь¹. В словарях

¹ Используется также иллюстративный материал Словаря русского языка [9], сопровождающий толкования при отсутствии указания на иной источник.

[10, 11] в качестве исходного выбран глагол НСВ, толкования значений которого во многом близки приводимым для СВ, существующие отличия специально отмечаются нами при характеристике значений глагола.

Выявление значений и употреблений лексики *получать(ся)* / *получить(ся)* связано с интерпретацией и модификацией прототипической ситуации передачи, рассмотренной с позиции второго участника ситуации. Первичная ситуация действия включает следующих участников: S^1 (донатор) дает S^2 (получателю-реципиенту) некоторый O (объект). С позиции второго участника ситуации можно представить ее так: S^2 (реципиент) получает от S^1 (донатора) некоторый O (объект). Особое видение ситуации с точки зрения субъекта-получателя в определенной мере предопределяет и снижение активности этого субъекта, даже при употреблении невозвратного глагола. Ср. толкование глагола *получить* через субстантивированные страдательные причастия: '1. Взять, принять что-л. вручаемое, присылаемое, выдаваемое' (здесь и далее подчеркнуто мною. – И.М.). В этом значении S^1 -донатор, хотя и не всегда представлен, но подразумевается, S^2 -получатель находится в центре внимания, объект может иметь конкретный и абстрактный характер (*зарплату, телеграмму, права, доступ*): *Я продала Ивану Петрову лес за три тысячи, а получила от него только две* (А. Островский. Лес); *Игорь получил ее [кровать] под расписку у коменданта* (Гранин. После свадьбы). В этом случае высказывание имеет акционально-посессивную семантику. Наличие такого диффузного значения подтверждает и наличие двух оттенков, отмечаемых словарем: посессивного – 'Стать обладателем чего-л., предоставляемого, присуждаемого и т. д.' *Получить дом в наследство* (субъект получения- S^2 инактивен); и акционального – 'Добиться кого-, чего-л., получить' (S^2 характеризуется как проявляющий волю и целеустремленность), ср.: *Надо было подкупить камердинера нашего холостяка-директора, чтобы получить при его помощи доступ к ящикам директорского стола*. (Кузьмин. Круг царя Соломона). Важно обратить внимание на оттенок значения, отмечаемый в [10] – 'Принимать к сведению, узнавать что-л.; приобретать о ком-, чем-л. представление', здесь фиксируется не физическая, а ментальная сфера действия, которая во вводном употреблении становится ведущей.

В значении 'Принять для исполнения' в центре внимания S^2 -получатель, чья активность проявляется в ментально-волевой сфере благодаря семантике объекта, представляющего собой свернутую ситуацию действия: *Ополченская дивизия генерала Дегтярева получила задание как можно быстрее выдвинуться на запад, к Днепру* (Ильенков. Большая дорога).

В третьем значении наблюдаются различия в формулировке глаголов СВ и НСВ. Глагол СВ имеет толкование 'Произвести в результате какой-л. работы, каких-л. усилий'. Характеризуя ситуацию как доминирующую акциональную и фоновую посессивную, подчеркнем, что у S^2 , бывшего получателя, усиливается признак активности, он становится субъектом действия, прикладывает усилия для получения нужного результата, не случайно в толковании указана возможность сочетания с распространителем со значением ресурса: *Получил бензин из нефти*. Ср.: *В своей новой монографии Кравцов получил то же уравнение* (Гранин. После свадьбы). Глагол НСВ участвует в реализации сопряженной посессивно-акциональной ситуации, ср. толкование

этого значения: *‘Иметь в итоге, результате каких-л. действий, работы, усилий’: Вы создали производственный кооператив, чтобы вам жилось лучше, работалось легче, чтобы получать всегда богатый урожай* (В. Кожевников. Народный солдат) [10].

При употреблении глагола в других значениях наблюдается постепенная дезактуализация действия и усиление реляционности и статальности.

В четвертом значении, стилистически маркированном (разг.) – ‘Приобрести какую-л. болезнь, заболеть чем-л.’, S^2 становится инактивным, не контролирует ситуацию, его роль приближается к функции «вместилища», значение объекта ограничено сферой болезненного состояния, представленного в виде автономной сущности: *Я как-то простудился, получил насморк и кашель* (С. Аксаков. Детские годы Багрова-внука). Глагол по своей функции приближается к полусвязочным, а высказывание – к статальным.

В пятом значении постулируется зависимость реализации значения от особенностей семантики сочетающегося с ним существительного, что свидетельствует о нарастающей десемантизации глагола. При отсутствии общей формулировки значения выделяются два оттенка: а) ‘подвергнуться чему-л., стать объектом чего-л.’: *...стоявшие на снегу самолеты получили всего несколько пулевых пробоин* (Н. Чуковский. Балтийское небо); б) ‘испытать какое-л. состояние, почувствовать что-л.’: *Я получил уверенность, что предчувствие мое сбылось* (Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши). Здесь также отражается двойственность значения: в первом оттенке актуализируется воздействие, но при этом инактивность S^2 усиливается, он становится, по сути, объектом в лексикализованной пассивной конструкции; во втором – фиксируется начало результативного состояния субъекта.

У возвратного глагола *получиться* первой дается форма страдательного залога, которая у формы СВ сопровождается пометой *устар.*, а для НСВ формулируется следующим образом: ‘Быть, оказываться полученным’ [10]. В высказываниях с этой формой реализуется вариант ситуации передачи / получения.

Помимо страдательного значения глагол *получиться* обладает также значением ‘Выйти, удался’, участвующим в реализации процессно-характеризующей ситуации. Можно говорить об особом залоговом значении, которое квалифицируется как средневозвратное: результат в этом случае не всегда зависит только от производителя действия. Ср. формулировку значения, приводимого В.В. Виноградовым: «объект действия изображается в роли его субъекта, а само действующее лицо, производитель действия, представляется в качестве косвенного объекта, на который направлено действие» [1. С. 498]. Субъект может передавать также семантику посессора и выступать в форме *у + род. п.*: *[Маскарадный костюм] у меня получился замечательный. Это были настоящие рыцарские доспехи...* (Катаев. Белеет парус одинокий). Словоформа со значением реального производителя действия может не вербализоваться, и тогда доминирует собственно характеризующая семантика, например: *Снимок получился хороший*. Иногда появляется оттенок независимости результата от его производителя, обусловленный вовлечением в ситуацию каких-либо иных «сил», которые находятся вне влияния субъекта. В этом случае глагол сопровождаются показатели оценки: действие произ-

водит субъект, но качество получившегося предопределяется целым комплексом привходящих обстоятельств. Добавим, что часто в этих высказываниях подчеркивается неожиданность результата для говорящего (ср. знаменитую фразу В.С. Черномырдина: *Хотели как лучше, а получилось как всегда*). При таком употреблении возможен пропуск объекта и сочетание глагола с местоименными наречиями *так, иначе, (не) всегда*: *Он должен сопровождаться более активной структурной политикой, что получается не всегда* («Итоги». 02.04. 2003. НКРЯ).

Еще больше ослабляется значение субъекта действия и актуализируется семантика результата как непроизвольного 'следствия чего-л.' в третьем значении – 'Случиться, произойти как следствие чего-л.': *Врача нужно, – сказал Бюрке. – Как бы заражения не получилось* (Казакевич. Весна на Одере). В центре внимания объект (*заражение*), непроизвольность действия подчеркнута безличной конструкцией. Не случайно толкование этого значения через глагол *случиться* ('выпасть на долю'), подчеркивающего независимость результата от субъекта. Это последнее значение наиболее близко к тому, которое реализуется во вводном употреблении. Интересно, что в словаре Д.Н. Ушакова [10] представлено значение 'оказаться, произойти, появиться как следствие, результат, вывод из чего-н.', иллюстрируемое предложениями: *При делении восьми на три получилось два и два в остатке; Выводы получились неожиданные*. В толкование этого же значения включено безличное употребление глагола в позиции парентетика: *безл. Получится (получилось), что... Окажется (оказалось), выйдет (вышло) в результате (разг.). Получилось, что я виноват, а не ты*.

Таким образом, семантическое варьирование глагола *получить(ся)* демонстрирует его способность выступать в акциональных, реляционно-акциональных, стательных-реляционных, собственно реляционных высказываниях. Именно реляционная семантика, доминирующая в показателях вывода, ведет к изменению статуса анализируемой единицы.

Анализ семантического варьирования слов *получить* и *получиться* показывает, что у возвратного глагола усиливается сема результативности (у глаголов СВ и НСВ), значение неполной контролируемости результата; усиление реляционности (посессивности), ослабление связи с ситуацией передачи физического объекта характерно для обеих форм.

Коротко отметим, какие грамматические особенности, по нашему мнению, способствуют переходу глагола НСВ *получаться* в разряд вводных слов.

Обращает на себя внимание необычная видовая характеристика глагола *получать*, относящегося к НСВ. Рассматривая вслед за Ю.С. Масловым группу глаголов непосредственно эффекта (*понимать, находить, приходить* и под.), в которую включается и глагол *получать*, Ю.Д. Апресян отмечает в качестве их нетривиальной видовой характеристики наличие у НСВ результативности. Ср.: «...они обозначают факт скачкообразного, «точечного» перехода к новому качеству не только в формах совершенного, но и в формах несовершенного вида», так что они становятся почти синонимичны предложениям с совершенным видом [24. С. 228]. Вместе с тем в значении глагола НСВ *получать(ся)* важен акцент и на самом процессе, в интенции говорящего

входит указание на последовательность операций, приводящих к определенному выводу. Указанная семантическая особенность помогает в некоторых случаях имитировать предшествующие выводу этапы. Это в определенной степени ослабляет роль объекта, особенно в конструкциях, где он опущен, например: *Ну и как, получается?* Ср. также: – *Я стараюсь это делать. – Получается?* (А. Хинштейн. НКРЯ).

К параметрам, позволяющим проследить движение к вводному слову, относится и способность глаголов НСВ иметь форму настоящего времени. Лексема *получается* имеет значение настоящего неактуального, близкого реляционному, фиксирующего ситуацию «сейчас и всегда». Утрата конкретной референции, связи с определенным отрезком на оси времени и дает возможность этой лексеме выступать в качестве показателя логического вывода.

Форма третьего лица способствует установлению логической связи между двумя явлениями, снижая роль действующего лица. Это проявляется в полной мере в ситуации математических выкладок: *646 тысяч призывников плюс 150 тысяч контрактников и сержантов. Получается 796 тысяч* («КП». 2011.04.26. НКРЯ). Вероятно, с этим связано присутствие грамматической пометы – *1 и 2 не употр.* – у многих значений глагола *получиться* в [13]. Представляется, что школьная математическая формула: «*Если к пяти прибавить три, то получается восемь*» – оказывает существенное влияние на частотность употребления слова *получается*. В этих случаях выражается значение логического вывода, ментальное значение глагола (не всегда отмеченное в словаре), а высказывание носит собственно реляционный характер.

Итак, в семантическом варьировании глагола *получать(ся)* уже заложены те предпосылки, которые позволяют ему свободно употребляться в качестве вводного слова.

3. Условия употребления и семантико-прагматическая специфика вводного слова *получается*

Функционированию слова *получается* в качестве вводного способствует несколько факторов: особая позиция в предложении, разрыв синтаксических связей со структурно-семантическими элементами предложения, наличие особых функций в высказывании, в том числе и показателя инференциальности, относящего сообщение к сфере косвенной засвидетельствованности.

Не любой глагол способен переходить в разряд вводных слов: в литературе выделяют особую группу парентетических глаголов ([21, 22, 23] и др.), имеющих семантико-грамматическую специфику, к которым можно отнести и глагол *получаться*.

По семантике это довольно разнородная группа, в которую обычно включают глаголы восприятия, эмоционального отношения, ментальных процессов. В подгруппе со значением ментальных процессов особое место занимают глаголы со значением логического вывода: *выходит, стало быть, получается*. (Эту же семантику передают и вводно-модальные слова иной морфологической природы: *следовательно, значит* и др.) Словари синонимов, как и грамматики, в первую очередь выделяют их текстообразующие потенции, ср.: «...эти слова употребляются как вводные, указывая на отношение между частями высказывания, а именно на переход к выводу, заключению, к тому, что... вытекает из вышесказанного» [12. С. 434]. Словарь под редакцией

Л.Г. Бабенко [14] под рубрикой «Речевые формулы» объединяет ряд единиц (*следовательно, из этого следует, итак, отсюда следует, таким образом, разг. выходит, разг. значит, разг. и стало быть, разг. получается*) с общим значением «Выражает значение результата, следствия», не конкретизируя, на основании чего делается вывод – предшествующего текста или сопоставляемых реальных фактов, событий. Дж. Урмсон выделяет парентетические глаголы-показатели того, «как высказывание должно логически включаться в разговор», и глаголы, используемые для «указания (но не описания) “эвиденциальной ситуации”» [21. С. 197], к которым относится слово *получается*. Глаголы в парентетическом употреблении, по его справедливому мнению, нельзя интерпретировать «как процесс в ментальной сфере говорящего», они указывают, что высказывание «является по существу догадкой» [Там же. С. 202].

К грамматическим характеристикам парентетических глаголов относят их функционирование в форме настоящего времени (*present indefinite*) в главной части сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным (*complementary clause*). Все эти свойства проявляются и у глагола *получается*. Добавим, что для употребления, близкого вводному (служащего своего рода мостиком к такому употреблению), характерна препозиция слова *получается*, стоящего в начале предложения, и нераспространенность главной части. Ср.: *Скобка «замка» приделана к корпусу часов, именно за нее цепляется застежка часового браслета. Получается, что сам циферблат практически закрыт* (Е. Блинова. НКРЯ); *Как-то странно выглядит, когда партия власти эту самую власть и атакует. При этом лидеры «единоросов» не устают на каждом углу повторять, что их партия пропутинская. Получается, что Путин – отдельно, а правительство – отдельно?* (А. Рыклин. НКРЯ).

Следующим шагом в сторону вводности является утрата союза, ср.: *Почему шоферов, сбивших пешеходов, отправляют в колонию, а не посылают на водительские курсы?! Получается, перед законом равны не все?!* («Комсомольская правда». 2011.05.03. НКРЯ); *Вот в кустах промелькнула бурая шерсть. Получается, сам себе накликал беду* (Р.Б. Ахмедов. НКРЯ). Отметим, что в этом случае союз легко, без изменения смысла, опускается и восстанавливается.

Более явной для вводного употребления является постпозиция или интерпозиция, например: *Две современных операционных простаивают без дела. Девять человек погибло. <...> – Константин Иванович, останутся сердечники без операций, получается?* (Н. Лукиных. НКРЯ); *...буквально на днях стало известно, что фирма «Орбита» получила более 120 млн рублей на свои счета по иску к администрации города, доказав, что они, получается, свои обязательства перед Ростовом выполнили* (А. Степанов. НКРЯ).

Вводное употребление слова *получается* сопровождается разрывом синтаксических связей, отсутствием характерных для знаменательного глагола распространителей со значением субъекта (*у меня / тебя / всех получается*), объекта (*получается конструкция / забег / ложь*), адъективных и адverbиальных определителей (*получается путным / уменьшенным / таким; получается четко / точнее / неплохо / так*), а также утрачивает глагольную пара-

дигму, ср. не вводное употребление глагола, сохраняющего полную парадигму и лексико-синтаксические связи: *Ты попросил, чтобы я подвел к твоей жене мальчика, Теперь я получаюсь виноват* (О. Некрасов. НКРЯ), *Установка была – не больше 15 задержаний в сутки. А ты уже у нас 16-й получаешься* (Е. Лукин. НКРЯ). Эти особенности слова *получается* (как и относящихся к той же группе логического вывода *стало быть, выходит*) отличают его от вводных слов других подгрупп, допускающих употребление с некоторыми распространителями, сохраняющих «остатки» глагольной парадигмы (*мне думается / мне кажется / казалось бы, оказывается / оказалось* и др.).

Радиусом действия вводного элемента является все предложение, а не отдельная часть, синтаксическая изолированность выражается интонационно (пунктуационно), ср.: *Знаю я то, получается, чего Бог твой не знает или вид делает* (О. Павлов. НКРЯ).

Ограничения на сочетаемость и словоизменение, разрыв синтаксических связей с остальными компонентами предложения тем не менее не означают, что функции вводного слова индифферентны по отношению к семантике высказывания. Можно выделить несколько семантических типов предложений и их разновидностей, в которых актуализируются различные функции из общего набора, свойственного анализируемому вводному слову.

На первый взгляд наиболее естественной средой для любого члена синонимического ряда со значением логического вывода должны быть те предложения (или фрагменты текста), в которых реализуются причинно-следственные отношения, а вводное слово, дублируя значение логического вывода, актуализирует их, ср.: *Мы выводим нефть, а США ввозят около 600 млн. т. ежегодно... получается, мы Западу помогаем, отдавая излишки нашего сырьевого баланса* (В. Калюжный. НКРЯ); *Основная задача этих программ – не изменить тем или иным образом жизнь страны, а удачно использовать в пиаре <...> получается, партиям вовсе не нужны экономисты, для того чтобы писать программы* (С. Туркин. НКРЯ). Первая часть высказывания содержит аргументы, факты, а вторая, присоединяемая вводным словом, – вывод. Если каузальные связи выражены в предложении нечетко, то показатель *получается* сигнализирует о существовании имплицитных смыслов, например: *Знаешь, Леночка, в этом письме содержится сообщение о смерти твоего первого мужа, Антона Ивановича Флотова. Получается, он не погиб на фронте, а попал в плен...* (Л. Улицкая. НКРЯ). Вводное слово указывает, что приведенное суждение является результатом некоторой цепочки умозаключений: если такое сообщение есть, то можно предположить, что муж попал в плен и умер позже. В этих случаях вводное *получается* может быть заменено другими единицами той же подгруппы – *значит, следовательно, стало быть*. Однако высказываний подобного типа в нашей выборке немного, вводные слова встречаются и при оформлении других отношений обусловленности.

При описании условных конструкций отмечается, что слова *следовательно, значит* могут оформлять и обратные отношения: «...та часть, которая представлена говорящим как умозаключение (вывод, следствие), фактически называет реальную причину того, о чем сообщается в части, оформленной условным союзом» [17. С. 573]. Подобная инверсия наблюдается и в конст-

рукциях с анализируемым словом, которое предназначено быть сигналом вывода, а на самом деле после него может следовать довод, основание высказанного прежде суждения: *Но сейчас ему еще тяжелее, ведь получается, что человек, который воевал за благополучие своей Родины, теперь оказался ей не нужен?* (Е. Мельникова, Е. Тимошина. НКРЯ); *Конфликты между фирмами возникают чаще всего тогда, когда при проведении совместных сделок фирмы не используют разработанное соглашение о проведении совместных сделок... получается, основная причина конфликтов – в несовершенстве работы самих фирм* (И. Бондаренко. НКРЯ). В таких высказываниях у вводного *получается* ослабевает семантика следствия, оно в первую очередь служит общим сигналом умозаключения, того, что суждение говорящего является итогом размышления, а не просто «безответственным» утверждением, неаргументированным мнением.

Кроме того, вводное слово *получается* содержит косвенное указание на наличие особых, не поддающихся простой логике, обстоятельств, может включать оттенок неожиданности для говорящего. Ср.: *Но другого сна нет. И яви нет. Так что сравнивать не с чем. Это сон, который, получается, создала я сама, и он размером со вселенную!* (Т. Соломатина. НКРЯ); *...я расскажу все так, как было на самом деле, не искажая ни одного слова и ничего не прибавляя от себя... Ой, как в опере, получается!* (В. Медведев. НКРЯ). Такое употребление, предопределенное залоговой семантикой исходного глагола и отсутствующее у других показателей логического вывода, наблюдается в высказываниях от первого лица, в прямой (внутренней) речи, может сопровождаться междометиями.

Вводное слово *получается* часто функционирует в предложениях с семантикой характеристики, с оценочной интерпретацией, реноминацией какого-либо явления: *Он приглашает на сцену матерную улицу, но это не голый эпатаж, а, получается, высокое искусство* («Домовой». 06.04.2002. НКРЯ); *Эпоха была голодная, не самая, получается, лучшая для мясоедящих зверей, если человек, офицер, и тот считал мясное блюдо праздничным* (Э. Лимонов. НКРЯ). Показатель вывода в этом случае создает иллюзию логической операции, представляя мнение как результат размышлений. «Ореол» процессности, сохраняющийся у слова *получается*, заставляет адресата предположить, что в высказывании опущены некоторые мыслительные операции. В двух последних типах употреблений ярко проявляется специфика анализируемой единицы, так как здесь невозможна ее замена другими единицами с семантикой логического вывода.

Умение логически рассуждать ценится в современном обществе, это одна из причин активизации группы со значением вывода в текстах последнего времени, а слово *получается* может служить для имитации логики, создавать образ логически мыслящего человека, независимо от того, представляет данное высказывание умозаключение или нет.

Итак, в зависимости от семантики высказываний, в которых употреблено анализируемое слово, его функции модифицируются, меняются, но сохраняют общий функционал.

Поскольку вводное слово обладает синкретичностью семантики, придает субъективность сообщению и может выступать в разных семантических ти-

пах высказываний, говорящий часто использует дополнительные языковые средства для акцентирования важных для него смыслов.

Так, для актуализации основной функции – логического вывода – слово *получается* может выступать в сочетании с другими показателями итога мыслительных операций, обобщения, хотя и само содержит эту семантику: *в результате получается; в общем, получается; таким образом, получается; так что получается* и т.д. Например: *При домашнем образовании, естественно, внимания к каждому намного больше <...> Таким образом, получается, снова создается определенная среда – более или менее благоприятная...* (Коллективный. Комментарий к статье «Забота о детях: почему раннее образование в этом не помощник?» НКРЯ); *...никто... не хочет строить нормальные отношения власти со СМИ. В итоге, получается, опять «квартет» по дедушке Крылову, где ладу в музыкантах нет* (В. Плотников. НКРЯ); *Где-то в подсознании была также внушенная пропагандой мысль, что жестокости неизбежны при больших исторических событиях <...>. В общем, получается, я был более внушаем, чем мне это хотелось бы о себе думать* (Г. Горелик. НКРЯ). Такое скопление однотипных показателей может говорить о некотором «недоверии» в возможности однозначного прочтения этого смысла, тем более что отношения между частями предложения не всегда дифференцированы.

Акцент на авторской интерпретации события достигается при воспроизведении, изложении, вкраплении чужой речи, если используются сочетания *то есть получается; например, получается*: *...реформы проводят там, где есть проблемы, однако наша пятилетняя система высшего профессионального образования во многих направлениях могла дать фору зарубежным аналогам, вплоть до недавнего времени. То есть, получается, Минобразования начал реформу на пустом месте, породив тем самым проблемы переходного периода...* (коллект. Министерство НЕобразования России. НКРЯ); *Деду Федору подражать не предлагалось, очевидно, по причине его многоженства и непутевости, приведшей его в штрафной батальон и к гибели. Но дед, получается, «кровью искупил вину»...* (Э. Лимонов. НКРЯ).

Вместе с тем слово *получается*, как и другие показатели косвенной заведительствованности, может выражать модус персуазивности. Неуверенность в достоверности высказывания поддерживается тем, что оно часто функционирует в вопросительных конструкциях, в предложениях, содержащих языковые единицы со значением возможности, предположительности. Например: *Вы ведь во время предвыборной кампании уверяли, что Путин – это хорошо. Получается, вы обманули избирателей?* (А. Чубайс); *Может, у меня паранойя, но, по-моему, нельзя присылать карты без нескрываемого конверта по обычной почте. Получается, любой почтальон может аккуратно вскрыть конверты с этими картами, переписать все данные карты...* (Коллективный. Банк Русский Стандарт. НКРЯ). Показатели неуверенности, приблизительности, сравнения, вступая во взаимодействие с семой неполной контролируемости в значении анализируемой единицы, усиливают значение некатегорической достоверности высказывания. Ср.: *Грязная соль губчатого снега. Блещут лужи. Сверкает... мириадами стекляшек свалка. Получается, вероятно, с моста угол зрения не такой, как с прошлых наших кочек*

(А. Эппель. НКРЯ); *Я ставил ноги, используя каждую рытвину, каждый камень... получается, как будто поднимаешься по лестнице* (Ф. Искандер. НКРЯ).

Таким образом, можно выделить семантические типы высказываний, от которых зависит та или иная модификация его функций. Вводное слово также меняет восприятие высказывания, сигнализируя о необходимости восполнить пропущенную информацию, создавая облик размышляющего человека.

Анализ высказываний, включающих функционирование глагола и вводного слова *получается*, показал, что можно сформулировать ряд условий употребления, в соответствии с которыми меняется статус этой единицы. К ним относятся и лексико-семантическая сочетаемость, и морфологическая характеристика (хотя вводное слово *получается* «наследует» от глагола ряд его категориальных свойств), и др. Изучение семантического варьирования глагольной лексики демонстрирует те предпосылки, которые создают основу для транспозиции, включения слова *получается* в группу вводных слов со значением логического вывода. Эта группа существенно отличается от показателей, указывающих на связь между частями высказывания, так как они являются специальными маркерами того, что представляемые факты опираются на размышления, интуицию, интерпретацию событий, обладают признаками субъективности, косвенной засвидетельствованности излагаемых фактов.

Способность передавать в неявном виде важные для современного общества смыслы, синкретичность и полифункциональность, разговорный характер – все это способствует частотному употреблению показателя *получается* в современных текстах.

Литература

1. Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М.: Высш. шк., 1972. 614 с.
2. Падучева Е.В. Вводные глаголы: речевой и нарративный режим интерпретации // Вестник лингв. М., 2006. 623 с.
3. Перфильева Н.П. Метатекст в аспекте текстовых категорий. Новосибирск: Изд-во Новосибир. гос. пед. ун-та, 2006. 284 с.
4. Разлогова Е.Э. Логико-когнитивные и стилистические аспекты семантики модальных слов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 199 с.
5. Корнилов А.А. Вводные элементы в русской речи. СПб.: Изд-во РГПУ, 2003. 129 с.
6. Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М.: Помовский и партнеры, 1993. 207 с.
7. Остроумова О.А., Фрамполь О.Д. Трудности русской пунктуации: Словарь вводных слов, сочетаний и предложений: опыт слов.-справ. М.: Изд-во МГУ, 2009. 501 с.
8. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1939. Т. 3. 1424 стб.
9. Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР; Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Рус. яз., 1987. Т. 3. 750 с.
10. Большой академический словарь русского языка: в 30 т. / Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. М.: Наука, 2011. Т. 18. 772 с.
11. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный: в 2 т. М.: Рус. яз., 2000. Т. 2. 184 с.
12. Словарь синонимов русского языка: в 2 т. / ИЛИ РАН; под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Астрель, 2003. Т. 2. 856 с.
13. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1975. 847 с.

14. *Словарь синонимов русского языка* / под общ. ред. Л.Г. Бабенко. М.: Астрель, 2011. 687 с.
15. Гак В.Г. Десемантизация языкового знака в аналитических конструкциях синтаксиса // Аналитические конструкции в языках различных типов. М., 1965. С. 129–142.
16. *Грамматика русского языка*: в 2 т. М.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. 2, ч. 2. 440 с.
17. *Русская грамматика*: в 2 т. / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1980. Т. 2. 714 с.
18. Козинцева Н.А. Косвенный источник информации в высказывании (на материале русского языка) // Эвиденциальность в языках Европы и Азии. СПб., 2007. С. 85–103.
19. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. Л.: Наука, 1984. 136 с.
20. Бондарко А.В. Категоризация в системе грамматики. М.: Языки славянских культур, 2011. 488 с.
21. Урмсон Дж. Парентетические глаголы // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16: Лингвистическая прагматика. С. 196–216.
22. Thompson S., Mulac A. A Quantitative Perspective on the Grammaticalization of Epistemic Parentetals in English // *Approaches to Grammaticalization*. John Benjamins, Philadelphia, 1991. Vol. 2. P. 313–329.
23. Fisher O. The Development of English Parentetals: A Case of Grammaticalization? // *Tracing English through time: exploration in language variation: in honour of Herbert Schendl on the occasion of his 65th birthday*. Wenen, 2007. P. 99–114.
24. Апресян Ю.Д. Лексикографический портрет глагола ВЫЙТИ // Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. С. 485–502.

EXPRESSION WITH THE WORD *POLUCHAYETSYA*: PREREQUISITES AND CONDITIONS FOR PARENTHETICAL USE.

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 33–47. DOI 10.17223/19986645/35/4
 Matkhanova Irina P., Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russian Federation).
 E-mail: matkhanova@mail.ru

Keywords: parenthetical words, parenthetical verbs, inference, logical conclusions, transposition, *poluchayetsya*

The article investigates the transition of the verb *poluchayetsya* (“[it] turns out”) to the class of parenthetical words with the meaning of logical conclusion as a fragment of the parts of speech transposition system.

The author analyses the semantic variation of this verb in terms of the categorical situation theory, reveals the conditions where semantic variants of this verb function in action situations, action / relational and stative / relational situations, and “pure” relational situations. This verb functioning can be a prerequisite for a transposition. The changes marked in the paper are connected with the process of a gradual transfer from the indicating of a physical action to the mental process. These processes naturally include the transformation of grammar categories. The paper points out the special role of dynamics in voice meanings (the movement from the active voice to the reflexive-middle voice), in aspect and tense semantics. It is mentioned that the imperfective aspect has a special meaning, combining “result” and “process” meanings, that the tense forms can be lost with the exception of the present tense form with a particular meaning of relational meaning “now and thus always”. The author also marks the important role of the choice of a single personal plan – the third person singular, close to impersonal use. All these show the possibility to interpret this verb as a parenthetical one.

The possibility of parenthetical usage of the verb *poluchayetsya* can be caused by a series of factors: the break of syntactic relations with the other components of a sentence that typically extend the verb, as well as the specific position and the intonation of a parenthetical phrase. These factors serve as the general transposition rules for the verbs to the class of parenthetical words. This word, being a representative of the “logical conclusion” word group, also has inherent characteristics such as the total loss of paradigm and collocations, and also the “frozen” form usage.

The author claims that the parenthetical word *poluchayetsya* obtains new functions. This word is a marker of inference and a signal of logical conclusion, drawn by the speaker on the basis of the available facts. The main types of expressions with this marker are listed: expressions with the “cause – result” relations, with the argumentative relations, with the relations of characterization (evaluative interpretation). In every type of expressions we can observe the actualization of general and specific semantic and pragmatic functions. Due to the syncretic semantics of parenthetical words the discussed

word *poluchayetsya* interacts with a series of corresponding markers and emphasizes the functions of logical conclusion, author's interpretation of a situation, indirect evidence, uncertainty in the trustworthiness of situation, reconstructing of the missing unit in reasoning.

Thus, the active use of parenthetical *poluchayetsya* can be explained by its polyfunctional character, ability to create the image of a person who can reason logically (that is socially claimed), need to expand the number of inference markers (connected with referring to the option of non-complete trustworthiness), conversational character of use that is typical for nowadays language reality. The expanded and highly frequent use of this unit requires gradual lexicography practice.

References

1. Vinogradov V.V. *Russkiy yazyk: Grammaticheskoe uchenie o slove* [Russian Language: Grammatical doctrine of the word]. Moscow: Vysshaya shkola Publ., 1972. 614 p.
2. Paducheva E.V. *Vvodnye glagoly: rechevoy i narrativnyy rezhim interpretatsii* [Introductory verbs of speech and narrative mode of interpretation]. In: Moldovan A.M. (ed.) *Verenitsa liter* [A string of letters]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ., 2006. pp. 498–515.
3. Perfil'eva N.P. *Metatekst v aspekte tekstovykh kategoriy* [Metatext in terms of text categories]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University Publ., 2006. 284 p.
4. Razlogova E.E. *Logiko-kognitivnye i stilisticheskie aspekty semantiki modal'nykh slov* [Logical cognitive and stylistic aspects of semantics of modal words]. Moscow: Moscow State University Publ., 2004. 199 p.
5. Kornilov A.A. *Vvodnye elementy v russkoy rechi* [Introductory elements in the Russian language]. St. Petersburg: Russian State Pedagogical University Publ., 2003. 129 p.
6. Baranov A.N., Plungyan V.A., Rakhilina E.V. *Putevoditel' po diskursivnym slovam russkogo yazyka* [Guide to discursive words of Russian]. Moscow: Pomovskiy i partnery Publ., 1993. 207 p.
7. Ostroumova O.A., Frampol' O.D. *Trudnosti russkoy punktuatsii. Slovar' vvodnykh slov, sochetaniy i predlozheniy: opyt slovaryi-spravochnika* [Difficulties of Russian punctuation. Dictionary of introductory words, phrases and sentences: an experience of the dictionary-reference book]. Moscow: Modern University for the Humanities Publ., 2009. 501 p.
8. Ushakov D.N. (ed.) *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: v 4 t.* [Explanatory Dictionary of Russian language: in 4 v.]. Moscow: Gos. izd-vo inostr. i nats. Slovarye Publ., 1939. V. 3, col. 1424.
9. Evgen'eva A.P. (ed.) *Slovar' russkogo yazyka: v 4-kh t.* [Dictionary of the Russian language: in 4 v.]. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 1987. V. 3, 750 p.
10. *Bol'shoy akademicheskyy slovar' russkogo yazyka: V 30 t.* [Big Academic Dictionary of the Russian language: in 30 v.]. Moscow: Nauka Publ., 2011. V. 18, 772 p.
11. Efremova T.F. *Novyy slovar' russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel'nyy: v 2 t.* [New Dictionary of the Russian language]. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 2000. V. 2, 184 p.
12. Evgen'eva A.P. (ed.) *Slovar' sinonimov russkogo yazyka* [Dictionary of Russian synonyms]. Moscow: Astrel' Publ., 2003. V. 2. 856 p.
13. Ozhegov S.I. *Slovar' russkogo yazyka* [Russian dictionary]. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 1975. 847 p.
14. Babenko L.G. (ed.) *Slovar' sinonimov russkogo yazyka* [Dictionary of Russian synonyms]. Moscow: Astrel' Publ., 2011. 687 p.
15. Gak V.G. *Desemantizatsiya yazykovogo znaka v analiticheskikh konstruktivnykh sintaksisa* [Desemantization of the language sign in analytical structures of syntax]. In: Zhirmunskiy V.M., Sunik O.P. (eds.) *Analiticheskie konstruktii v yazykakh razlichnykh tipov* [Analytical constructions in different types of languages]. Moscow: Nauka Publ., 1965. pp. 129–142.
16. *Grammatika russkogo yazyka: V 2 t.* [Russian grammar: in 2 v.]. Moscow: USSR AS Publ., 1960. V. II, pt. 2, 440 p.
17. Shvedova N.Yu. (ed.) *Russkaya grammatika: v 2 t.* [Russian grammar: in 2 v.]. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 1980. V. II, 714 p.
18. Kozintseva N.A. *Kosvennyy istochnik informatsii v vyskazyvanii (na materiale russkogo yazyka)* [Indirect source of information in the statement (in the Russian language)]. In: Khrakovskiy V.S. (ed.) *Evidentsial'nost' v yazykakh Evropy i Azii* [Evidentiality in languages in Europe and Asia]. St. Petersburg: Nauka Publ., 2007. pp. 85–103.
19. Bondarko A.V. *Funktsional'naya grammatika* [Functional Grammar]. Leningrad: Nauka Publ., 1984. 136 p.

20. Bondarko A.V. *Kategorizatsiya v sisteme grammatiki* [Categorization in grammar]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur Publ., 2011. 488 p.
21. Urmson J. *Parenteticheskie glagoly* [Parenthetical verbs]. In: Paducheva E.V. (ed.) *Novoe v zarubezhnoy lingvistike* [New in foreign linguistics]. Moscow: Progress, 1985. Is. 16, pp. 196–216.
22. Thompson S., Mulac A.A. *Quantitative Perspective on the Grammaticalization of Epistemic Parentatals in English*. In: Traugott E.C., Heine B. (eds.) *Approaches to Grammaticalization*. John Benjamins, Philadelphia, 1991. V. 2, pp. 313–329.
23. Fisher O. *The Development of English Parentetals: A Case of Grammaticalization?* In: Smit U., Dollinger S., Huettner J., Kaltenboeck G., Lutzky U. (eds.) *Tracing English through time: exploration in language variation: in honour of Herbert Schendl on the occasion of his 65th birthday*. Wien, AT, Braumueller, 2007, pp. 99–114.
24. Apresyan Yu.D. *Izbrannye trudy* [Selected Works]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ., 1995. V. 2, pp. 485–502.

УДК 81
DOI 10.17223/19986645/35/5

В.В. Меняйло

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ХУДОЖНИКА В ЕДИНОМ ТЕКСТЕ ДЖ. ФАУЛЗА

В статье рассматриваются языковые средства репрезентации образа художника в произведениях Дж. Фаулза. Сравнение романов «The Collector», «The Magus», «Daniel Martin» и повести «The Ebony Tower» позволяет выделить как стабильные компоненты картины мира автора (например, оппозицию образов юного и зрелого художников), так и динамичные (например, соотношение концептов ХУДОЖНИК и СВОБОДА). Взаимодействие стабильных и динамичных компонентов обеспечивает трансформацию образа художника в едином авторском тексте.

Ключевые слова: Дж. Фаулз, единый авторский текст, художник, творчество, свобода.

«В структуре содержания любого художественного текста выделяется структура когнитивного субъекта, который осуществил акт творческого познания и реконструировал мир в художественной форме. Творческое познание, демонстрируя авторскую пристрастность к миру, является не механическим воспроизведением, а действенной интерпретацией этого мира. Реализация авторской интенции через набор коммуникативно-творческих стратегий неизбежно обеспечивает трансляцию авторского отношения к реалиям мира, какие бы фиктивные сущности не моделировались на их основе. При этом «ценностная ориентация» автора диктуется не только его *уникальностью* как индивида, но и той «культурно-интеллектуальной суперструктурой», которая снабжает индивида «рабочими гипотезами», определяющими особенности его познавательного поиска» [1. С. 181]. В связи с этим интересно то, как автор репрезентирует творческий процесс в тексте, помещая в центр моделируемой действительности художника-творца, поскольку в этом случае неизбежен процесс саморефлексии. В этом случае для исследователя текста актуальным становится вопрос о том, какие элементы в подобном произведении являются интенциональными, а какие вводятся автором в текст неосознанно. Особый интерес представляет то, как тема художника решается авторами-постмодернистами, находящимися под влиянием культурной парадигмы, принципиально отрицающей активное начало автора-творца.

В качестве материала исследования были выбраны произведения Дж. Фаулза, многие из которых в настоящий момент являются признанной классикой постмодернистской литературы. «Высмеивая и пародируя постмодернистские сетования по поводу «смерти автора», Фаулз доказывает решающее значение текста и неотделимость его от личности автора» [2. С. 32]. Рефлексия на тему творчества, попытка определить роль художника (в широком смысле этого слова) в постмодернистском мире определяют центральное место соответствующего концепта в картине мира Фаулза.

Концепты ХУДОЖНИК и ТВОРЧЕСТВО относятся к ключевым концептам и стабильным компонентам авторской картины мира, в той или иной форме получая репрезентацию во всех произведениях писателя, наряду с концептами FREEDOM, PRIVACY, ENGLISHNESS, NATURE [3, 4, 5, 6]. Однако в статье будут проанализированы только произведения, в которых тема творчества занимает центральное место, а именно: *The Collector* (1963), *The Magus* (1965, 1977), *The Ebony Tower* (1974) и *Daniel Martin* (1977). Данную совокупность текстов можно рассматривать в качестве «единого авторского текста» [7. С. 64]. Ранее (см. [8]) перечисленные романы и роман *The French Lieutenant's Woman* уже были проанализированы в качестве единого авторского текста на основании выдвижения в каждом из них индивидуально-авторского концепта FREEDOM. В сочетании же с повестью *The Ebony Tower* эти романы образуют единый авторский текст не только из-за общности тематики, но и поскольку во всех из них «встречаются элементы постмодернистской эстетики, оказавшей значительное влияние на творчество Дж. Фаулза, в частности: игровое начало, символ лабиринта, интертекстуальность и возможность множественной интерпретации» [8. С. 173]. Наличие подобных схожих принципов построения произведений является одним из оснований для их рассмотрения в качестве единого авторского текста. Другим основанием является наличие схожих элементов в содержании и структуре текста.

Так, во всех перечисленных произведениях репрезентируются следующие стабильные компоненты картины мира автора:

- 1) оппозиция образов юного и зрелого художника как в рамках одного произведения, так и в едином авторском тексте в целом;
- 2) взаимосвязь концептов ХУДОЖНИК и СВОБОДА (творчество рассматривается писателем как способ обретения свободы).

Оппозиция образов юного и зрелого художника представлена следующими парами: Miranda – George Paston (G.P.) (*The Collector*), David Williams – Henry Breasley (*The Ebony Tower*), Nicholas Urfe – Maurice Conchis (*The Magus*) и одновременно Nicholas Urfe (*The Magus*) – Daniel Martin (*Daniel Martin*). В последнем случае речь идет о связях между произведениями Фаулза в рамках единого авторского текста (исследователи нередко называют Дэниела Мартина повзрослевшим Николасом Эрфе [5]). Подобный подход позволяет автору показать сложность процесса становления художника: от творческой личности, видящей в искусстве прежде всего его эстетическую составляющую, до творца, осознающего гуманистическую роль искусства и, как следствие, степень своей ответственности перед людьми.

По мнению некоторых исследователей, «в ходе творческой эволюции Фаулза его взгляды на проблемы искусства и трактовка образа художника в его произведениях претерпевают значительные изменения: если в ранних книгах писатель уделяет первостепенное внимание вопросам становления творческой личности, формирования творческого сознания, то в его поздних произведениях акцент смещается на общественно-воспитательные функции искусства» [3. С. 6]. Однако, как показывает анализ произведений, принципиального изменения взглядов писателя на роль художника не происходит, скорее меняется фокус внимания автора. Несмотря на то, что в более ранних произведениях главными героями являются юные художники (Miranda, Nicholas),

роль второстепенных персонажей (G.P., Conchis) как наставников главных героев и трансляторов идей автора о значении искусства в жизни человека соответствует тому, как трактуются образы уже зрелых художников (Henry Breasley, Daniel Martin) в более поздних произведениях. Так, в повести *The Ebony Tower* «творчество как созидание более живое, чем сама жизнь, противопоставлено надуманному экспериментированию. Вопреки традиции истинным художником у Фаулза оказывается глубокий старик, а его противником, врагом искусства, воплощающего жизнь, – молодой и полный сил абстракционист» [2. С. 31]. Эта же мысль о необходимости проживать жизнь в искусстве эксплицирована G.P. в романе *The Collector*:

If you are a real artist, you give your whole being to your art. Anything short of that, then you are not an artist. Not what G.P. calls a 'maker' [9. С. 60].

Представления писателя о творчестве как способе обретения свободы актуализируются в каждом из анализируемых произведений, однако наиболее интересными для анализа с точки зрения того, как меняются взгляды Фаулза на характер необходимой художнику свободы, являются романы *The Collector* и *Daniel Martin*. Написанные молодым и зрелым автором, соответственно, они воплощают полярные точки зрения на проблему соотношения свободы и искусства.

В едином тексте Фаулза противопоставление ограниченного и неограниченного пространства формирует стабильный компонент авторской картины мира и лежит в основе репрезентации концепта FREEDOM, однако претерпевает эволюцию на разных этапах творчества: в каждом из романов это противопоставление, в соответствии с авторской интенцией, наделяется различными пространственными параметрами. Эволюция проявляется не только в вариативности хронотопических (пространственно-временных) характеристик оппозиции «свобода vs. несвобода», но и в переосмыслении значения ограниченного пространства: от репрезентанта несвободы к символу свободы (подробнее см. [10]). Как показывает дальнейший анализ, для юного и зрелого художника ограниченное пространство также наполняется разным значением.

В основе сюжета романа *The Collector* лежит похищение студентки художественного колледжа Миранды Грей разбогатевшим на тотализаторе банковским клерком Фредериком Клеггом. Попытки освобождения, предпринимаемые Мирандой, оказываются неудачными, и в финале романа, заболев пневмонией, она умирает в заточении. «Фаулз рассматривает в романе становление творческой личности, формирование творческого кредо начинающей художницы Миранды, ее попытки найти себя в творчестве и определить для себя смысл искусства. Ее искания в начале романа поверхностны: искусство для нее – прежде всего сфера красоты, источник эстетического наслаждения <...> лишь оказавшись в экстремальной ситуации <...> героиня проделывает мучительный путь к себе, поднимается с эстетического уровня на этический, осознает гуманистическую миссию творчества, художнической деятельности. Трагедия героини в том, что это осознание приходит к ней на пороге смерти» [3. С. 10].

В самом факте заточения в неволю художницы коллекционером угадывается классическая оппозиция свободного (духовного) мира искусства

ограниченному (бездуховному) миру коллекционирования. Покупая и изолируя от общества предметы искусства, коллекционер в каком-то смысле лишает их жизни. Выдвижение этого смысла обеспечивается повторами лексических единиц *collect* (6), *collection* (8), *collector* (4). Лексема *collector* вынесена в сильную позицию текста – заглавие. Отрицательные контекстуальные коннотации лексемы усиливаются в следующем контексте за счет многократного повторения отрицательного префикса *anti-*, а значение бездуховности – посредством сравнения коллекционеров с животными (в христианской традиции считается, что животные лишены души), опять же в сочетании с отрицательным оценочным прилагательным *bad* в превосходной степени:

I remember (the very first time I met him) G.P. saying that collectors were the worst animals of all. He meant art collectors, of course. I didn't really understand, I thought he was just trying to shock Caroline – and me. But of course, he is right. They're anti-life, anti-art, anti-everything [9. С. 52] (здесь и далее выделено мною. – В.М.).

Творческие планы и мысли о картинах, которые она напишет, когда окажется на свободе, становятся для Миранды своеобразной формой освобождения. Показателен и сюжет картины, над эскизами которой она работает в заточении: вид залитого солнцем сада через открытую дверь темной комнаты актуализирует ключевое противопоставление романа: «дом-тюрьма – сад/природа/внешний мир». В цветах, окрашивающих дом и сад, доминируют светлые, теплые тона солнечного света, которого лишена Миранда (*honey-whitish, white, clear, milky, light-filled*). Семы *white* и *light*, выделяемые в составе лексем [11], актуализируют положительную оценку свободы, поскольку в европейской традиции белизна и свет символизируют доброе, светлое, а также божественное начало. Светлым солнечным тонам противопоставлены темные, мрачные, серые цвета несвободы (*black, umber, dark, dark grey, shadow*). Эти цвета, преобладают в доме Клегга и в подвале, который стал для героини темницей.

I've been making sketches for a painting I shall do when I'm free. A view of a garden through a door. <...> something very special, all black, umber, dark, dark grey, mysterious angular forms in shadow leading to the distant soft honey-whitish square of the light-filled door [9. С. 66].

Как видно, в этом романе подвал (*cellar*) репрезентирует ограниченное пространство несвободы. Показательно, что схожим образом несвободное пространство представлено и в романе *The Magus*. На острове Фракос, где разворачиваются основные события романа и где молодой поэт Николас проходит непростой путь познания и самопознания под руководством таинственного «мага» Кончиса, есть пещера (*cave*). Ряд ключевых сцен происходит в этой пещере или рядом с ней. Обе лексемы (*cave* и *cellar*) содержат общую сему *below ground level* [11. С. 276, 278], актуализируя ориентационную метафору «верх – низ» [12. С. 25]. Расположение наверху оценивается положительно, а внизу – отрицательно (ср., по М.М. Бахтину, верх – это небо, низ – это земля. Приобщение к земле означает приземление, т.е. снижение [13]). В целом образ пещеры характеризуется большой смысловой нагруженностью в мировой культуре. «Древнейший миф указывает на пещеру как на сакраль-

ное место рождения нового <...> Пещера, быть может, самая древняя, сквозная через всю общечеловеческую память метафора <...> Пещеры бывают подземные, т.е. уводящие в другой мир под землю. Пещеры бывают на горе, где в вечном созерцании ждут колокола мудрецы...» [14. С. 42]. Соответственно, ограниченное пространство подвала/пещеры выполняет двойную функцию при репрезентации авторских смыслов. С одной стороны, оно ограничивает свободу героя-художника, как физическую, так и свободу освоения внешнего мира, необходимую молодому художнику, чтобы творить. С другой стороны, именно ситуация нахождения в замкнутом пространстве несвободы позволяет герою проанализировать свои поступки и таким образом выйти на новый уровень личностного и творческого развития.

Однако для зрелого художника ограниченное пространство наполняется иным содержанием в картине мира Фаулза. Так, в романе *Daniel Martin*, повествующем о жизни заглавного героя, сценариста и писателя на протяжении почти сорока лет, автор приходит к выводу, что свобода находится в самом человеке, это его внутреннее состояние. Для обретения свободы достаточно пребывать в гармонии с собой. Поскольку окружающий мир налагает ограничения на внутреннюю свободу человека, свобода рассматривается автором как одиночество:

...freedom, especially the freedom to know oneself, was the driving force of human evolution; whatever else the sacrifice, it must not be of complexity of feeling, and its expression... [15. С. 588].

В процитированном контексте глобальное понятие эволюции (*human evolution*) соотносится с понятиями личной свободы и самопознания: автор считает свободный выбор индивидуумом пути развития и самопознания необходимым условием эволюции.

По мнению исследователей, *Daniel Martin* свидетельствует о «возрастании у самого Фаулза интереса к природе творческого процесса, к природе искусства и закономерностям его восприятия... о накоплении опыта и наблюдений над практикой восприятия собственных произведений» [4. С. 96]. Автор в романе говорит не только об обретении свободы в процессе творчества, но и о ее потере художником, который подчиняет искусство коммерческим целям (противопоставление свободного писательского искусства и несвободной работы сценариста):

I simply sensed a far greater capacity for retreat in fiction. In Robin Hood terms I saw in it a forest, after the thin copses of the filmscript [15. С. 308].

Художественная литература и киносценарии метафорически противопоставляются как лес (*a forest*) и чахлый кустарник (*thin copses*), эксплицируя авторскую иронию и отрицательную оценку работы сценариста.

Творческая деятельность, как свидетельствует Фаулз в своих интервью, всегда являлась для него путем к свободе: *I am ferocious about maintaining my freedom as a writer. For me, writing is about discovering how you can be free* (цит. по: [16]). Те же идеи разделяет и его протагонист. Писатель свободен, потому что активно творит, создавая в процессе творчества собственный мир. Его свобода не абсолютна (*limited*), но превосходит (*is far greater*) свободу, доступную другим людям.

...all artists, at least in the process of creation, are much more 'divine' than any first cause one might arrive at, theologically or scientifically, on the evidence. They are not of course genetically, environmentally or technically **free**; imprisoned inside whatever gifts they have, whatever past and present experience; nonetheless, even that limited **freedom** is far greater, because of the immense forest constituted by the imagined, because of the permission Western society grants them to roam in it, than any other form of human being <...> can attain [15. С. 309].

Лексемы *divine*, *first cause* и *theologically*, включенные в описание процесса творчества, указывают на близость его природы божественному творению. Метафорический образ, уподобляющий процесс творчества неспешным прогулкам по лесу (ср. *immense forest constituted by the imagined, roam in it*), формирует важный смысл ухода художника от реальности и развивается в следующем контексте. В нем эксплицируется связь между литературным творчеством и убежищем, которое дарует художнику свободу одиночества (*la bonne vauх = retreat in fiction*). Выдвижению смысла способствует повтор лексемы *retreat* в сочетании с галлицизмом *la bonne vauх* и эпитет *solitary*, характеризующий радость ухода в убежище (*solitary pleasure*).

*The same something had in the end increasingly starved me of this solitary pleasure in **retreat**, in re-entering la bonne vauх ... and perhaps made me seek compensation in other forms of retreat <...> I knew it was far more this that was driving me towards the idea of a novel than any intrinsic love of the form. As a reader, drama and poetry had always meant much more to me. I simply sensed a far greater capacity for **retreat** in fiction* [15. С. 308].

Замкнутое пространство, таким образом, утрачивает в романе символическое значение несвободы и обретает противоположное значение убежища, которое охраняет личную свободу от внешних посягательств. Таким убежищем становится для героя родная ферма Торнкум (*Thorncombe*) в Девоншире, который Фаулз считал своей родиной и духовным пристанищем. В описаниях Торнкума повторяются лексемы *retreat*, *secret* (place/island), *peace*, *solitude*, структура которых содержит семы *withdrawing*, *unknown*, *unseen*, *single*, *calm*, *not disturbed*. Все компоненты смысла присущи представлениям об «убежище», которое может дать уединение и покой, необходимые художнику для творчества:

...overwhelming longing for the **peace and solitude of Thorncombe. Retreat**, to lick wounds, to discover what had gone wrong, not only with Daniel Martin, but his generation, age, century... [15. С. 643].

Подобным значением необходимого для свободного творчества убежища наполнены и образы дома Henry Breasley (Coetminais) в *The Ebony Tower* и студии G.P. в *The Collector*. Так, по мнению Миранды, все в студии G.P. отмечено его индивидуальностью (повтор местоимения *him/his* и градация *works in it, thinks in it, is it*, усиливающая эффект присутствия художника в описываемом пространстве) в противопоставление массовым стереотипам (актуализированным в названии модного журнала *Vogue*):

His studio. The most beautiful room. I always feel happy there. Everything in harmony. Everything expressing only **him (it's not deliberate, he hates "interior decoration" and gimmicks and Vogue). But it's all **him**. <...> The feeling that someone lives all **his** life in it, works in it, thinks in it, is it** [9. С. 65].

В описании Coetminais присутствуют те же мотивы, что и в описании фермы Дэниела Мартина: изолированность (лексемы *deserted, islanded*), расположение в лесу среди первозданной природы (*forest, trees, huge oaks and beeches*), Дэвиду дом даже кажется похожим на ферму (*appearance of a <...> farm*). Идея замкнутого пространства актуализирована в тексте за счет повторения лексем *gate, barred, padlocked*, содержащих в своем составе сему *prevent access* [11].

He [David] turned off down an even smaller forest road, a deserted voie communale; and a mile or so along that he came on the promised sign. Manoir de Coetminais. Chemin privé. There was a white gate <...> Half a mile on again through the forest he found his way barred, just before the trees gave way to sunlight and a grassy orchard, by yet another gate [17. С. 10].

The manoir, islanded and sundrenched in its clearing among the sea of huge oaks and beeches <...> had more the appearance of a once substantial farm... [17. С. 11].

Таким образом, единый авторский текст, представленный произведениями *The Collector, The Magus, The Ebony Tower* и *Daniel Martin*, актуализирует представления Дж. Фаулза о месте художника в современном мире. Вопреки постмодернистской традиции, отрицающей активное авторское начало, писатель подчеркивает важность именно гуманистической основы искусства. Проблема творчества в картине мира автора неразрывно связана с идеей творческой и личной свободы художника. Заявленная тема реализуется в едином авторском тексте за счет введения оппозиции «юный художник vs. зрелый» в каждом из анализируемых произведений и исследования отношения героев к проблеме свободы и способов ее обретения (противопоставление ограниченного и неограниченного пространства). Молодой художник ориентирован на выход из замкнутого пространства – для творчества ему необходим опыт освоения окружающего мира. Нахождение в замкнутом пространстве для него не комфортно, в то же время оно идеально для саморефлексии, необходимой герою для перехода на новую ступень личностного самопознания и творческого роста. Художник зрелый сознательно стремится отгородиться от внешнего мира, чтобы иметь возможность созидать. Ср. значение для героев образов подвала/пещеры (Miranda и Nicholas) и дома/фермы (G.P., Henry Breasley и Daniel Martin).

Литература

1. Щирова И.А. Текст сквозь призму сложного. СПб.: Политехника-сервис, 2013.
2. Арнольд И.В., Дьяконова Н.Я. Ушел из жизни Джон Фаулз // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 2007. Сер. 9. Вып 2. С. 29–35.
3. Картузова И.Б. Проблемы искусства и образ художника в творчестве Д. Фаулза: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2006.
4. Тимофеев В.Г. Уроки Джона Фаулза. СПб.: Петербур. ин-т печати, 2003.
5. Conradi P. John Fowles. London; New York: Methuen, 1982.
6. Onega S. Form and meaning in the novels of John Fowles. London: UMI Research Press, 1986.
7. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
8. Меняйло В.В. Единый текст Дж. Фаулза в культуре постмодернизма // Studia Linguistica XX. Язык в логике времени: наследие, традиции, перспективы. СПб., 2011. С. 165–173.
9. Fowles J. The Collector. URL: <http://artefact.lib.ru/library/fauls.htm> (дата обращения: 13.03.2014).

10. Меньяйло В.В. Доминантный хронотоп как средство репрезентации индивидуально-авторского концепта // Вестн. ЛГУ им. А.С. Пушкина. Сер. Филология. 2011. № 3, т. 7. С. 55–63.
11. *Oxford Dictionary of English*. Second edition, revised. Oxford: Oxford University Press, 2006.
12. *Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By*. Chicago: the University of Chicago Press, 1980.
13. *Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса*. М.: Худож. лит., 1990.
14. *Волкова П. Мост через бездну*. М.: Зебра Е, 2014.
15. *Fowles J. Daniel Martin*. London: Vintage, 1998.
16. *Lofthus D. Notes from Fowles's April 24, 1996 Appearance in Portland, Oregon*. URL: <http://www.david-loftus.com/Features/fowles.html> (дата обращения: 13.03.2014).
17. *Fowles J. The Ebony Tower*. London: Vintage, 2006.

THE IMAGE OF ARTIST TRANSFORMATION IN THE AUTHOR'S TEXT OF J. FOWLES.
Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 48–56. DOI 10.17223/19986645/35/5
 Meniailo Vera V., Saint-Petersburg Branch National Research University Higher School of Economics (Saint-Petersburg, Russian Federation). E-mail: menyaylo917@mail.ru
Keywords: J. Fowles, author's text, artist, creativity, freedom

The article analyses linguistic means of the image of artist representation in J. Fowles' literary works. Concepts of CREATIVITY and FREEDOM occupy the central place in Fowles' picture of the world and, consequently, they are represented in all his works. Three novels (*The Collector*, *The Magus*, *Daniel Martin*) and a story *The Ebony Tower* were chosen for the analysis because together they form an author's text. They possess similarity both on the thematic level (all of them foregrounding the topic of creativity) and on the composition and stylistic levels (all of them using postmodernist principles of text construction). Study of the author's text in contrast to separately taken texts makes it possible to outline changes within the author's picture of the world, especially, changes of particular elements, such as the image of artist.

Stable components of the author's picture of the world are formed by the opposition of a young and a mature artist as well as by the correlation of the concepts of CREATIVITY and FREEDOM. Dynamics is reflected in the changing heroes' attitude to freedom (constantly viewed as an indispensable condition for creativity) and ways of its acquisition.

The concept of FREEDOM is represented through the opposition of limited and unlimited space. In each of the analysed works this opposition acquires different spatial characteristics, in accordance with Fowles' intention. The evolution of the author's picture of the world is reflected in the variability of spatial characteristics of the opposition "freedom vs. non-freedom". Moreover, it is observed in the modified meaning of a limited space, which initially represents non-freedom but gradually starts to be associated with freedom. Young artists need to see the world and gain experience to be able to create, thus, they look for freedom in open spaces. Being in a limited space (such as a cave or a cellar) is uncomfortable for them, although it may provide them with an opportunity for self-reflection that enables artists to develop spiritually and artistically. Mature artists tend to hide from the outer world and search for freedom in closed limited spaces (such as a house or a farm), where they can think and create.

References

1. Shchirova I.A. *Tekst skvoz' prizmu slozhnogo* [The text in the light of the complex]. St. Petersburg: Politekhnik-servis Publ., 2013. 216 p.
2. Arnold I.V., D'yakonova N.Ya. Ushel iz zhizni Dzhon Faulz [John Fowles Passed Away]. *Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta. Seriya 9 – Vestnik of St. Petersburg State University. Series 9, Philology, Asian Studies, Journalism*, 2007, is. 2, pp. 29–35.
3. Kartuzova I.B. *Problemy iskusstva i obraz khudozhnika v tvorchestve D. Faulza*: avtoref. diss. kand. filol. nauk [The problems of art and the image of the artist in the work of J. Fowles. Abstract of Philology Cand. Diss.]. St. Petersburg, 2006.
4. Timofeev V.G. *Uroki Dzhona Faulza* [Lessons of John Fowles]. St. Petersburg: Peterburgskiy institut pechati Publ., 2003. 112 p.
5. Conradi P. *John Fowles*. London; New York: Methuen, 1982.

6. Onega S. *Form and meaning in the novels of John Fowles*. London: UMI Research Press, 1986.
7. Lotman Yu.M. *Struktura khudozhestvennogo teksta* [The structure of the literary text]. Moscow: Iskustvo Publ., 1970.
8. Menyaylo V.V. *Edinyy tekst Dzh. Faulza v kul'ture postmodernizma* [A single text of J. Fowles in the culture of postmodernism]. In: Shchirova I.A., Sergaeva Yu.V. (eds.) *Studia Linguistica XX. Yazyk v logike vremeni: nasledie, traditsii, perspektivy* [Studia Linguistica XX. Language in the logic of the time: heritage, traditions and prospects]. St. Petersburg: Politehnika-servis Publ., 2011, pp. 165–173.
9. Fowles J. *The Collector*. Available from: <http://artefact.lib.ru/library/fauls.htm>. (Accessed: 13.03.2014).
10. Menyaylo V.V. Dominantnyy khronotop kak sredstvo reprezentatsii individual'no-avtorskogo kontsepta [Dominant chronotope as a means of representation of the individual author's concept]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina. Seriya Filologiya*, 2011, no. 3, v. 7, pp. 55–63.
11. *Oxford Dictionary of English*. Second edition, revised. Oxford: Oxford University Press, 2006.
12. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
13. Bakhtin M.M. *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura Srednevekov'ya i Renessansa* [Creativity of Francois Rabelais and the folk culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1990. 543 p.
14. Volkova P. *Most cherez bezdnu* [Bridge over the abyss]. Moscow: Zebra E Publ., 2014. 240 p.
15. Fowles J. *Daniel Martin*. London: Vintage, 1998.
16. Loftus D. *Notes from Fowles's April 24, 1996 Appearance in Portland, Oregon*. Available from: <http://www.david-loftus.com/Features/fowles.html>. (Accessed: 13.03.2014).
17. Fowles J. *The Ebony Tower*. London: Vintage, 2006.

УДК 81'22

DOI 10.17223/19986645/35/6

Н.А. Мишанкина, А.Р. Рахимова

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА В НАУЧНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ¹

Статья посвящена способам метафорического моделирования структуры психики человека в психологии. Для её представления в научном психологическом дискурсе задействованы базовые когнитивные метафоры: ориентационная, онтологическая. Метафорические модели отражают специфику научного взгляда на то, как организован психический мир человека. Метафорическое моделирование позволяет понять и представить особенности существования и функционирования различных уровней психической системы.

Ключевые слова: метафорическое моделирование, концептуальная метафора, текстовая метафора, метафорический термин, психика, апперцепция, надсознание, сознание, подсознание (полусознание), предсознание, бессознательное.

Исследование когнитивных аспектов языковой деятельности актуализировало для современной лингвистики целый ряд вопросов, ответы на которые не были предложены в рамках других методологических подходов. К таковым, в частности, можно отнести проблему отражения в языке науки гносеологических механизмов. Вопрос об отличии научного стиля от других функциональных подсистем языка ставился еще в работах, выполненных в русле функциональной стилистики, были определены основные системно-структурные параметры этой подсистемы, обусловленные сферой функционирования. Но некоторые проблемы остались неосвещенными, к таковым, например, относится вопрос о значительном количестве метафорических единиц, функционирующих в научных текстах [1]. Попытки ответить на этот вопрос активно предпринимались в философских исследованиях [2–7]. Гносеологической функции концептуальной метафоры и ее функционированию в научных областях посвящен ряд лингвистических работ [1, 8–14].

Язык психологии с точки зрения лингвистики представляет собой малоизученную область. Прежде всего, это связано с относительно недавним формированием этой науки, а также с тем, что терминоведение как прикладная наука в большей степени обращало внимание на технические дисциплины. Работы, посвященные языку психологии, связаны в первую очередь с изучением его метафорической составляющей [8, 15, 16].

Психология – это молодая наука, которая возникла в 70-е гг. XX в. Несмотря на это, знания об устройстве психического мира человека существовали и до появления психологии, так как попытки познать внутренний мир человеческих чувств предпринимались во все времена, что получило отраже-

¹ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00302 «Метафорическая концептуализация в формировании терминосистем: гносеологические универсалии русской научной картины мира».

ние в языковых картинах мира. Попытки философского осмысления психической жизни встречаются уже в Античности. В середине XIX в. начали формироваться первые психологические школы и возникла экспериментальная психология [17]. Современная психология представляет собой науку о внутреннем мире человека, о структуре и содержании психических процессов и об архитектонике человеческой психики.

Как известно, язык науки обладает определенным набором признаков, характеризующих и отличающих его от языка других сфер общения: это *абстрактность, логичность, однозначность и нейтральность* [18. С. 82–83]. Основопологающей единицей языка науки является термин, базовыми критериями семантики которого выступают *содержательная точность и четкость*. Т.Л. Канделаки отмечает, что термин должен включать в себя два компонента значения: компонент экстралингвистической соотнесенности, т.е. связи с тем или иным классом предметов (денотативный аспект), и компонент информации об обозначаемом классе (сигнификативный аспект) [19. С. 7]. Вследствие симметричной соотнесенности данных компонентов значения, ученый получает готовое точное знание, оформленное в виде языковой терминологической единицы. Психологический термин в этой связи обладает спецификой, так как объектом изучения психологии является область, не имеющая предметной соотнесенности с внешним миром, – психика человека. Наивное мышление нашло способ представления и познания мира чувств и эмоций – метафорический [20, 21], обнаруживая гносеологическую функцию метафоры.

Метафора в данном случае понимается как концептуальная модель, когнитивный процесс, связанный с познанием мира и формированием знания посредством аналогии между новым явлением и ранее уже известным. Рассматривая метафору в качестве когнитивного механизма, мы опираемся на теорию концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона и типологию метафор, приведённую в работе [22]. Таким образом, используя уже знакомую семантическую форму, известный знак, ученый способен наполнить его новым содержанием, опираясь на схожие признаки явлений. Специфика объекта исследования в психологии обусловила по преимуществу метафорический способ представления знания в рамках этого дискурса.

Цель настоящей статьи – выявить метафорические модели, определяющие способы представления структуры психической организации человека.

Материалом для исследования послужили академические работы по общей психологии – учебные и справочные энциклопедические издания [23–26], представляющие апробированную информацию об устройстве человеческой психики, модель знания, принимаемую научным психологическим сообществом как наиболее адекватную исследуемому объекту.

Анализ академических текстов по психологии показывает, что для представления внутренней организации психики привлекаются следующие базовые метафоры и метафорические модели:

1. Ориентационная метафора

- психика человека – это пространство (вертикальное пространство; горизонтальное пространство; пространство, имеющее / не имеющее границы;

пространство, большего / меньшего размера; открытое / закрытое пространство; пространство, воспринимаемое / не воспринимаемое визуально).

2. Онтологическая метафора

- психика человека – это вещество;
- психика человека – это объект;
- психика человека – это субъект (психика человека – это субъект, способный совершать физические действия; психика человека – это социальный / антисоциальный субъект).

Психическая организация человека, с точки зрения современной психологии, имеет иерархически организованную пространственную структуру. В-первых, психика делится на два независимых, но сообщающихся пространства: сознание и бессознательное. Во-вторых, каждое из названных психических пространств также имеет свою организацию. Таким образом, уже на этом этапе психика интерпретируется посредством пространственной метафоры.

Пространственная метафора в представлении психики.

В центре структуры находится сознание – особое состояние, характеризующееся рефлексией человека над собой и окружающей его действительностью. Как отмечают исследователи, сегодня в психологии нет точного определения того, что представляет собой наше сознание. Согласно Р.С. Немову, несмотря на разнообразные подходы к вопросу понимания того, что есть сознание человека, существует определение, условно принятое как основное. В соответствии с ним сознание представляет собой «коммуницируемое, т.е. передаваемое от человека к человеку психическое состояние и знания, которые, соответственно, могут восприниматься и разделяться многими людьми, находящимися одновременно в состоянии сознания (так формируется «сознание», «совместное знание», или «коллективное (групповое) знание людей» [23. С. 508]. Его сущность может быть определена как процесс, имеющий показатели длительности, фазовости и последовательности; сознание как свойство личности, выражающееся в виде возможной системы оценок человеком происходящего и самого себя. Таким образом, наличие у человека нормального состояния здоровья, его способность отчетливо понимать происходящее и транслировать информацию посредством различных знаковых систем – основные признаки состояния сознания.

Собственно сознание метафорически моделируется в виде локальной зоны – открытого горизонтального пространства, имеющего границы, связанного с другими пространствами. Ограниченность этого пространства маркируется частотным оборотом *«находясь в ...»*. Особенности, характеризующие различные состояния психики человека и отличающие одно состояние от другого, метафорически обозначаются в виде пространственной границы: *«...такое понимание сознания допускает возможность существования психики человека за пределами его сознания»* [23. С. 509]; *«...наконец, среди неосознаваемого человеком есть то, что уже располагается как бы «на пороге сознания», и само по себе, спустя некоторое время, без особых усилий со стороны человека может стать осознаваемым»* [23. С. 533].

Все пространство, находящееся за пределами сознания, – это бессознательное. Однако естественное, нормальное состояние субъекта – «быть в соз-

нении». Различную природу этих пространств маркируют концептуальные метафоры на основе глаголов движения. В область бессознательного нельзя переместиться осознанно, целенаправленно: в бессознательном можно «оказаться», «впасть» и «находиться» в нем. В сознание, в отличие от бессознательного, можно «прийти», «вернуться», но нельзя «уйти»: *«утверждают также, что в результате тяжелой травмы или заболевания человек может на время терять сознание, а когда выздоровеет и придет в себя – вновь обретает его»* [23. С. 509]. Вероятно, это связано с пониманием того, что сознание является наиболее естественным состоянием человека, оно может измениться только по не зависящим от него причинам. В то же время пространства сознания и бессознательного не изолированы – эти явления, составляющие содержание психики, вполне могут перемещаться в обоих направлениях: *«...подсознательное – те представления, желания, действия, устремления, которые ушли сейчас из сознания, но могут потом прийти в него»* [24. С. 277]. Измененные состояния сознания интерпретируются как переходные зоны: *«...таким образом, сны, сновидения и гипноз – являются специфическими состояниями сознания, своеобразными «туннелями», связывающими сознательную часть психики с бессознательной»* [24. С. 276].

Пространственная модель сознания поддерживается целым рядом метафор, определяющих свойства пространства, в частности одно из значимых свойств – объем. Сознанию, осмысляемому как пространственный феномен, присваивается этот параметр: *«объем сознания – условно и формально – количество объектов, которые могут быть одновременно осознаны человеком»* [23. С. 545].

Сознание моделируется как сложное, иерархически структурированное пространство, оно представляет систему уровней: *«апперцепция, надсознательные процессы, собственно сознание, подсознание (или полусознание)»*. В данном случае мы имеем дело с моделью, основанием которой служит вертикально организованное пространство. Вертикальная ориентация выстраивается пространственными маркерами: префиксами с пространственным значением (*над-, под-*), прилагательными с пространственным значением (*самая высокая точка, ниже уровня сознания*).

В центре этой структуры находится собственно сознание – некоторое нормальное состояние осознания действительности. По мнению некоторых ученых, выше сознания в структуре психики можно выделить уровень *«надсознательных»* психических процессов [Там же]. К ним психолог относит творческое мышление, переживание значительных жизненных событий, связанных с различными эмоциональными кризисами. Эти процессы, по мнению Р.С. Немова, отличаются от процессов, происходящих в нашем сознании или в бессознательном, на основе следующих признаков: «Человек изначально не знает конечного результата, к которому приведет соответствующий процесс. Неизвестен, кроме того, момент, когда этот процесс закончится» [23. С. 518]. Метафорическое моделирование «надсознательных» психических процессов осуществляется только на основе вертикального параметра и параметра объема/размера. Префикс «над» формирует представление о более высокой ориентации сознания (ср. над землей, над столом, надо мной и др.). Изменение высоты также сопровождается изменением основных пространственных па-

раметров, свойственных метафорическому представлению сознания в виде локальной зоны, имеющей свои границы. «Надсознание» не имеет указаний на наличие границ, основными параметрами надсознания как пространства становятся большой размер / объем: «...такие процессы по содержанию и временным масштабам **«крупнее всего того, что может вместить сознание»** [Там же].

Высшей ступенью иерархически организованной структуры психики человека является апперцепция. Апперцепция представляет собой **«сознание высшей степени ясности»** [23. С. 517]. Это состояние возникает у человека относительно редко и, как правило, по продолжительности является недолгим. Апперцепция характеризуется высокой степенью концентрации внимания человека на том, что происходит с ним и в его окружении, а также глубоким уровнем осознания происходящего. В этом состоянии человек способен принимать наиболее разумные решения, полностью контролируя связанные с ним события. Как отмечают психологи, «апперцепция – это состояние сознания, в котором человек может находиться лишь в те моменты или эпизоды своей жизни, когда он полностью здоров, бодр, спокоен, положительно эмоционально настроен и очень заинтересован (мотивирован) чем-либо» [Там же]. Метафорическое моделирование апперцепции осуществляется на основе вертикального параметра. С одной стороны, апперцепция как пространственный локус расположен наверху: **«...апперцепция представляет собой самую высокую точку, в которой по уровню развития может временно оказаться сознание человека»** [Там же]. С другой стороны, в состоянии апперцепции с вертикальным пространством низа связана степень осознания человека: **«...они понимали под апперцепцией наиболее яркое, отчетливое состояние сознания человека при котором он лучше всего воспринимает и глубже всего понимает то, что происходит с ним и вокруг него»** [Там же].

Метафорически ниже уровня сознания расположено подсознание (или полусознание), что зафиксировано в семантике префикса «под»: **«...употребляется при образовании существительных и прилагательных со значением «расположенный, находящийся ниже поверхности чего-либо, под чем-либо, например подzemелье, подводный, подкожный»** [27. С. 172]. Данное состояние также характеризуется способностью воспринимать реальность, однако в этом случае человек оказывается не способным нормально реагировать на происходящее. Для подсознания, или полусознания, характерно отсутствие волевого контроля и возможности адекватно реагировать на ситуацию [23. С. 516]. К примеру, когда человек спит, он может воспринимать речь и отвечать на задаваемые ему вопросы, однако данная речь, как правило, характеризуется несвязанностью, неясностью и нелогичностью.

Моделирование подсознания в виде пространства, находящегося ниже уровня сознания, также присутствует в метафорических терминах и связано с актуализацией границы, отделяющей данное состояние от других: **«...подпороговое воздействие – это использование убеждающих тактик, реализуемых на уровне ниже порога сознания»** [25. С. 588] и др.

К моделированию подсознания в виде пространства также относится его определение в виде пространства, соединяющего другие: **«...примерами таких состояний являются известные каждому человеку моменты в жизни,**

когда он **находится в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием, засыпает или просыпается**» [23. С. 516]. В то же время подсознание моделируется как открытое пространство: «...**подсознательное – те представления, желания, действия, устремления, которые ушли сейчас из сознания, но могут потом прийти в него**» [23. С. 543].

Итак, исходя из вертикальной модели психики, мы можем интерпретировать изменения психических состояний как переход психических процессов из зоны подсознания в сознание, надсознание и в отдельных случаях определять возможность человека находиться в состоянии наиболее ясного осознания действительности как перемещение в пространство апперцепции. Однако начиная с XVIII в. ученые задавались вопросом, как интерпретировать неосознанные психические процессы человека, в какой части психики они находятся. Не укладываясь в общую систему ее структуры, данные явления были обозначены как *оно*, «бессознательное» и определены как отдельная область, необходимая для изучения [23. С. 530]. Не случайно в научном психологическом дискурсе происходит уподобление бессознательного пространству, которое находится за пределами сознания. Данные определения встречаются как в текстовых, так и в терминологических метафорах: «...**бессознательное – содержание психики или формы поведения человека, которые он не контролирует, не осознает или же они находятся вне сферы его актуального сознания в данный момент**» [23. С. 541], «...**бессознательное дескриптивное – бессознательное, которое описывается как нечто, находящееся вне сознания человека**» [Там же].

В то же время бессознательное не менее значимо, так как представляет собой «совокупность явлений, описываемых в психологических терминах, оказывающих примерно такое же влияние на поведение человека, как и осознаваемые психические явления, но фактически (актуально) не представленных в сознании или вообще никогда им не осознаваемых» [23. С. 529]. В литературе выделяются следующие базовые признаки «бессознательного», необходимые для его понимания: 1) бессознательные психические процессы не представлены человеку в виде ощущений, переживаний, мыслей, образов, которые включаются в структуру сознания; 2) человек не может определить наличие или отсутствие бессознательных явлений в настоящий момент; 3) человек не может контролировать бессознательные психические процессы и транслировать их другим [Там же].

Как и сознание, бессознательное моделируется как пространственная структура. Можно говорить об областях бессознательного, например о двух локусах в сфере бессознательного: собственно бессознательное – бессознательные психические явления, которые не могут быть осознаны человеком ни при каких обстоятельствах. Например, информация, заложенная в нашей генетической памяти или информация, связанная с детской, подростковой травмой, оказавшая сильное влияние на сознание ребенка и вынесенная за пределы его памяти.

Как уже было отмечено выше, содержанием бессознательного могут быть образы, мысли, воспоминания, связанные с негативными событиями в жизни человека. В результате того, что процесс осознания негативной информации о том, что было, оказывается очень травматичным для психики человека, па-

мать о данных событиях автоматически переходит из сознания в наше бессознательное и содержится там. Данный процесс З. Фрейд связывал с учением о «вытеснении», согласно которому происходит автоматический перевод неприемлемой для сознания информации на уровень бессознательного. В связи с этим метафорическое моделирование данного содержания бессознательного осуществляется в виде объекта, который переместили и в виде объекта, на который оказывается давление, из-за чего он меняет пространственную локализацию: «...личное бессознательное напрямую связано с индивидуальным прижизненным опытом человека и представляет собой **подавленные, вытесненные** или забытые **переживания**» [23. С. 542]; «...в связи с этим Фрейд признает существование двух видов бессознательного: **скрытого, но способного стать сознательным, и вытесненного, которое само по себе не в состоянии стать осознаваемым**» [23. С. 531]; «...вытеснение – вытеснение в данном случае означает **непроизвольное удаление из сознания...**» [23. С. 542].

Итак, в то же время бессознательное содержит информацию, которая в настоящий момент не осознается, но может быть осознана в дальнейшем в результате рефлексии или благодаря стечению обстоятельств. К примеру, при решении математического примера ответ удастся сформулировать не сразу, однако человек интуитивно заведомо предугадывает, как его следует решать и какой ответ он получит. Данный уровень сознания терминологически обозначается как **предсознательное**, через которое содержание бессознательного переходит в состояние сознания.

Метафорическое моделирование предсознательного связано с его представлением в виде горизонтального пространства, ориентированного перед сознанием, предшествующим ему. На это указывает этимологическое толкование префикса «пред»: «...употребляется при образовании существительных и обозначает впереди чего-либо, например **предбанник, предгорье, преддверие, предсердие**» [28. С. 361]. В пространственной модели психики предсознательное находится между бессознательным и сознанием: «...предсознание – понятие, употребляемое для обозначения особого психологического состояния человека, **занимающего промежуточное положение между сознанием и бессознательным**» [23. С. 544], но все же ближе к сознанию, нежели к бессознательному: «...наконец, среди неосознаваемого человеком есть то, что уже располагается как бы **«на пороге сознания»**, и само по себе, спустя некоторое время, без особых усилий со стороны человека может стать осознаваемым» [23. С. 533].

Горизонтальный параметр пространства задействован при концептуализации бессознательного и в аспекте протяженности внутреннего пространства – глубины. Для работы с бессознательным психологи часто используют методики, направленные на блокирование работы сознания. Это становится необходимым, например, в связи с потребностью понять, что было с человеком в тот или иной момент жизни, для восстановления событийного ряда. Таким приемом в психологии является гипноз в различных вариантах его названия, основной принцип которого связан с ситуацией погружения человека в сон, в результате которого воля пациента полностью отдается во власть врача. Гипноз в этом случае рассматривается как ключ к бессознательному, и

в определенном смысле состояние гипнотического транса идентифицируется с бессознательным. Анализ дефиниций гипноза как психологического метода показал, что бессознательное метафорически моделируется на основании представлений о «глубине»: «...декапсуляция Чолакова – один из катарсических методов, созданный болгарским психиатром Чолаковым. Словесным методом его вводят в гипноз умеренной глубины (пока возможен контакт с психотерапевтом)» [26. С. 130].

В отличие от «глубины понимания», возникающей в состоянии апперцепции, «глубина гипноза», осуществляемая при работе с бессознательным, связана с диаметрально противоположным осмыслением. Состояние апперцепции предполагает высшую степень осознания человеком происходящего, точность восприятия, активность памяти и мозговой деятельности, помогающей ему решать самые сложные вопросы и принимать решения. В этом случае параметр «глубина» понимается как предельная возможность продвижения внутрь чего-либо и, соответственно, познания этого внутреннего пространства. По определению, бессознательное человека характеризуется отсутствием сознания, памяти и силы воли [23. С. 529], бессознательное слабопознаваемо, и «глубина» бессознательного – это вертикальная протяженность и объем внутреннего непознаваемого пространства. Границей, за которой начинается это пространство, является «порог сознания», степень удаления от этого сознания и определяется как глубина.

Подобная пространственная модель подкрепляется и непространственными метафорами. Еще один параметр, на основании которого моделируется кардинальное различие двух областей психики, – визуальное восприятие пространства, степень его освещенности. Так, аналогия между апперцепцией и пространством верха оказывается возможной благодаря актуализации параметра «ясность»: «...апперцепцией называют состояние сознания высшей степени **ясности**» [23. С. 517]. Слово «ясный» означает: «1. Яркий, сияющий, светлый. *Я-ое солнце. Я-ая заря.* 2. Ничем не затемнённый, безоблачный, не пасмурный. *Я-ая погода. Я. день. Небо ясно.* // Прозрачный (о воздухе). *Воздух был чист и ясен.* 3. Ничем не омрачённый, спокойный, чистый; исполненный прямоты, искренности. *Я. взор, взгляд. Я-ые глаза.* 4. Хорошо видимый, слышимый, осязаемый, воспринимаемый; отчётливый. *Я-ая дикция. Я. почерк. Я-ые очертания дома. Я-ые следы. Я. звук.* // Понятный, простой, не требующий толкований, разъяснений. *Я-ая речь. Вопрос ясен.* // Определённый, точный; осознанный. *Я-ая цель. Я-ые перспективы. Я. расчёт*» [28]. Аналогия процессов познания, понимания происходящего и хорошего видения фиксируется в языковой метафоре (см., например, зн. 4). Бинарная модель «познание – свет, отсутствие познания – тьма» является регулярной для русской языковой картины мира и воплощается в целом ряде идиом (*темный человек*), пословицах (*Ученье – свет, неученье – тьма*). Названная аналогия является базовой гносеологической метафорой языка науки: «...научное познание тесно связывается с визуальной информацией, так как именно она представляется наиболее объективной и достоверной» [11. С. 137]. В отличие от других видов животных человек слабо видит в отсутствие дневного освещения, в темное время суток, и поэтому возможность исследовать мир для него существует только при наличии хорошего освещения.

Свет выступает в качестве необходимого условия познания, и поэтому процесс познания, его этапы ассоциируются с процессом освещения. Отсутствие же света прочно связывается с недостаточностью или невозможностью познания: «*Навсегда **темными остаются** для нас те **особенности** нашей душевной жизни, которых мы не выразим никакими средствами и которых не увидим ни в ком, кроме себя*» [29. С. 96].

В научном психологическом дискурсе она также является не случайной. Метафора «познание - свет» в психологии реализуется последовательно и связана с представлением психологических состояний понимания: «...*кларификация – означает **просветление, прояснение**...*» [26. С. 184]; «*кларификационное замечание – особое высказывание психотерапевта, повторяющее то, что сказал пациент, в более **ясных терминах***» [Там же]; «...*отражение чувства (reflection of feeling) – методика, состоящая в том, что психотерапевт повторяет то, что сказал пациент, таким образом, чтобы **высветить** не столько интеллектуальное, сколько **эмоциональное значение сказанного***» [Там же] и др. Описываемая модель позволяет не только представить специфику организации психики как пространственную модель, но и охарактеризовать представляемые области с точки зрения возможности познания, рефлексии: сознание – это всегда освещенное пространство, бессознательное связано с отсутствием света, темнотой. Для представления состояний, связанных с отсутствием точного восприятия реальности, привлекаются образы затрудненного визуального восприятия: «...*иногда в этом случае используются термины, характеризующие динамические, промежуточные состояния сознания человека: **замутненное сознание**...*» [23. С. 509]; «...*предсознание характеризуется наличием **смутного, неясного и неточного знания, приблизительного представления о происходящем**...*» [23. С. 544]. Таким образом, отсутствие необходимого уровня рефлексии метафорически связано с образами непрозрачного вещества, характеризующегося плохой видимостью. Отсутствие мыслей, образов, ощущений, которые человек не может определить, находясь в состоянии предсознания, метафорически уподобляется спрятанному, невидимому содержанию: «...*в связи с этим Фрейд признает существование двух видов бессознательного: **скрытого, но способного стать сознательным**...*» [23. С. 531].

Итак, можно говорить о том, что привлечение различных моделей пространственной метафоры позволяет визуализировать представления об устройстве психики человека. Различие психических состояний по возможности рефлексии моделируется посредством двухпространственной модели, в которой оба пространства взаимосвязаны, но значительно отличаются друг от друга. Сознание представлено как визуально воспринимаемое, иерархически организованное пространство. Оно включает несколько уровней, верхний из которых (и здесь мы можем говорить о базовом архетипе «верх – низ») представляет собой наиболее эффективное в аспекте рефлексии состояние. Нижний уровень – подсознание – зона ослабленной рефлексивности. Она граничит с областью бессознательного – предсознательным, и между ними нет жесткой границы. Пространство бессознательного связано с отсутствием рефлексии и поэтому моделируется на основе представлений о слабо воспринимаемом визуально и слабоструктурированном пространстве. Полагаем, что

наиболее точной для представления является модель вертикально организованного пространства, где точкой отсчета, центром является поверхность земли. Сознание расположено на том же уровне, где в физическом пространстве обычно находится тело человека. Выше расположены верхние уровни сознания. Ниже – бессознательное.

Однако кроме пространственных метафор для формирования представлений о психическом мире активно привлекаются модели онтологического типа.

Онтологическая метафора в представлении психики.

Онтологические метафоры представляют абстрактные сущности, обладающие физическим бытованием, формой, размером и т.п. Данный тип метафорических моделей формируется на основе физического опыта оперирования материальными объектами. Ключевыми моделями этого типа являются вещественная, объектная и персонифицирующая метафоры. На языковом уровне объект и вещество различаются как в поверхностной семантике, так и в глубинной (отсутствие форм множественного числа в парадигме слов со значением «вещества»). Подобные модели позволяют передать информацию о «консистенции» сущности, степени ее определенности, наличии / отсутствии «границ» и способов манипулирования ею [30. С. 347]. Онтологическая метафора «нечто – вещество» позволяет акцентировать внимание на свойствах, противопоставляющих вещество объекту, на отсутствии четкой формы и недискретной природы. Чаще всего в качестве исходной понятийной сферы для метафорической концептуализации психики выступает представление о жидком веществе. Вероятно, основанием такого выбора служат вполне определенные свойства веществ/жидкостей, позволяющие смоделировать такие характеристики описываемых объектов, как: 1) наличие некоторого общего доминантного свойства, позволяющего говорить о единстве данного вещества (например, жидкость); 2) способность быть целостностью, с одной стороны, а с другой – возможность подвергаться любым трансформациям и даже делиться на части без утраты свойств; 3) способность растворять, переводить на другой уровень существования твердые вещества; 4) способность осуществлять самостоятельное движение без участия человека [11. С. 146]. Анализ показывает, что и сознание, и бессознательное моделируются на основе представлений о жидкости: *поток сознания, глубины бессознательного*. Однако следует отметить, что представление в виде жидкости характерно для состояний психики, не связанных с рациональным мышлением: «...в общем случае *поток сознания* – это непрерывная, хаотичная и неорганизованная смена следующих друг за другом явлений в сознании человека: образов, мыслей, ощущений, чувств и т.п., происходящая без видимых на то причин, спонтанно, без определенной логики и последовательности» [23. С. 518]. Бессознательное же структурируется в виде вещества смешанного, состоящего из разных элементов: «...в бессознательном пласте психики невозможны произвольный целенаправленный контроль... Прошое, настоящее и будущее в нем часто *слиты* воедино...» [24. С. 277]. Данная аналогия становится возможной вследствие дисфункции сознания и памяти человека на бессознательном уровне, его неспособности актуализировать ту или иную информацию, связанную с ним в определенный период жизни.

Спектр абстрактных сущностей, моделируемых на основе онтологической метафоры «нечто – объект», необычайно широк в различных дискурсах. Психологический дискурс не составляет исключения. В виде объекта моделируется, как правило, сознание. Оно может быть представлено как объект с неопределенным спектром свойств, известными из которых может быть только одно, например возможность утратить его: «...*утверждают также, что в результате тяжелой травмы или заболевания человек может на время **терять сознание, а когда выздоровеет и придет в себя – вновь обретет его***» [23. С. 509].

Опора на эту метафорическую модель наблюдается и в области терминологии. Синонимическое наименование состояния подсознания – полусознание. Первая часть сложных слов, образованных посредством корня «полу», этимологически связана с вербальным выражением отсутствия целостности. Значение частицы «полу» можно определить как «половина от возможного целого» [27. С. 270]. Половина – это одна из двух равных частей какого-либо объекта, так как определить равенство возможно только при наличии стабильного размера. Таким образом, присоединение этой частицы возможно только в случае, если сущность осмысляется как объект. Синонимичный термин «полусознание» связан с передачей неполноты содержания сознательной деятельности человека, выраженной в отсутствии контроля, воли и других ранее указанных нами признаков.

На основании объектной метафоры зачастую формируется структурная – связанная с более детальным определением спектра свойств объектов. В частности, сознание моделируется в виде устройства, нормальное состояние которого – быть «включенным», однако оно может быть выключенным кем-либо или отключиться самостоятельно: «...*бессознание... предполагается, что сознание человека в данный момент... временно отключено*» [23. С. 541]; «...*гипноз – в традиционном, классическом понимании – особое состояние психики человека, характеризующееся **временным отключением его воли или сознания***...» [23. С. 543].

Понятийная сфера человек задействована в структурировании представления об абстрактных сущностях научного дискурса, но можно говорить об избирательном отношении дискурса к данной сфере. Персонифицирующая интерпретация психических процессов и состояний в научном психологическом дискурсе формирует представление о них как о субъекте, совершающем физические, психические и социальные действия. В частности, психический процесс интерпретируется как переход из одного пространства в другое: «...*из них содержание бессознательного непосредственно переходит в содержание сознания*» [23. С. 533]. Сознание, в отличие от бессознательного, может появиться или исчезнуть: «...*в этом случае говорят, например, что сознание человека... вновь появляется, когда он просыпается*» [23. С. 509]; «...*предполагается, что сознание человека в данный момент полностью отсутствует*...» [23. С. 541]. Можно говорить о достаточно яркой модели интерпретации психических процессов в аспекте социальных взаимоотношений: сознательное и бессознательное осмысляются как субъекты, находящиеся в ситуации конфликта. До сих пор для ученых остается открытым вопрос, каким образом наше бессознательное оказывает воздействие на нашу созна-

тельную часть. Ответ на него до сих пор не найден, однако наличие активных бессознательных психических процессов, оказывающих влияние на сознание людей, уже доказано. Так, к примеру, интуитивное мышление, или интуитивная догадка решения какой-либо задачи не могут быть логически представлена или формально обоснованы, информация содержится на глубинных уровнях, не поддающихся рациональному объяснению. В связи с этим не случайной оказывается возможность метафорического моделирования бессознательного в виде нечто, способного быть основным, доминантным: «...**коллективное бессознательное способно доминировать над личным бессознательным...**» [Там же]. Сознание же, в свою очередь, стремится контролировать все процессы, в том числе и бессознательные. Стремление к доминированию ведет к психическим коллапсам, требующим особых методик коррекции: «...**конфронтационный метод Гарнера – метод Гарнера фиксируется на конфликте между осознанным или неосознанным желанием больного достигнуть какой-то цели и стремлением уйти от нее**» [26. С. 216].

Таким образом, онтологические метафорические модели привлекаются для определения параметров исследуемых объектов, актуализируя их различие. Область бессознательного и близкие к нему интерпретируются на основе представлений о веществе – жидкости. Для моделирования психических процессов, протекающих в сознании, привлекаются представления об объектах, даже об объектах-устройствах. Персонифицирующая метафора интерпретирует соотношение психических процессов в разных областях как ситуацию конфликта между субъектами.

Способность человека хранить в памяти значительные объемы информации в течение долгого времени и рефлексировать – базовые составляющие, отличающие человека от других живых существ. Ответ на вопрос о том, каким образом организована психика человека, пока не получен. Психология представляет свои модели организации психической деятельности человека, формируемые на основе механизмов лингвокогнитивного моделирования. Метафорическое моделирование структуры психической деятельности человека позволяет наглядно представить процессы, происходящие в нашей психике, а также дает возможность понять сложность и неоднозначность организации психического мира.

В ходе анализа было выявлено, что метафорическое моделирование функционирования психики человека осуществляется в виде различных типов пространств и на основе различных пространственных параметров. Сознание представлено в виде горизонтального открытого пространства с возможностью перемещения по нему. В связи с тем, что сознание представляет собой привычное существование человека и находится в центре системы, его пространственное расположение метафорически обозначается как нормальное расположение человека в физическом пространстве.

Отличие состояний сознания от других возможных состояний психики символически передано в виде границы пространства – порога. Возможность изменения данного состояния, трансформация в нечто иное связана с метафорическим представлением сознания в виде пространства, соединенного с другими уровнями переходными зонами. При этом актуализируется возмож-

ность вертикального и горизонтального перехода, и здесь мы можем наблюдать следующие особенности. В случае если речь идет о состоянии апперцепции, степень понимания, осознанности действительности усиливается, это состояние интерпретируется как переход в более освещенное, хорошо видимое пространство. Смещение психических процессов в область бессознательного осмысливается как переход в пространство, находящееся ниже уровня сознания – в подсознание, бессознательное и связано с ситуацией, затрудняющей визуализацию. Данная аналогия становится возможной благодаря отсутствию определенного уровня рефлексии и контроля, необходимого для сознательной деятельности.

При этом не все состояния, метафорически соотносимые с пространством, имеют четко отмеченные границы: как показал анализ, наличие границы мы встречаем только в ситуации моделирования сознания, предсознания и подсознания. Отсутствие границы пространств-состояний (апперцепция, бессознательное), находящихся выше или ниже обычного уровня (сознания), связано с пониманием их аномальности. Так, к примеру, можно соотнести состояние апперцепции и пространство неба или космоса. Все виды этих пространств являются недостижимыми для человека в его привычном существовании, в соответствии с чем ограничивать его не имеет смысла.

Метафорическое моделирование структур психики в виде субъекта связано с метафоризацией состояния сознания и бессознательного на основе выполняемой субъектом социальной функции. В теории личности Фрейда данные уровни психики противопоставлены друг другу, интерпретируются как антагонисты, что воплощается в текстовых метафорах, относящихся к области конфликтных социальных взаимодействий.

Для моделирования состояния сознания в виде субъекта привлекаются образы физических действий, связанных с ситуацией перемещения. К такому относятся глаголы *перейти, отсутствовать, появиться* и др. С метафорическим представлением сознания в виде социального субъекта связаны осуществляемые им функции, в частности возможность контролировать. Таким образом, в метафорическом образе социально активного субъекта формируется представление о контроле, которое осуществляет наше сознание по отношению к тому, что происходит с нами и вокруг нас.

Литература

1. *Плисецкая А.Д.* Метафора как когнитивная модель в лингвистическом научном дискурсе: образная форма рациональности // Текст доклада на конференции «Когнитивное моделирование в лингвистике», Варна, 1–7 сентября 2003 г. [Электронные данные]. URL: <http://virtualcoglab.cs.msu.su/html/Plisetskaya.html>
2. *Гусев С.С.* Наука и метафора. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984.
3. *Петров В.В.* Метафора: от семантических представлений к когнитивному анализу // Вopr. языкознания. 1990. № 3. С. 135–146.
4. *Петров В.В.* От философии языка к философии сознания: (Новые тенденции и их истоки) // Философия, логика, язык. М., 1987. С. 3–17.
5. *Петров В.В.* Научные метафоры: природа и механизм функционирования // Философские основания научной теории. Новосибирск, 1985. С. 196–220.
6. *Суровцев В.А., Сыров В.Н.* Метафора, нарратив и языковая игра: Еще раз о роли метафоры в научном познании // Методология науки: Становление современной научной рациональности. Томск, 1998. Вып. 3. С. 186–197.

7. Суровцев В.А., Сыров В.Н. Языковая игра и роль метафоры в научном познании // Philosophy.ru Философский портал [Электронные данные]. М., 2000. URL: <http://www.philosophy.ru/library/surovtsev/syrov.html>
8. Алексеев К.И. Метафора в научном дискурсе // Психологические исследования дискурса. М., 2002. С. 40–50.
9. Деева А.И. Содержательная структура метафорического фрагмента нефтегазовой терминологической системы русского языка // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 385. С. 9–15.
10. Мишанкина Н.А. Ментальное пространство научного текста: метафорические модели // Вестн. Том. гос. ун-та. 2007. № 297. С. 7–11.
11. Мишанкина Н.А. Метафора в науке: парадокс или норма. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010.
12. Овсянникова В.В. Антропоморфные метафоры в геологическом дискурсе // Язык и культура. 2010. № 1. С. 48–57.
13. Резанова З.И. Пространственные метафоры в лингвистическом тексте // Картины русского мира: пространственные модели в языке и тексте. Томск, 2007. С. 326–357.
14. Резанова З.И. Метафора в лингвистическом тексте: типы функционирования // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2007. № 1. С. 18–29.
15. Бочавер А.А. Метафора как способ внутренней репрезентации жизненного пути личности: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2010.
16. Юрченко И.В. Специфика построения метафор в психологическом консультировании // Учен. зап.: электрон. науч. журн. Кур. гос. ун-та. 2012. № 4 (24), т. 1.
17. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М.: Изд-во МГУ, 1982.
18. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1993.
19. Кандаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов / под ред. С.Г. Бархударова, В.П. Даниленко. М.: Наука, 1977.
20. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.
21. Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое // Метафора в языке и тексте / отв. ред. В.Н. Телия. М., 1988.
22. Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем; пер. с англ. / под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004.
23. Немов Р.С. Общая психология: в 3 т. Т. I: Введение в психологию: учеб. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 726 с. (Магистр).
24. Руденко А.М. Психология: учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2012.
25. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / под ред. Корсини, А. Ауэрбаха. СПб.: Питер, 2006. 1096 с.
26. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. СПб.: ЗАО «Изд-во «Питер», 1999. 752 с.
27. Словарь русского языка: в 4 т. Т. 3 / РАН. Ин-т лингвистических исследований; под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.: Полиграфресурсы, 1999.
28. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998.
29. Потебня А.А. Мысль и язык. Киев, 1993.
30. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. М., 1997. С. 340–369.

METAPHORICAL MODELING OF HUMAN PSYCHE STRUCTURE IN SCIENTIFIC PSYCHOLOGICAL DISCOURSE.

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 57–72. DOI 10.17223/19986645/35/6
 Mishankina Natalya A., Rahimova Anastasia R., Tomsk Polytechnic University, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: mishankina@ido.tsu.ru / n1999@rambler.ru / nas-tena.rahimova@mail.ru

Keywords: metaphorical modeling, conceptual metaphor, text metaphor metaphorical term, psyche, apperception, superconsciousness, consciousness, subconsciousness (semi-consciousness), preconsciousness, unconsciousness.

Study of cognitive aspects of language activity has actualized the problem of epistemological mechanisms reflection in the language of science. The object of psychology research is the area that has no substantive correlation with the outside world – the structure and content of the mental proc-

esses. Semantics of a psychological term is modeled on the basis of metaphorical mechanisms. In this case metaphor is understood as a cognitive process associated with the knowledge of the world and forming knowledge through the analogy between the new and the known phenomenon (the theory of conceptual metaphor). This method of forming knowledge about the psychic world uses naive thinking, revealing the epistemological function of metaphor.

The aim of the article is to find metaphorical models defining the ways to represent the structure of person's mental organization.

Material for the study was found in academic and encyclopedic publications which represent the proven information about organization of the human psyche.

The use of the spatial metaphor has allowed to visualize ideas about the organization of psyche. The difference of mental states according to its reflection possibility is modeled on the basis of two spaces model (consciousness – unconscious), in which both spaces correlate, but differ significantly from each other. Consciousness is presented like a visually perceived hierarchical space: it includes several levels, the top level is the most efficient state in terms of reflection. The lowest level – the subconscious – is the weakened area of reflexivity; it borders with the unconscious – the preconscious, there are no rigid boundaries between them. The space of the unconscious is associated with a lack of reflection and, therefore, modeled on the basis of representations of a semi-structured and badly perceived visual space.

The difference between states of consciousness from other possible states of psyche is marked as the boundary – the threshold. The transformation of the state into something else is connected with the metaphorical representation of consciousness in the form of space, connected with other levels of transition zones. The lack of a border of spaces-states (apperception, unconscious) which are above or below the normal level (of consciousness) is connected with the understanding of its anomalies.

Ontological metaphorical models are investigated to determine the parameters of the objects that actualize the difference between them. The unconscious and areas close to it are interpreted on the basis of ideas about a matter – the liquid. The representations of objects, objects as a device, are used for the modeling of mental processes in consciousness. Personifying metaphor interprets the ratio of mental processes in different areas as a situation of conflict between persons.

Metaphorical modeling of the structure of human mental activity has allowed to visualize the processes of our psyche, and also has provided an opportunity to understand the complexity and ambiguity in the organization of the human mental world.

References

1. Plisetskaya A.D. [Metaphor as a cognitive model in the linguistic scientific discourse: figurative form of rationality]. *Tekst doklada na konferentsii "Kognitivnoe modelirovanie v lingvistike"* [Report at the conference "Cognitive modeling in linguistics"]. Varna, 2003. Available from: <http://virtualcoglab.cs.msu.su/html/Plisetskaya.html>. (In Russian).
2. Gusev S.S. *Nauka i metafora* [Science and metaphor]. Leningrad: Leningrad State University Publ., 1984. 151 p.
3. Petrov V.V. Metafora: ot semanticheskikh predstavleniy k kognitivnomu analizu [Metaphor: from semantic representations to cognitive analysis]. *Voprosy yazykoznaniya*, 1990, no. 3, pp. 135–146.
4. Petrov V.V. *Ot filosofii yazyka k filosofii soznaniya (Novye tendentsii i ikh istoki)* [From philosophy of language to philosophy of consciousness (New trends and their origin)]. In: Gorskiy D.P., Petrov V.V. (eds.) *Filosofiya, logika, yazyk* [Philosophy, logic, language]. Moscow: Progress Publ., 1987, pp. 3–17.
5. Petrov V.V. *Nauchnye metafory: priroda i mekhanizm funktsionirovaniya* [Scientific metaphors: nature and functioning mechanism]. In: Tselishchev V.V., Karpovich V.N. (eds.) *Filosofskie osnovaniya nauchnoy teorii* [Philosophical foundations of scientific theory]. Novosibirsk: Nauka Publ., 1985, pp. 196–220.
6. Surovtsev V.A., Syrov V.N. *Metafora, narrativ i yazykovaya igra. Eshche raz o roli metafory v nauchnom poznanii* [Metaphor, narrative and language game. On the role of metaphor in scientific knowledge. Revisited]. In: *Metodologiya nauki. Stanovlenie sovremennoy nauchnoy ratsional'nosti* [The formation of modern scientific rationality]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 1998. Is. 3, pp. 186–197.
7. Surovtsev V.A., Syrov V.N. *Yazykovaya igra i rol' metafory v nauchnom poznanii* [Language game and the role of metaphor in scientific knowledge]. Moscow, 2000. Available from: <http://www.philosophy.ru/library/surovtsev/syrov.html>.

8. Alekseev K.I. *Metafora v nauchnom diskurse* [The metaphor in scientific discourse]. In: Pavlova N.D. (ed.) *Psikhologicheskie issledovaniya diskursa* [Psychological research of discourse]. Moscow: PERSE Publ., 2002, pp. 40–50.
9. Deeva A.I. Content-related structure of the metaphorical fragment of oil and gas terminological system of the Russian language. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*, 2014, no. 385, pp. 9–15. (In Russian).
10. Mishankina N.A. Mental'noe prostranstvo nauchnogo teksta: metaforicheskie modeli [The mental space of scientific text: metaphorical models]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*, 2007, no. 297, pp. 7–11.
11. Mishankina N.A. *Metafora v nauke: paradoks ili norma?* [Metaphor in Science: Paradox or Norm?]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2010. 282 p.
12. Ovsyannikova V.V. Antropomorfnye metafor y v geologicheskoy diskurse [Anthropomorphic metaphors in geological discourse]. *Yazyk i kul'tura – Language and Culture*, 2010, no. 1, pp. 48–57.
13. Rezanova Z.I. *Prostranstvennye metafor y v lingvisticheskom tekste* [Space metaphors in the linguistic text]. In: Rezanova Z.I. (ed.) *Kartiny russkogo mira: prostranstvennye modeli v yazyke i tekste* [Pictures of the Russian world: space patterns in language and text]. Tomsk: UFO-Plus Publ., 2007, pp. 326–357.
14. Rezanova Z.I. Metafora v lingvisticheskom tekste: tipy funktsionirovaniya [Metaphor in the linguistic text: types of functions]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*, 2007, no. 1, pp. 18–29.
15. Bochaver A.A. *Metafora kak sposob vnutrenney reprezentatsii zhiznennogo puti lichnosti: avtoref. dis. k. psikh. nauk* [Metaphor as a way of internal representation of the individual's way of life. Abstract of Psychology Cand. Diss.]. Moscow, 2010.
16. Yurchenko I.V. Spetsifika postroeniya metafor v psikhologicheskoy konsul'tirovani [Specifics of metaphor design in psychological counseling]. *Uchenye zapiski: elektronnyy nauchnyy zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta – Scientific Notes: The online academic journal of Kursk State University*, 2012, no. 4 (24), v. 1.
17. Velichkovskiy B.M. *Sovremennaya kognitivnaya psikhologiya* [Modern cognitive psychology]. Moscow: Moscow State University Publ., 1982. 336 p.
18. Kozhina M.N. *Stilistika russkogo yazyka* [The stylistics of the Russian language]. Moscow: Prosveshchenie Publ., 1993. 224 p.
19. Kandelaki T.L. *Semantika i motivirovannost' terminov* [Semantics and motivation of terms]. Moscow: Nauka Publ., 1977. 167 p.
20. Arutyunova N.D. *Yazyk i mir cheloveka* [Language and the world of man]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ., 1999. 896 p.
21. Gak V.G. *Metafora: universal'noe i spetsificheskoe* [Metaphor: the universal and the specific]. In: Teliya V.N. (ed.) *Metafora v yazyke i tekste* [Metaphor in language and text]. Moscow: Nauka Publ., 1988, pp. 11–25.
22. Lakoff G., Johnson M. *Metafor y, kotorymi my zhivem* [Metaphors we live by]. Translated from English. Moscow: Editorial URSS Publ., 2004. 256 p.
23. Nemov R.S. *Obshchaya psikhologiya v 3 t.* [General psychology in 3 v.]. 6th edition. Moscow: Yurayt Publ., 2011. V. 1, 726 p.
24. Rudenko A.M. *Psikhologiya* [Psychology]. Rostov-on-Don: Feniks Publ., 2012. 556 p.
25. Korsini R., Auerbakh A. (eds.) *Psikhologicheskaya entsiklopediya* [Psychological Encyclopedia]. 2nd edition. St. Petersburg: Piter Publ., 2006. 1096 p.
26. Karvasarskiy B.D. *Psikhoterapevticheskaya entsiklopediya* [Psychotherapeutic Encyclopedia]. St. Petersburg: Piter Publ., 1999. 752 p.
27. Evgen'eva A.P. (ed.) *Slovar' russkogo yazyka: v 4-kh t.* [Dictionary of the Russian language: in 4 v.]. 4th edition. Moscow: Russkiy yazyk Publ., Poligrafresursy Publ., 1987. V. 3, 750 p.
28. Kuznetsov S.A. (ed.) *Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [The Great Explanatory Dictionary of the Russian language]. St. Petersburg: Norint Publ., 1998. 1536 p.
29. Potebnya A.A. *Mysl' i yazyk* [Thought and Language]. Kiev: SINTO Publ., 1993. 189 p.
30. Chenki A. *Semantika v kognitivnoy lingvistike* [Semantics in cognitive linguistics]. In: Kobozeva I.M., Sekerina I.A. (eds.) *Fundamental'nye napravleniya sovremennoy amerikanskoy lingvistiki* [Fundamental Directions of modern American linguistics]. Moscow: Moscow State University Publ., 1997, pp. 340–369.

УДК 81'371

DOI 10.17223/19986645/35/7

Е.В. Рахилина

СТИЛИСТИЧЕСКИ МАРКИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: *СОВАТЬ* – *СУНУТЬ*

В статье подробно рассматриваются глаголы русского языка «совать – сунуть» и их производные (словообразовательные и семантические). Автор исследует, «вычислима» ли особенная стилистика глагола «сунуть» из его семантики, в какой степени стилистические особенности этого глагола наследуются в процессе его словообразования, воспроизводится ли стилистика исходного «сунуть» при семантическом сдвиге, теряется ли, взаимодействуя с другими элементами новой конструкции.

Ключевые слова: лексическая семантика, русский язык, стилистика, семантическая мотивированность, словообразование, приставки, глаголы каузации перемещения и помещения объекта.

1. Постановка задачи

В настоящей статье мы подробно рассмотрим один очень яркий в стилистическом отношении глагол русского языка, а именно глагол *совать* ~ *сунуть*. Это достаточно частотный глагол (в версии Национального корпуса русского языка объемом 150 млн словоупотреблений, он встретился примерно 9 тысяч раз), имеющий, согласно словарным описаниям, несколько производных значений, а также несколько продуктивных приставочных дериватов и один суффиксальный (*сунуться*). В отношении этого глагола и его производных (словообразовательных и семантических) нас будет интересовать:

(1) «Вычислима» ли особенная стилистика *сунуть* из его семантики?

(2) В какой степени стилистические особенности этого глагола наследуются в процессе его словообразования?

(3) Влияет ли стилистика исходного *сунуть* на его дальнейшее семантическое развитие, т.е. воспроизводится ли она при семантическом сдвиге, теряется ли, взаимодействуя с другими элементами новой конструкции?

Каждому из этих вопросов в статье будет посвящен свой раздел (3–5), а в предваряющих их Вводных замечаниях (2) семантика *сунуть* будет проанализирована на фоне других глаголов, в том числе других представителей того же таксономического класса. В заключительном разделе (6) мы подведем итоги нашего анализа.

2. Вводные замечания. Семантика *сунуть*: параллели

Русское *совать* ~ *сунуть* является представителем особого таксономического класса глаголов со значением каузации перемещения объекта. Специфика этого класса в том, что это глаголы перемещения руками: в начале своего перемещения объект находится у человека в руках, а его конечную локализацию (т.е. то место, куда этот объект переместили) определяет специфика данного предиката. Таким образом, общую схему их толкования можно было бы представить так:

‘(одушевленный) Y каузирует (прототипически неодушевленный) X, который находился в руках Y, начать находиться в месте Z’.

Любопытно, что глаголов, подпадающих под это толкование, по крайней мере в русском языке, довольно много, ср.: *класть, ставить, сажать, вешать, сыпать, стелить, грузить, пихать, втыкать* и др. Это значит, что данный класс с когнитивной точки зрения достаточно значим.

Внутри класса глаголы могут противопоставляться, в частности, по типу конечной локализации Z и в зависимости от перемещаемого объекта X. Конечной локализацией могут быть поверхность (как для *стелить*), плотная субстанция (как для *втыкать*), кронштейн (как для *вешать*), транспортное средство (как для *грузить*) и т.д.; что касается перемещаемого объекта, то он может быть вертикальным (как в *ставить*), горизонтальным (как в *стелить*), сыпучим (как в *сыпать*), острым (как в *втыкать*), множественным (как в *грузить*) и др. Понятно, что свойства X и свойства Z не независимы: каждому типу перемещаемых объектов «подходит» свой круг конечных локализаций. Самая простая связь X и Z – функционально-топологическая. Так, для плоского мягкого объекта (ср.: кусок ткани) в качестве конечного пункта наиболее естественна горизонтальная поверхность (*стелить*) или кронштейн (*вешать*), а для острого – плотная субстанция (*втыкать*). В языках мира встречаются и более сложные корреляции: в частности, как показано в [1], типологически релевантна корреляция между Z как контейнером или отверстием и возможностью плотного контакта X с Z – она засвидетельствована, например, в корейском. Предварительный анализ группы русских глаголов показывает, что в русском, в отличие от корейского, эти параметры строго разведены.

Действительно, в русском имеется целый ряд глаголов плотного результирующего контакта (ср. *всадить, засадить, воткнуть, впихнуть* и нек. др.), но они не делают различий между отверстием / контейнером и плотной субстанцией. С другой стороны, имеется глагол *сунуть* и его приставочные дериваты *всунуть, засунуть, подсунуть, просунуть*, которые специально выделяют контейнер как конечную точку Z: в прототипической ситуации объект глагола *сунуть* в результате перемещения попадает в некоторое вместилище, контейнер, и это важнейшая составляющая значения данного глагола. Тем не менее *сунуть* не предполагает плотного контакта X и Z.

Его приставочные дериваты *всунуть* и *просунуть* добавляют указание на то, что размер входного отверстия Z мал по сравнению с X, ср. здесь характерные сочетания *с трудом всунуть / просунуть*, а также *просунуть сквозь что-л.* При этом первое делает больший акцент на том, что объект оказывается в конечном счете в самом вместилище, а второе – что он преодолел отверстие как препятствие (ср.: *всунул / ??просунул ключ в замочную скважину и просунул / ??всунул руку в клетку сквозь узкие прутья решетки*).

Другая пара дериватов – *подсунуть* и *засунуть* – конкретизирует тип контейнера Z. В случае *подсунуть* отверстие образовано опорной поверхностью и находящимся на нем или над ним ориентиром Z ϕ ; так, для *подсунуть под дверь*, Z – это пространство между полом и дверью [Z ϕ]. В случае с *засунуть* прототипическое отверстие образовано задней (или внутренней) поверхностью ориентира Z ϕ и вертикальной поверхностью следующего за ним объекта, ср.: *засунуть за диван* = ‘поместить между диваном [Z ϕ] и стенкой,

у которой он стоит'; ср. также *засунуть за пазуху* = 'поместить в пространстве в районе груди между телом или нательной одеждой и изнанкой верхней одежды'. У самого глагола *сунуть* нет специальных топологических ограничений на тип отверстия или контейнера: контейнер может быть любым, в том числе мягким и достаточно широким, ср. *сунуть в мешок / в корзину*.

Все сказанное свидетельствует, что в значении как *сунуть*, так и его производных и в самом деле отсутствует семантика плотного контакта X и Z: маркируется (и то – производными) лишь трудность проникновения объекта X в контейнер за счет малой величины входного отверстия, но не размер контейнера как такового (ср. *просунул конверт в почтовый ящик*). Однако, что интересно, у этого глагола имеется свое, другое семантическое «дополнение» к идее конечного пункта как контейнера.

Речь идет об особой стилистической маркированности, свойственной *сунуть*, которую можно описать как связанную с идеей небрежности обозначаемого им действия, ср. в формулировке толкования МАС: 'класть небрежно и торопливо'. Именно этим объясняется сниженный регистр дискурса, в котором так часто встречается этот глагол. Ср. примеры (1) – (4), хорошо иллюстрирующие этот тип дискурса. Обращает на себя внимание, что при замене в примерах (1) – (2) *совать* на стилистически нейтральный глагол *класть* пропадает не только идея контейнера, если она не выражена дополнительно, но и теряется нарочитая грубость сказанного – между тем она поддерживается окружающим контекстом, см. в особенности (2), где об этом свидетельствуют и наречие *куда ни попадя*, и сленговые значения лексем *баба* и *тряпка*. Сказанное верно и для примеров (3) и (4), в которых само *совать* представлено в несколько смещенных значениях (см. подробнее раздел 4), нейтральными вариантами к которым будет, соответственно, *предлагать* и *показывать*:

(1) *Не сует / (ср. кладет) прибыль в собственный карман, а вкладывает в развитие производства* [Катерли. Дневник сломанной куклы // «Звезда». 2001].

(2) *Деньги куда ни попадя суют (ср. кладут), слушая баб: ковры да тряпки* [Борис Екимов. Чикомасов 2001].

(3) *И кого только Инкомиссия вместо меня с Розовым не совала (ср. предлагала), французы отказывались принимать* [Алешин. Встречи на грешной земле 2001].

(4) *<...> мои попытки уразуметь, сколько бельгийских или французских франков или дойче марок я должен заплатить за эскимо, не увенчались успехом – продавец совал в нос (ср. показывал) калькулятор с несусветной ценой – сто!* [Кучаев. В германском плену // «Октябрь». 2001]

Надо признать, что сходная дополнительная оценочная характеристика значения встречается и у других глаголов группы перемещения руками, ср.: *<за>бросить*, *<за>ткнуть*, *<за>тихнуть*¹, однако для них ее происхождение хорошо прослеживается. Дело в том, что у всех этих глаголов значение 'класть' является вторичным по отношению к исходному. Исходным же для них является либо значение каузации движения (как в *<за>бросить*), либо

¹ О других русских лексемах, эксплуатирующих тот же компонент значения, см. [2].

значение физического воздействия (<за>ткнуть, <за>пихнуть). Оба эти значения могут предполагать сверхусилия каузатора на начальном этапе действия и (в частности, ввиду этого) неполный контроль за его результатом, т.е. конечной точкой перемещения объекта или точкой, на которую происходит воздействие. Понятно, что такого рода неполный контроль легко связывается с идеей неполноты или небрежности действия в целом, а это, в свою очередь, способствует переходу глагола в целом или в отдельных его употреблениях в стилистически сниженный регистр.

Однако с глаголом *сунуть* в этом отношении никакой ясности нет: сниженным является его основное, а не производное значение, т.е. на первый взгляд, само по себе абсолютно нейтральное значение помещения объекта в контейнер. Вопрос в том, *как* и *почему* к нему «добавляется» отрицательная оценка.

3. Семантика *сунуть*, отрицательная оценка и стилистическая сниженность

По нашей гипотезе, особенность *сунуть* в том, что в той части своего значения, которая касается перемещения руки, держащей объект X, этот глагол обозначает так сказать «возвратное» движение. В лингвистике хорошо известен термин «возвратно-поступательное движение», оно соотносится с итеративным движением туда – обратно, ср. «классический» в этом отношении пример глагола *снова́ть*. В случае с *сунуть* итеративность не предполагается: обычно возврат движения происходит однократно, поэтому нам пришлось редуцировать стандартный термин и, чтобы он не смешивался с возвратными глаголами, взять его в кавычки. Итак, в прототипическом употреблении нашему глаголу можно дать примерно следующее толкование: ‘субъект помещает X, который находился у него в руке, в контейнер Z – и вынимает руку из контейнера’. Пример (5), ввиду специфики такого контейнера, как печка, хорошо иллюстрирует сказанное:

(5) *И огонь, и электричество суть разновидности энергии, но вольтметр не суют в печку, а термометр не втыкают в розетку* [Максим Соколов. Бинарное оружие. // «Известия», 02.05.2003].

В (5) с использованием глагола *сунуть* обсуждается возможность такой ситуации, при которой вольтметр (X) сначала находится в руке некоего обобщенно-личного субъекта, а потом попадает в печку (Z). Важно, что при этом X не летит по воздуху (как это было бы, если бы автор употребил глагол *бросать*), практически все время своего движения он находится в руке субъекта, который доносит его как минимум до той точки, когда часть X, которая непосредственно сжата в руке, оказывается у входного отверстия печи. Если при этом больший фрагмент X заведен в печку как в емкость, то, чтобы достичь результата ‘X в Z’, останется только разжать руку – и быстрее убрать ее подальше от горячей печи (то самое «возвратное движение»), не заботясь о дальнейшей судьбе X.

Конечно, компонент «возвратного» движения хочется рассматривать как импликатуру: ведь то, что в результате описанного глаголом *сунуть* события человек не остался с рукой, навсегда опущенной в контейнер (в последнем примере просто в печке!), вполне естественно и можно было бы отнести за счет прагматики ситуации. Однако, по-видимому, дело обстоит не так про-

сто: в отличие от других представителей таксономического класса перемещения объектов руками, которые, естественно, все имеют такую импликатуру, *сунуть* делает особый семантический акцент на этом компоненте, «профилируя», в терминах Р. Лангакера, не (или по крайней мере не одно только) результирующее положение объекта X в контейнере Z, а движение руки субъекта, которое <прототипически> возвратно. В самом деле, если описываемое событие таково, что главный семантический акцент все-таки приходится на Z, то используется нейтральное *положить*, а не маркированное *сунуть*. Ср. распределение вариантов *она положила / сунула мясо в кастрюлю* относительно разных ситуаций: когда речь идет о варке супа, в которой главное – чтобы мясо (X) попало в кастрюлю (Z), то вариант с *сунуть* невозможен; с другой стороны, *сунуть* возможно, когда мясо положили, например, размораживаться, так что его конкретная локализация Z совершенно не важна для субъекта.

Обратим внимание, что похожую семантику «возвратного» движения, причем тоже с семантическим акцентом на этом компоненте, имеет в русском языке целая группа глаголов типа *сбегать (в магазин)*: ‘добежать и вернуться обратно’ – ср. *пойти (в магазин)*, где «возвратность» движения не профилирована и движение субъекта назад действительно следует из семантики ситуации как прагматическая импликатура.

Таким образом, в принципе, данная особенность семантики *сунуть* не вполне уникальна, но благодаря ей у этого глагола возникают интересные свойства, косвенно подтверждающие ее значимость.

Во-первых, это способность *сунуть*, ввиду малой значимости для него конечной локализации X, «не заботиться» о результирующем контакте X с дном контейнера как с поверхностью, в отличие от таких глаголов перемещения руками, как *положить* или *поставить*. Последние тоже могут иметь в качестве Z контейнер, но только если X в конечном счете входит в контакт с его дном. Благодаря этому свойству именно *сунуть* допускает в качестве Z отверстие, которое в этом случае интерпретируется как «вход» в контейнер, ср. *сунул письмо в щель почтового ящика, мусорный мешок в дыру в заборе, ключ в замочную скважину* и проч. Ср. невозможность в такого рода контекстах замены *сунуть* на более общие *положить*, *поместить* и др.: **положил / поместил в щель, дыру, скважину*.

Во-вторых, способность *сунуть* описывать не только перемещение объекта в руке, но и движение «пустой» руки – ведь если результирующая локализация объекта X не значима, а значимо только движение руки, можно легко удалить X из числа участников ситуации, оставив в качестве объекта саму часть тела. Таким образом, *сунуть* является довольно естественным предикатом, описывающим перемещение руки, а также и любой другой вытянутой части тела относительно контейнера. Ср. *сунуть (*положить /*поставить /*воткнуть...) руку в дупло, ногу в холодную воду, голову в пасть льва, хвост в прорубь, клюв в кувшин* и проч. Действительно, движение частей тела, как правило, во-первых, «возвратно», а во-вторых, часто не ориентировано на дно контейнера, поэтому глагол *сунуть* оказывается для них просто незамеченным.

Довольно заметным (в том числе в силу своей частотности) исключением в этом отношении является сочетание *положить руку в карман*, свободно конкурирующее с *сунуть руку в карман*. Однако при более внимательном взгляде обнаруживается, что эта конкуренция лишь подтверждает наше правило. *Положить руку в карман* устроено так же, как *положить в карман деньги, носовой платок или пистолет*: во всех этих случаях предполагается контакт объекта с «дном» кармана, и *рука* просто обозначает один из таких объектов. Но и карман может быть слишком глубоким, и контакт с «дном» кармана может быть не важен для субъекта, если он, например, ничего из него не достает, а просто прячет руку от холода – поэтому у говорящего есть возможность употребить в такого рода контекстах не только *положить*, но и *сунуть*, причем как для *руки*, так и, в соответствующей ситуации, для *носового платка* или *пистолета*. Зато метонимически возможно только: *сунул руки в брюки*, а не *положил* (т.е. в том же значении 'положить в карман', но в условиях, так сказать, «отсутствия дна»).

Наконец, третье, самое важное свойство *сунуть* – это как раз его стилистическая маркированность. С нашей точки зрения, оно тоже связано с «возвратностью»: раз профилированным оказывается возвратное движение, а не конечная точка движения, у глагола возникают коннотации недостаточной целенаправленности и контроля, неполноты действия и даже временности результата¹. Отсюда значение своего рода неполноценности ситуации в целом, которое и является базой для отрицательной оценки и стилистической сниженности.

Одновременно сама по себе отрицательная оценка становится настолько существенным компонентом значения *сунуть*, что представления о Z исключительно как о контейнере могут в определенном случае и расшириться, ср. (6) – самый ранний пример НКРЯ, в котором Z является поверхностью и где отчетливо выражена отрицательная оценка говорящего по отношению к событию:

(6) <...> «влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол», сказал голова, гневно подымаясь с своего места [Н.В. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки (1831–1832)].

Понятно, что в употреблении такого рода *сунуть* предстает как своего рода обобщенный глагол перемещения руками, но такого перемещения, которое совершено небрежно, как попало, безо всякого внимания к конечному местоположению объекта. Таково стилистическое развитие значения *сунуть*, и оно, как было показано, обеспечивается компонентом «возвратности» в его семантике.

4. Стилистическая сниженность в дериватах *сунуть*

Теперь перейдем к обсуждению словообразовательных дериватов *сунуть*.

4.1. Обнаруживается, что приставочные дериваты (*всунуть, засунуть, подсунуть, просунуть*) в своих прямых значениях отрицательных коннотаций, свойственных *сунуть*, лишены, и это не случайно. Дело в том, что их вклад в глагольную семантику касается, как мы отмечали выше, специфика-

¹ Ср. здесь характерный пример с эффектом аннулирования результата: *сунул Грека руку в реку – рак за руку Греку цап* ('только поместил в контейнер, как должен был вынуть обратно').

ции *З*, точнее, размера отверстия или типа контейнера. Тем самым, модифицируя семантику *сунуть*, его приставочные корреляты как раз, в отличие от исходного глагола, делают акцент на результате перемещения объекта, одновременно полностью теряя идею «возвратности» движения. Поэтому они и оказываются стилистически полностью нейтральны, ср.: *подсунуть* [**подложить*] *бумаги под дверь, всунуть / вдеть нитку в игольное ушко* и др.

Любопытно, что два из этих четырех глаголов, а именно *засунуть* и *подсунуть* все-таки развивают стилистически маркированные значения: *засунуть*, в этом случае значит что-то вроде: ‘положить объект слишком далеко, а *подсунуть* – ‘дать реципиенту нечто втайне от него и вопреки его воле’. Основной «вклад» в эти значения вносят приставки. Действительно, русская приставка *за-* сама по себе имеет значение своего рода «сверхполноты» действия (ср. *заработался*), а с глаголами движения – сверхудаленности, см. подробнее [3, 4]. В частности, в контексте наречия *слишком далеко* употребляются именно глагольные формы с приставкой *за-*, ср. *слишком далеко заплыл, залетел, завел, закинул* и проч. Тем не менее можно считать, что и исходная отрицательная оценка *сунуть* тоже играет в формировании оценочного *засунуть* некоторую роль. Ведь слишком удаленное положение объекта в случае *засунуть* объясняется не целенаправленной деятельностью субъекта, а, наоборот, его невнимательностью к результату действия (свойство *сунуть*!), своего рода беспечностью, ср. характерное: *засунул так, что потом сам найти не может*.

Что касается *подсунуть*, то в его вторичной интерпретации тоже «виновата» прежде всего приставка: локализация типа SUB представляет зону невидимого говорящему и поэтому метафорически легко развивает значения тайного, скрытого, запретного, незаконного и под., ср. *подслушать, подделывать* и др.; подробнее см. [5]. Именно такое значение – тайного и в некотором смысле незаконного действия развивает и переносное *подсунуть*. Однако исходным для этого значения (в отличие от обычного, которое реализуется в пространственных сочетаниях типа *подсунуть под дверь*) является не прямое, связанное с перемещением объекта, а переносное, связанное со сменой possessора и тоже с отрицательной оценкой (подробнее об этом сдвиге в семантике *сунуть* мы будем говорить в следующем разделе). В самом деле, *подсунуть* – это, грубо говоря, то же, что ‘тайно дать’. Таким образом, и здесь обнаруживается, что в определенном отношении «ответственность» за стилистическую маркированность деривата все-таки несет и исходный глагол.

Все это, однако, нисколько не дезавуирует нашего прежнего утверждения о том, что приставочные корреляты не наследуют стилистику *сунуть*, потому что не наследуют его «возвратность». Это верно, если говорить об их прямых значениях, с пространственными приставками, потому что у них, как мы говорили, значение приставки становится фокусом значения всей лексемы. Если же значение приставки метафоризируется, т.е. радикально меняется, то меняется и структура значения производной лексемы в целом. В частности, поскольку приставка сама непосредственно (как *под-*) или косвенно (как *за-*) выражает отрицательную оценку, то ей естественно «искать опоры» (другими словами, семантического согласования) в отрицательности базового глагола, даже и игнорируя исходную идею «возвратности».

4.2. Рассмотрим теперь особенности суффиксального деривата на *-ся* – *соватьсь* ~ *сунуться*; здесь ситуация со «стилистическим наследованием» гораздо интереснее. Начнем с того, что класс перемещения объекта руками не дает единой модели интерпретации морфологически рефлексивных форм. Поэтому среди результирующих значений в этом классе встречаются и декаузативы, как *сыпаться* (ср. *с неба сыпался мелкий снег*), и автокаузативы, как *бросаться* (ср. *он бросился к ней на помощь*), в том числе сильно идиоматизированные (ср. *положиться на случай*), и объектные имперсоналы, как *пихаться* (ср. *да не пихайся ты!*), и собственно рефлексивы, как *повеситься*, и так называемые расширенные рефлексивы, как *грузиться* (ср. *мы погрузились на корабль* = ‘погрузили свои вещи’)¹. Место *соватьсь* в этом разнообразном ряду не так уж однозначно.

Самая очевидная гипотеза – рефлексив ($\approx$ ‘совать себя’), или расширенный рефлексив, если интерпретировать эту форму как «стяжение» устойчивого оборота *совать нос*, так что ‘соватьсь’ = *совать свой нос* <езде> / <в чужие дела>, т.е. ‘интересоваться чужими делами / вникать в них’. Фразеологизм этот довольно давно засвидетельствован – по крайней мере с середины XIX в., ср. следующие примеры из НКРЯ:

(7) *Критике нечего тут совать свой нос и перо свое* [П.А. Вяземский. Старая записная книжка (1830–1870)].

(8) *Есть, наконец, люди которые не любят скакать и вертеться попустому, заигрывать и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спрашивают* [Ф.М. Достоевский. Двойник (1846)]².

В его семантике легко проследить и «возвратность движения» (нос сначала просовывают, а потом убирают, как бы пробуя проникнуть в чужое пространство), и отсутствие результата (нереализованную попытку), и поддержанную контекстом отрицательную оценку, восходящую к семантике *совать*. Все эти семантические свойства сохраняются и в довольно продуктивных конструкциях с рефлексивным *соватьсь*:

соватьсь в чужие дела / в какое-то дело / во что-л.,

соватьсь к кому-л. с чем-л. [‘пробовать обращаться к кому-л.’],

лучше не соваться [‘не пробовать’], ср. следующие примеры из НКРЯ:

(9) *Самый главный грех – соваться в чужие дела, а писатели никогда не должны соваться в чужие души, нет, ни в коем случае* [Шаламов. Дневники (1954–1979)].

(10) *И какая у тебя должна быть совесть, что в это дело соваться пятой спицей в колеснице?* [Кнорре Федор. Родная кровь (1962)].

(11) *Если честно, не стоит тебе к нему соваться* [Олег Дивов. Выбровка (1999)].

¹ Подробнее о классификации рефлексивных значений см. [6, 7, 8, 9] и др.

² Отметим, что XX в. на базе этого фразеологизма развивается новый (тоже стилистически маркированный) со стандартной фактитивной каузации: *совать* <кого-л.> *носом* <во что-л.> со значением ‘грубо предъявлять нечто контрагенту’, ср.: *И весь «этот народ», и отдельные его представители <...> сами повинны в своем нынешнем социальном положении; их постоянно суют носом в их «проклятое прошлое», что должно внушить им комплекс неполноценности и отвести от протеста <...>* [Александр Панарин. «Наш современник», 2003]. Ср. также обсуждаемое в 4.2. *совать под нос*.

Однако оказывается, что с семантикой *совать* дело обстоит не так просто. Дело в том, что в XIX в. фразеологизм *совать нос*, как мы видели, имел то же значение, что и теперь, в то время как глагол *совать*, как выясняется, употреблялся несколько иначе. Как свидетельствуют примеры НКРЯ, его значение было близко к современному пространственному *высовываться*, т.е. ‘выходить (вперед) из общего ряда’ – не случайно в этом качестве оно часто использовалось вместе с наречием *вперед*, ср. (12):

(12) *Когда батюшка мой заложил пегую лошадку нашу в телегу, чтобы отвезти меня, Левка пришел опять к плетню, он не совался вперед, а, прислонившись к верее, обтирал по временам грязным спущенным рукавом рубашки слезы* [А.И. Герцен. Доктор Крупов (1846)].

(13) *Она столько раз принималась целовать и крестить Володю, что – полагая, что она теперь обратится ко мне, – я совался вперед; но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди* [Л.Н. Толстой. Детство (1852)]¹.

Ср. также (14):

(14) <...> *кричала она, замахиваясь, и вся пернатая толпа влет разбрасывалась по сторонам, а через минуту опять головки кучей совались жадно и торопливо клевать* [т.е. ‘птицы выходили вперед, чтобы клевать’], *как будто ворую зерна*. [И.А. Гончаров. Обрыв (1869)].

Эти и другие примеры свидетельствуют, что по крайней мере в XIX – начале XX в. стилистически *совать* было значительно более нейтрально и по сравнению с *совать нос* в тот же период, и, конечно, по сравнению с современным *совать*. Например, этот глагол легко встретить во вполне официальных текстах, а также у авторов, которых трудно заподозрить в использовании сниженного дискурса, ср. (15–17):

(15) *Что заставляет вас соваться в такое рискованное дело и брать добровольно на свою ответственность?* [Э.И. Стогов. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I (1870–1880)]

(16) *После этого случая я долго никуда не совался, пока в 1902 году меня не направили к В. Никольскому, редактировавшему тогда вместе с Репиным студенческий сборник* [А.А. Блок. Автобиография (1915)].

(17) *И как индивидуальное лицо я не имел никаких оснований соваться в ее недра и в ее распоряжения*. [Суханов Н.Н. Записки о революции (1918–1921)], ср. также в вежливом вопросе (18):

(18) *Удобно ли соваться?* [Катаев В.П. А+В в квадрате (1917)].

В связи с этим стоит задуматься об исходной степени стилистической маркированности сочетаний, которые с сегодняшней точки зрения воспринимаются как безусловно оценочные, такие как *совать* *под пули* или известная поговорка *не зная броду не суйся в воду*. Вполне вероятно, что в свое время и они воспринимались совсем не так агрессивно, как сегодня, – переводя

¹ Любопытно, что наряду с чисто пространственным, в тот же период и с тем же наречным определением *вперед* форма *сунуться* используется в переносном значении, которое, как и исходное пространственное, на современный русский «переводится» приставочным *высовываться* и значит ‘привлекать к себе излишнее внимание’, ср.: *И что это за человек, – продолжал боярин, глядя на Годунова, – никогда не суется вперед, а всегда тут; никогда не прямит, не перечит царю, идет себе окольным путем, ни в какое кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не причастен* [А.К. Толстой. Князь Серебряный (1842–1862)].

на современный язык, получилось бы что-то совсем «мирное», вроде *идти вперед под пули* или *не входи в воду, если не знаешь, где брод*¹. Ср пример (19) на *соваться в огонь* 70-х гг. XIX в., с явно положительной оценкой ситуации, невозможной в такой конструкции в языке XXI в.:

(19) *Пожар ли случится, Никифор первый на помощь прибежит, бывало, в огонь так и суется, пожитки спасаячи, и тут уж на него положиться было можно: <...> с пожара железной пуговицы не снесет* [П.И. Мельников-Печерский. В лесах (1871–1874)].

Был и еще один утерянный сегодня класс контекстов *соваться*: они описывали беспорядочное движение растерянных людей, не знающих, что именно делать, ср. ремарку из пьесы Сухова-Кобылина: *Берет себя за голову и суется по комнате*. Их характерным маркером выступает, в частности, *из угла в угол* – в современном русском языке характерное для бесцельного движения², а также сохранившийся до сих пор фразеологизм *как угорелые*, который свидетельствует о быстроте и стремительности беспорядочного движения, соответствующего такому *соваться*; согласно [11] в современном русском этим контекстам соответствуют, а значит, служат для них своего рода «переводными эквивалентами» *бегать, носиться, метаться* <как угорелый>. Ср. также (20, 21):

(20) *Генеральша лежала в обмороке; генерал совершенно потерялся; <...> люди совались без толку из угла в угол, как сумасшедшие; доктора перебегали от генеральши к генералу* [И.И. Панаев. Опыт о хлыщах (1854–1857)].

(21) *Слуги и за обедом суются как угорелые, сталкивают друг друга с ног, беснуются и вдруг становятся неподвижно и глядят на вас, прося глазами приказать что-нибудь еще* [И.А. Гончаров. Фрегат «Паллада» (1855)].

Как видим, оба утраченных в современном языке типа употребления *соваться* соотносятся скорее с движением, а не с местоположением, и в этом отношении исторически оказываются семантически ближе тому семантическому типу рефлексивизации, который представляет пара *бросать–бросаться* (автокаузация), чем *вешать–вешаться* или *грузить–грузиться*. Если же учесть еще и то обстоятельство, что, по-видимому, *совать нос* и *соваться* сосуществовали в XIX в. вполне независимо, причем первое как оценочное, а второе как нейтральное, рефлексивная гипотеза становится довольно уязвимой и, вообще говоря, может уступить место автокаузативной.

5. Стилистический аспект семантических сдвигов

У глагола *сунуть* в современном языке имеется несколько производных значений: значение смены посессора, физического воздействия и каузации восприятия; они выступают в следующих конструкциях:

сунул ему два рубля [= ‘дал’];

¹ В том же ряду фразеологизованных сочетаний с *соваться*, постепенно «пониживших» свою стилистику, по-видимому, оказывается и *соваться куда-л. с чем-л.*, ср. здесь показательный пример, где оно выступает в полностью нейтральном описательном контексте и безоценочно: *Он всюду совался с своим фрегатом* (что-то вроде: ‘всюду бывал’); между прочим, заходил и в Корею, описал островок Гамильтон, был на соседнем большом острове Квельпарт, где, говорит он, есть города, крепости и большое народонаселение [И.А. Гончаров. Фрегат «Паллада» (1855)].

² Ср. *слоняться из угла в угол* (только о медленном движении); ср. также «живой» возвратный глагол *тыкаться* в том же употреблении, что и устаревшее *соваться*: *тыкаться из угла в угол*.

сунул под нос [= ‘показал’];

сунул в рыло [= ‘ударил’].

Задача, которую мы будем решать в этом разделе, – определение степени и природы их стилистической маркированности.

Рассмотрим по очереди каждую из конструкций.

5.1. Как нам представляется, *сунуть* в значении ‘дать’ на самом деле реализует свою основную семантику – все ту же идею перемещения объекта в контейнер, только в качестве контейнера в этом случае всегда выступает рука реципиента: речь идет о ситуации, когда объект помещают реципиенту прямо в ладонь, ср. (21).

(22) *Он просто совал мне в руку красную бумажку и крайне удивился, когда я объявил ему, что дело сделается и без этого* [Корф Модест. Из дневника (1838–1839)],

Совершающий это действие субъект быстро убирает руку (как и положено для «возвратного движения»), и, таким образом, семантический сдвиг достигается простым сужением исходного значения. По-видимому, развитие данной конструкции с *сунуть* так и происходило: в примерах из литературы XIX в. сначала засвидетельствовано только посессивно-локативное *совал кому-л. в руку* (т.е. с указанием «квази-контейнера»), и только приблизительно с 50-х гг. начинают попадаться примеры, так сказать, чистого трансфера: с прямым адресатом без упоминания руки как контейнера, т.е. с опущенной – и впоследствии утраченной – локализацией. Ср. (23), первый по времени из найденных примеров такого рода:

(23) *Что ты мне суешь карту?* [И.И. Панаев. Опыт о хлыщах (1854–1857)].

Контексты типа (24) свидетельствуют о том, что уже тогда эти употребления воспринимались как несущие отрицательную оценку:

(24) *Ванька бежит из лакейской и подает на подносе стакан с пенящимся квасом. Но Кондратию Трифону кажется, что он не подает, а сует. – Что ты суешь? что ты мне суешь? – вскидывается он на Ваньку* [М.Е. Салтыков-Щедрин. Наш дружеский хлам (1858–1862)].

Принимая, что данное значение восходит к идее руки как контейнера, мы можем ожидать естественных ограничений на размер передаваемого объекта: он должен быть сопоставим с величиной ладони, ср. (24–25):

(25) *В это же самое время суют мне в руку записку <...>* [И.С. Никитин. Письма (1853–1861)].

(26) *Привезли апельсинов, еще чего-то; приехала прачка, трактирищица; все совали нам в руки свои адреса, а я опустил в карман своего пальто еще две карточки, к дюжинам прочих, приобретенных в Англии* [И.А. Гончаров. Фрегат «Паллада» (1855)]¹.

Но самым распространенным объектом передачи здесь оказываются денежные купюры, так что *сунуть* с учетом других особенностей его семантики, и прежде всего «возвратного» движения и отрицательной оценки, посте-

¹ Ср. здесь вполне предсказуемое развитие трансферного употребления с таким объектом, как бумага: <...> *вон смотри, мне суют на подпись еще особый счет в шестьсот рублей* <...> [Н.С. Лесков. На ножах (1870)]

пенно приобретает устойчивое значение 'дать взятку'. Оно устанавливается еще для локативно-посессивных контекстов, по крайней мере с 50-х гг. XIX в., ср.: *А сам всё деньги сует в руку* [В.А. Соллогуб. Старушка (1850)], а затем переходит на трансферные. Между тем Н.В. Гоголь в «Мертвых душах» – см. (27) – дает пример интерпретации *сунуть* как 'дать взятку' для полностью изолированного употребления этого глагола, без единого выраженного аргумента (исключая субъект) – а ведь это первая половина XIX в.!

(27) *А вот пусть к тебе повадится черт подвертываться всякий день под руку, так что вот и не хочешь брать, а он сам сует* [Н.В. Гоголь. Мертвые души (1842)].

На основании данного материала можно утверждать, что и формирование значения передачи объекта (ставшего основой для приставочного *подсунуть*, см. предыдущий раздел), и превращение этого значения в частично идиоматизированное 'дать взятку', сохранившее и укрепившее и отрицательную оценку исходного *сунуть*, и его стилистическую сниженность, завершилось в русском языке уже в середине XIX в.

Любопытно, что наряду с общим трансферным значением у *сунуть* есть еще одно, более частное – тоже сниженное и тоже дожившее до наших дней. Речь идет о семантике навязывания нежелательного объекта, в наших примерах – человека, для общения или на службу:

(28) *Я кричу: дайте мне человека, чтоб я мог любить его, а мне суют Фалалея!* [Ф.М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели (1859)].

Замечательно, что и здесь более ранний пример находится у Гоголя:

(29) *<...> да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собою, и всякий сует какую-нибудь свою куму* [Н.В. Гоголь. Мертвые души (1842)].

Понятно, что в этом случае полностью отсутствует «возвратность», зато сохраняются неполнота действия (навязанное, оно не принято окончательно и отвергается), а также отрицательная оценка и стилистическая сниженность.

5.2. Значение *сунуть* как 'показать' тоже развивается на базе метафоры контейнера, только контейнером выступает не рука, а пространство вблизи лица экспериенцера, в большинстве случаев суженное до области под носом – ср. *совать под нос / в нос*. Такая пространственная зона выбирается прежде всего как нарочито грубая (*нос*, как название части тела, сам по себе характеризует сниженность дискурса). Область под носом расположена близко от глаз, так что если объект находится в этой зоне, его нельзя не заметить. Правда, одновременно его нельзя и рассмотреть: он оказывается слишком близко к глазам, и в этом тоже нарочитая бестактность ситуации, которая обеспечивает и отрицательную оценку, и грубость сказанного, что обычно поддерживается общим контекстом – ну и, конечно, исходными оценочными характеристиками самого опорного глагола *сунуть*, ср:

(30) *С какой это стати читатель будет к тебе благосклонен, если ты позволяешь себе <...> то и дело совать ему под нос плоды своего разума?* [Васильева Светлана // «Октябрь». 2001]¹.

Примеры такого употребления *сунуть* довольно регулярно появляются в литературе с 70-х годов XIX века, когда разговорный дискурс начинает более свободно проникать в художественную прозу из журналистики, ср. пример из Н.А. Лейкина:

(31) *<...> и очнулся только у Публичной Библиотеки, где мальчишка газетчик совал мне под нос номера газет* [Лейкин Н.А. Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова (1874)].

Но первый подобный пример встретился нам опять-таки у Гоголя, и много раньше:

(32) *Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже "перепишите" <...>, как употребляется в благовоспитанных службах.* [Н. В. Гоголь. Шинель (1842)]

5.3. *Сунуть* в значении ‘ударить’ представляет на первый взгляд совершенно неожиданное употребление нашего глагола. Между тем, контексты с такой семантикой встречаются, судя по данным корпуса, не только в современном разговорном дискурсе, ср. (33), так и в (тоже разговорной) речи XIX – начала XX в., ср. (34):

(33) *Извернувшись на руках державших его парней, как на брусках, он неожиданно, по-мужски **сунул кулаком** капитану под подбородок* (Доценко, 1993); *<...> я нацупал кирпич и двинул ему по руке, после чего он просто **сунул кулаком** под дых и я покатился <...>* (Минаев, 2001).

(34) *<...> звонарь <...> совал наудачу сжатыми кулаками, стараясь попать в кого-нибудь из бежавших* (Короленко, 1886–1898); *<...> татарин <...> нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался* (Куприн, 1905); *Иван Иванович не давался, бестолково совал руками <...>.* (Арцыбашев, 1910–1912).

Любопытно, что несмотря на очевидное семантическое и синтаксическое сходство (управление творительным инструмента) эти группы примеров, по-видимому, имеют и разную структуру, и разное происхождение.

Так, (34) воплощает исходное, свойственное еще древнерусскому, значение ‘выдвигать вперед или в сторону’. Объектом его, как и у многих глаголов «двигательного действия» (в терминологии В.Б. Крысько, см. [10. С. 122–133]), служит инструмент или часть тела, со стандартной кодировкой творительным (Там же), при том что цель движения может быть и не выражена (как у Арцыбашева или Короленко), таким образом, значение ‘ударить’ (невозможное без целевого аргумента) возникает здесь исключительно имплицитивно.

Наоборот, новые контексты типа (33) имеют уже исключительно узкое, «боевое» значение: для них обязательна цель и ограничен инструмент: *кулак* (ни *нога*, ни *локоть*, ни *колено* в этой роли не встречаются) – этим и объясня-

¹ Ср. также более маргинальный пример с *совать в лицо* (вместо *в нос*) – с тем же значением: *Прежде всего я просил бы вас не совать мне в лицо бумаг ваших и не кричать на меня, – я не подчиненный вам и повторяю вам, что тут никаких нет плутней <...>.* [Писемский А.Ф. Ваал (1873)].

ется тот факт, что ни один контекст из (34) не может быть признан правильным в современном русском языке.

Понятно, что исторически естественнее всего представлять дело так, что современные контексты получались постепенным сужением исходных, но у сегодняшних носителей эта связь совершенно утрачена, потому что утрачены все звенья полисемии, на которых она бы держалась (например, производное существительное *сулица* в значении ‘палица’ и др.). Более того, анализ корпусных данных свидетельствует, что «старое» значение уходит уже к началу XX в., а «новое» появляется в нескольких примерах стилизованных текстов 30–50-х гг. (Бажов, Шишков, Герман) и затем в 1990–2000-е гг. Таким образом, получается, что сдвиг семантики происходит не постепенно, как это обычно бывает – с достаточно длительным периодом одновременного использования обеих возможностей, а резко и даже с существенным временным «провалом» между разными употреблениями.

На этом фоне есть большое искушение предположить, что семантической базой (33) служит не столько исторически предшествовавшее ему, но полностью утраченное (34), сколько та группа сосуществующих с (33) во времени употреблений, в которой объектом тоже является рука: *сунуть руку в карман* – правда, еще не приспособленная для удара и не «преобразованная» в кулак. Тогда, как и для других фразеологизмов с *сунуть*, мотивирующим компонентом значения здесь является каузация движения, а не местоположения – он и обеспечивает (или как минимум поддерживает) возможность управления творительным: *сунул кулак_{Acc} <в карман>* – *сунул кулаком_{Instr} <в ухо>*. Нашу гипотезу вторичной мотивации поддерживает и то, что очень похожую пару в русском образуют (с)двинуть стул_{Acc} ‘каузация движения’ – *двинуть кулаком_{Instr} в морду* ‘удар’, ср. (35):

(35) В курилке, где он только присел с ребятами, появился Дробышев и молча *двинул ему кулаком под дых* <...> [Василь Быков. Волчья яма (1999) // «Дружба народов», 15.07.1999].

С теоретической точки зрения в обоих случаях мы наблюдаем семантический сдвиг, который связан со сменой таксономического класса и маркирован синтаксически. Подобный сдвиг, приводящий к полной перестройке всех свойств слова, мы называем *ребрендингом*¹. Как и прочие лексемы, претерпевшие ребрендинг, *сунуть* демонстрирует здесь сложную комбинацию метонимического преобразования, отражающегося на синтаксических отношениях участников описываемой ситуации (коротко говоря, понижение прямого объекта) и метафоры, позволяющей уподобить воздействие типа ‘ударить’ каузации движения (*сунуть*). Задача метафоризации в данном случае – ослабить значение физического воздействия, «подменив» его сопутствующим ему движением руки, причем, как мы помним, нецеленаправленным и вообще довольно небрежным. В принципе, в этом случае можно было говорить и о совершившейся метонимической замене *часть – целое*, но эффект метафоры, т.е. совмещения одной ситуации с другой, здесь, безусловно, тоже присутст-

¹ Без использования этого термина, но с подробным анализом сути дела этот процесс рассматривается в [12, 13] на примере глагола *жать*; другие эффекты ребрендинга описаны нами на материале глагольных метафор боли в [14] и [15], а также на примере прилагательных [16].

вует, отражая своего рода *девальоризацию*, т.е. снижение ценности события. Для нас он особенно важен – и вот в каком отношении.

Хорошо известно, что гипребола, представляющая своего рода «*сверхвальоризацию*», свойственна произведениям возвышенного стиля – одам, гимнам и проч. Что же касается *девальоризации*, то она, наоборот, как кажется, характерна, для сленга, т.е. сниженного дискурса. Ср. здесь классические примеры типа *мокрое дело* вместо *убийство*, *свистнуть* вместо *украсть* и т.п. Таким образом, в результате ребрендинга, т.е. метони-метафорической перестройки, достигается дополнительный стилистический эффект, свойственный сниженному дискурсу. Это очень существенное обстоятельство: чтобы объяснить грубую сленговость выражений типа *сунул в ухо* опоры на исходную стилистику и семантическую оценку *сунуть* совершенно недостаточно, тем более что в процессе сдвига, как мы видели, часть его первоначальных свойств просто утрачивается. Объяснение смены стилистического регистра приходит из анализа самого процесса лексической перестройки, которая, как выясняется, выполняет в том числе и такую задачу.

Суммируем сказанное: данный сдвиг значения глагола *сунуть* действительно семантически нетривиален – по сравнению с другими рассмотренными выше. Но одновременно он и предсказуем, в том смысле, что и механизм, и историю этого сдвига можно проследить, а также в том смысле, что они, как оказывается, мотивированно подчиняются некоторым более общим правилам – наряду с другими, сходными по своим семантико-синтаксическим свойствам лексемами русского языка.

6. Заключение

В этом разделе мы хотели бы сформулировать результаты предпринятого семантико-стилистического анализа глагола *сунуть*, а также его дериватов и его производных значений – в соответствии с теми вопросами, которые мы обсуждали, и одновременно обсудить некоторые теоретические аспекты нашего исследования. Вопросов было три:

«Вычислима» ли стилистика *сунуть*?

Наследуется ли она при словообразовании?

Влияет ли она на развитие новых значений?

Говоря совсем коротко, ответы на все эти вопросы оказались скорее положительными, и это легко было предположить заранее. Главное – детали. Как кажется, детали проведенного лексикологического анализа говорят о том, что стилистические особенности лексемы *сунуть* (а мы позволим себе предположить, что и других лексем) не просто *мотивированы* семантикой, но образуют с ней – и другими (морфологическими, синтаксическими и под.) свойствами этого слова – единое целое. И наравне с другими свойствами они участвуют в процессах морфологической и семантической деривации.

Действительно, глагол *сунуть* не очень похож по своему поведению на большинство глаголов своего таксономического класса ‘перемещение объекта руками в точку Z’, потому что он делает больший акцент на движении объекта, чем на «пункте прибытия» (в англоязычной терминологии – “Goal”). Причина смещения акцента в том, что *сунуть* описывает более сложное, чем обычно, а именно, «возвратное» движение руки субъекта: грубо говоря, важно не куда положил, а что сразу убрал руку. А следствия, как мы показали в

разделе 3, самые разные, например возможность описывать «возвратное» движение руки или другой вытянутой части тела самой по себе (*сунуть руку в карман*). Это следствие напрямую касается семантической структуры глагола и ограничений на его аргументы, тем самым оно формализуемо, т.е. сегодня существует методика его фиксации на условном метаязыке. Но есть и другие следствия, другой природы. К ним относится идея недостаточной контролируемости и целенаправленности, своего рода неполноценности действия, и ввиду этого отрицательной оценки и стилистической сниженности. Дело не в том, что информация такого рода хоть как-то «хуже» или «слабее», чем та, что касается семантической структуры, или что она обладает меньшей значимостью. Неправильность, с которой столкнется слушающий, если ему предъявят предложение, построенное с нарушением этих плохо формализуемых свойств, несколько не лучше нарушения других, формализуемых, ограничений, и (33):

(33) *Он положил ногу в воду

звучит ничуть не более странно, чем (34) или (35):

(34) *Мать сунула ребенка в кроватку и заботливо накрыла одеяльцем

(35) *Господин посол сунул новому президенту США приветственный адрес.

Дело, конечно, в другом. Формализуемая сегодня информация относится по большей части к определенным *фрагментам* семантической структуры; в принятых в лингвистике моделях описания эти фрагменты теоретически могут получать какие-то характеристики. Развитие лингвистики происходит таким образом, что количество необходимых для адекватного представления структуры предложения характеристик все время растет и они становятся более разнообразными: сегодня некоторые теории позволяют зафиксировать даже семантический акцент на том или ином аргументе. Плохо формализуемой остается информация, которая приписывается сложной языковой единице *в целом*, а стилистическая маркированность представляет свойство как раз такого рода. В содержательном отношении ближайшим к нему свойством является отрицательная оценка, но она как раз касается *фрагмента* семантической структуры, так как характеризует говорящего, поэтому для нее определено формальное место – в модальной рамке высказывания. Однако оценка заведомо не тождественна стилистической маркированности, и пока мы не знаем, в какой степени они коррелируют друг с другом. Ясно лишь, что многие из лексем, свойственных сниженному дискурсу, характеризуются отрицательной оценкой, но такие явно отрицательные глаголы, как *клеветать*, *манипулировать*, *витийствовать*, могут, как легко видеть, характеризовать не только нейтральный, но и возвышенный стиль.

Конечно, можно всю неформализуемую информацию просто игнорировать, как собственно, и делается в большинстве формальных моделей языка – по принципу «искать удобнее там, где светло». Но этот путь не ведет к развитию лингвистического знания. Гораздо продуктивнее, на наш взгляд фиксировать все возможные связи «нестандартной» (в нашем случае – стилистической) характеристики языковой единицы с другими ее свойствами, что, собственно, и являлось предметом настоящей работы на материале глагола *сунуть*. Нам кажется, что такая работа в конце концов поможет разобраться с

природой стилистической маркированности и выработать метаязык, на котором о ней можно говорить.

Теория, в рамках которой можно говорить о таких связях, есть – это Грамматика конструкций Ч. Филлмора (см. прежде всего [17, 18, 19, 20]). Ввиду сказанного выше сейчас для нас важен не ее формализм, а ее, если так можно сказать, философия. Философия этой теории, ее общее представление о человеческом языке – в том, что языковые единицы, входящие в предложение (за исключением разве что простых морфем), представляют собой нечленимые конструкции с индивидуальным значением, и такое значение для каждой конструкции определяет ее состав и регулирует взаимодействие всех без исключения ее элементов, независимо от типа и уровня. С этой точки зрения стилистические свойства оказываются равноправны со всеми другими и не просто достойны описания, а необходимы для его полноты.

Ч. Филлмор предложил философию, образ лингвистического мышления и представление о языке. Материал анализа нашего глагола дает новые аргументы в его поддержку.

Оказывается, что стилистическая характеристика *сунуть* не случайным образом появляется и исчезает при взаимодействии с другими, семантическими – например, в процессе приставочной деривации (см. разд. 3.1). Пространственная приставка (например, *про-* в *просунуть*) не просто добавляет глаголу локативный компонент значения, она трансформирует всю его семантическую структуру так, что именно этот компонент – характеристика конечной точки движения – становится в ней наиболее значимым коммуникативно, иначе такому приставочному значению не найдется места в семантике *сунуть*. Отсюда ослабление «возвратности» и потеря дериватом стилистической маркированности. Если же значение приставки не пространственное, а метафорическое (как в *подсунул взятку*), оно не нуждается в «перекомпановке» и «переоценке» смысловых элементов и, наоборот, само, будучи оценочным, прекрасно согласуется с исходными параметрами *сунуть*.

Другой пример – с морфологическим рефлексивом *сунуться* (разд. 4.2). Суть этого сюжета в том, что с XIX – начала XX в. до наших дней форма *сунуться* полностью сменила стилистическую ориентацию с нейтральной на сниженную. Конечно, это сопровождалось некоторыми мелкими семантическими изменениями, которые проявлялись, в частности, в небольших отклонениях его семантической сочетаемости (как мы наблюдали, по вполне определенным причинам *сунуться* перестает сочетаться с *как угорелый* или *вперед* и проч.), а может быть даже и в переинтерпретации самой рефлексивной формы (здесь уже взаимодействие не только с семантикой, но и с морфологией!), однако, по-видимому, «локомотивом» всех этих сдвигов стал как раз переход этого глагола в зону сниженного дискурса и закрепление в ней. Более того, мы обнаружили множество контекстов, в которых фактически единственное, что отличает современное употребление от утраченной нормы, – это тот самый стилистический регистр; его переключение делает вопрос (18) *Удобно ли соваться?* в одном временном срезе языка абсолютно адекватным, а в другом – смешным и нелепым¹.

¹ Автор благодарит А.А. Пичхадзе, читавшую эту статью в рукописи, за ценные советы и конструктивные замечания.

Литература

1. Bowerman M. & Choi S. Space under construction: Language-specific spatial categorization in first language acquisition. // D. Gentner, & S. Goldin-Meadow (Eds.), *Language in mind: Advances in the study of language and thought* (p. 387–427). Cambridge: MIT Press, 2003.
2. Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Малоизученные единицы со значением незаданности критериев выбора в русском языке // *Логический анализ языка: квантитативный аспект* / ред. Н.Д. Арутюнова. М., 2005.
3. Зализняк А.А. Опыт моделирования семантики приставочных глаголов в русском языке // *Russian Linguistics*, 1995. Vol. 19. P. 143–185.
4. Зализняк А.А. Многозначность в языке и способы ее представления. М.: Языки русской культуры, 2006.
5. Плунгян В.А. Приставка *под-* в русском языке: к описанию семантической сети // *Московский лингвистический журнал*. 2001. Т. 5, № 1. С. 95–124.
6. Янко-Триницкая Н.А. Возвратные глаголы в современном русском языке. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
7. Сай С.С. К типологии антипассивных конструкций: семантика, прагматика, синтаксис: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2008.
8. Плунгян В.А. Общая морфология. М.: УРСС, 2000.
9. Генюшене Э.Ш., Недялков В.П. Типология рефлексивных конструкций // *Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость*. СПб., 1991.
10. *Идиоматика* // А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, К.Л. Киселева и др. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики. М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007.
11. Крысько В.Б. Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. М.: Индрик, 1997.
12. Кустова Г.И. Производные значения с экспериенциальной составляющей // *Семиотика и информатика*. 1998, № 36.
13. Кустова Г.И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М.: Языки славянской культуры, 2004.
14. Бонч-Осмоловская А.А., Рахилина Е.В., Резникова Т.И. Глаголы боли: лексическая типология и механизмы семантической деривации // *Концепт боль в типологическом освещении*. Киев, 2009. С. 8–27.
15. Рахилина Е.В., Резникова Т.И., Бонч-Осмоловская А.А. Типология преобразования конструкций: предикаты боли // *Лингвистика конструкций*. М., Азбуковник, 2010.
16. Рахилина Е.В., Резникова Т.И., Карпова О.С. Семантические переходы в атрибутивных конструкциях: метафора, метонимия и ребрендинг, 2010.
17. Fillmore C. Grammatical construction theory and the familiar dichotomies. // Dietrich, Rainer & Carl Friedrich Graumann (eds.) *Language Processing in Social Context*. North Holland: Elsevier Publishers, 1989.
18. *Grammatical Constructions: Back to the Roots*. Amsterdam/ Philadelphia: Benjamins, 2005.
19. Goldberg A. *Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure*. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
20. Goldberg A. *Constructions at Work: the nature of generalization in language*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

STYLISTICALLY MARKED RUSSIAN VERBS: THE CASE OF *SOVAT'* – *SUNUT'*.

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 73–92. DOI 10.17223/19986645/35/7
 Rakhilina Ekaterina V., Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation); V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).
 E-mail: rakhilina@gmail.com

Keywords: lexical semantics, Russian language, stylistics, semantic motivation, derivational patterns, prefixes, verbs of putting.

The paper deals with the morphosyntactic and stylistic properties of the Russian verb *SUNUT'* ('to shove') and argues for their semantic motivation. *SUNUT'* is usually considered as one of "putting verbs" (denoting change of location), but it has some peculiarities in its syntax, derivational patterns, semantics and stylistics. Unlike other verbs of this taxonomic class, *SUNUT'* profiles the way the object is transferred to the final location, but not the location itself. It implies that after the object is

rapidly moved by the human hand, the hand is quickly removed from the final location of the object. The idea of incompleteness which arises due to the component of high speed is responsible for low-register uses of SUNUT'.

It is shown that the component of low register disappears in the context of some prefixes, like PRO-, which change the semantic profile of the lexical item. However, ZA- or POD- derivatives inherit the original stylistic register of SUNUT' and enrich it with additional implicatures emerged from their meaning ('putting far away' --> 'without enough control' + low register; 'putting under' --> 'secretly' + low register).

Low register is also inherited by two reflexive derivatives of SUNUT': SUNUT'SIA ('to tamper') and SOVAT'SIA ('to horn in'). The results of the corpus study (based on the data of Russian National Corpus, www.ruscorpora.ru) presented in the paper demonstrate that previously the reflexive and non-reflexive forms of SUNUT' were not stylistically marked and occurred in neutral surroundings. No earlier than in the 19th century the reflexive forms SUNUT'SIA and SOVAT'SIA denoted impatient motion of a human being in different directions. In most cases that was motion forward from the initial position. Interestingly, the forms were also used in contexts of polite request, which proves they were not marked stylistically. The gradual effect of lowering of the register took place within the interval of one century; it represents a clear case of a semantic shift affecting these derivatives.

The non-reflexive verb SUNUT' displays an unusual semantic development: along with 'putting', in Modern Russian, it can denote 'giving', 'showing' and 'hitting'. The final part of the paper argues that the corresponding shifts (no matter how unusual they look) are motivated by regular syntactic patterns of SUNUT'. The most complicated is the shift from 'putting' to 'hitting'. The verb undergoes radical syntactic reinterpretation and becomes intransitive.

However, the mechanism of this shift is fully transparent as it is shown in the article.

References

1. Bowerman M., Choi S. *Space under construction: Language-specific spatial categorization in first language acquisition*. In: Gentner D., Goldin-Meadow S. (eds.) *Language in mind: Advances in the study of language and thought*. Cambridge: MIT Press, 2003, pp. 387–427.
2. Levontina I.B., Shmelev A.D. *Maloizuchennyye edinitsey so znacheniem nezadannosti kriteriev vybora v russkom yazyke* [Understudied units with the meaning of unspecified selection criteria in the Russian language]. In: Arutyunova N.D. (ed.) *Logicheskyy analiz yazyka: kvantitativnyy aspekt* [Logical analysis of language: quantitative aspect]. Moscow: Indrik Publ., 2005.
3. Zaliznyak A.A. *Opyt modelirovaniya semantiki pristavochnykh glagolov v russkom yazyke* [Experience of modeling the semantics of prefixal verbs in the Russian language]. *Russian Linguistics*, 1995, v. 19, pp. 143–185.
4. Zaliznyak A.A. *Mnogoznachnost' v yazyke i sposoby ee predstavleniya* [Polysemy in the language and methods of its expression]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ., 2006. 672 p.
5. Plungyan V.A. *Pristavka pod- v russkom yazyke: k opisaniyu semanticheskoy seti* [Prefix pod- in Russian: a description of the semantic network]. *Moskovskiy lingvisticheskiy zhurnal*, 2001, v. 5, no. 1, pp. 95–124.
6. Yanko-Trinititskaya N.A. *Vozvratnye glagoly v sovremennom russkom yazyke* [Reflexive verbs in modern Russian]. Moscow: USSR AS Publ., 1962. 247 p.
7. Say S.S. *K tipologii antipassivnykh konstruktsey: semantika, pragmatika, sintaksis*. Diss. kand. filol. nauk [On the typology of anti-passive constructions: semantics, pragmatics, syntax. Philology Cand. Diss.]. St. Petersburg, 2008.
8. Plungyan V.A. *Obshchaya morfologiya* [General morphology]. Moscow: Editorial URSS Publ., 2000. 384 p.
9. Genyushene E.Sh., Nedyalkov V.P. *Tipologiya refleksivnykh konstruktsey* [Typology of reflexive constructions]. In: Bondarko A.V. (ed.) *Teoriya funktsional'noy grammatiki. Personal'nost'. Zalogovost'* [The theory of functional grammar. Person. Voice]. St. Petersburg: Nauka Publ., 1991.
10. Baranov A.N., Dobrovol'skiy D.O., Kiseleva K.L. et al. *Slovar'-tezaurus sovremennoy russkoy idiomatiki* [Thesaurus of modern Russian idiom]. Moscow, Mir entsiklopediy Avanta+ Publ., 2007.
11. Krys'ko V.B. *Istoricheskiy sintaksis russkogo yazyka. Ob'ekt i perekhodnost'* [The historical syntax of the Russian language. Object and transitivity]. Moscow: Indrik Publ., 1997. 424 p.
12. Kustova G.I. *Proizvodnye znacheniya s eksperientsial'noy sostavlyayushchey* [Derivative meanings with an experience component]. *Semiotika i informatika*, 1998, no. 36.

13. Kustova G.I. 2004. *Tipy proizvodnykh znacheniy i mekhanizmy yazykovogo rasshireniya* [Types of derivative meanings and mechanisms of language extension]. Moscow: Yazyki slavyanskoj kul'tury Publ., 2004. 472 p.
14. Bonch-Osmolovskaya A.A., Rakhilina E.V., Reznikova T.I. *Glagoly boli: leksicheskaya tipologiya i mekhanizmy semanticheskoy derivatsii* [Verbs of pain: lexical typology and mechanisms of semantic derivation]. In: Britsyn V.M., Rakhilina E.V., Reznikova T.I., Yavorskaya G.M. (eds.). *Kontsept bol' v tipologicheskom osveshchenii* [The concept of pain: on the typology]. Kiev: Vid. dim Dmitra Burago Publ., 2009, pp. 8–27.
15. Rakhilina E.V., Reznikova T.I., Bonch-Osmolovskaya A.A. *Tipologiya preobrazovaniya konstruktsiy: predikaty boli* [Typology of construction conversion: predicates of pain]. In: Rakhilina E.V. (ed.) *Lingvistika konstruktsiy* [Linguistics of constructions]. Moscow: Azbukovnik Publ., 2010.
16. Rakhilina E.V., Reznikova T.I., Karpova O.S. 2010. *Semanticheskie perekhody v atributivnykh konstruktsiyakh: metafora, metonimiya i rebrending* [Semantic changes in attributive constructions: metaphor, metonymy and rebranding]. In: Rakhilina E.V. (ed.) *Lingvistika konstruktsiy* [Linguistics of constructions]. Moscow: Azbukovnik Publ., 2010.
17. Fillmore Ch. *Grammatical construction theory and the familiar dichotomies*. In: Dietrich R., Graumann C.F. (eds.) *Language Processing in Social Context*. North Holland: Elsevier Publishers, 1989.
18. Fried M., Boas H.C. (eds.) *Grammatical Constructions: Back to the Roots*. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2005.
19. Goldberg A. *Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure*. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
20. Goldberg A. *Constructions at Work: the nature of generalization in language*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

УДК 81'28+811.112.2
DOI 10.17223/19986645/35/8

Н.В. Трубавина

СЕМАНТИКА ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ В ОСТРОВНЫХ НЕМЕЦКИХ ГОВОРАХ АЛТАЯ¹

Целью статьи является описание специфики функционирования подчинительных союзов в устной речи носителей островных верхне- и нижненемецких говоров Алтайского края. Исследование проводится на обширном материале, собранном в ходе экспедиций в немецкие села Алтай в 2003–2013 гг., с привлечением методов сопоставления и контекстного анализа. Автор описывает основные семантические группы подчинительных союзов, выявляет наиболее частотные союзы в каждой группе и разбирает их основные особенности.

Ключевые слова: синтаксис, подчинительные союзы, немецкие диалекты, островные немецкие говоры, Алтайский край.

В последнее время становится все более актуальной проблема сохранения родного языка и культуры этнических немцев на территории бывшего Советского Союза. В силу ряда экономических, политических и социальных причин резко возрастает ассимилирующее воздействие языка окружения на островные немецкие говоры. Происходит все более ускоряющаяся смена языка коммуникации в пользу русского языка [1. С. 6]. Несомненно, что в этих условиях островные немецкие говоры Алтайского края нуждаются в неотложном многостороннем описании. Часть современных островных немецких говоров, бытующих на территории бывшего СССР, уже описана, хотя и далеко не все. Огромное число поселений российских немцев не попало в поле зрения исследователей. Чаще описания проводятся в одном аспекте, причем различные уровни языковой системы переселенческих говоров исследованы неравномерно. До последнего времени диалектология занималась в основном фонетикой, морфологией и лексикологией, лишь иногда касаясь области синтаксиса [2]. Среди ученых, так или иначе обращавшихся к проблематике синтаксиса островных немецких говоров, Г.Г. Едиг, Н.А. Пирогов, Н.Н. Степанова, Н.В. Трубавина, И.Г. Гамалей, Н.А. Ермакина. При этом союзы как часть речи предметом специального исследования до сих пор не выступали. Частично средства связи частей сложного предложения в островных немецких говорах затрагиваются в работах Г.Г. Едига (нижненемецкие говоры) и Н.В. Трубавиной (верхненемецкие говоры), посвященных изучению придаточных предложений [3, 4], а также в диссертации Н.А. Пирогова, посвященной синтаксису современной нижненемецкой диалектной литературы» [5. С. 31–35]. Состав, семантика, структура как сочинительных, так и подчинительных союзов островных немецких говоров Алтайского края до настоящего времени не получили исчерпывающего описания.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 12-04-00360 «Текстовый корпус немецких диалектов на Алтае».

Настоящая статья посвящена изучению семантики подчинительных союзов в островных немецких говорах Алтайского края – классов служебных слов, оформляющих синтаксические зависимости одной предикативной единицы от другой [6. С. 484]. Вопрос о семантике союзов как части речи в лингвистической литературе не имеет однозначного решения: одни отрицают наличие у союзов лексического значения и относят их к классу неполнозначных или пустых слов, не имеющих семантической функции [7. С. 335]. Союзы в таком случае рассматриваются либо как «чистая, абсолютная форма» без содержания [8. С. 217], либо как маркер синтаксических отношений «имеющий значение не сам по себе, а как выразитель того или иного сочетания, как словесное обнаружение такого сочетания» (цит. по: [9. С. 578]). Более обоснованной представляется противоположная точка зрения, представители которой, признавая отсутствие у союзов номинативной функции, рассматривают их как носителей особого квалифицирующего или уточняющего значения, благодаря которому они не только выражают подчинительную связь, но и выявляют семантику этой связи [10. С. 293; 11. С. 121–122]. Подобно грамматическим значениям союзы выражают наиболее общие отношения, но не изменением грамматической формы, а собственным лексическим значением [12. С. 373].

Как и в современном литературном немецком языке, союзы в островных немецких говорах Алтайского края являются основным маркером подчинительной и сочинительной связи, одновременно конкретизируя отношения между соединяемыми предложениями или их членами. При этом система союзов в говорах выражает определенное своеобразие по сравнению как с современным литературным немецким языком, так и с устной разговорной речью, а также с диалектами на территории Германии.

Семантика подчинительных союзов в рассматриваемых говорах менее разнообразна, чем в современном литературном немецком языке, тем не менее они имеют определенный круг лексически выраженных значений, посредством которых уточняют характер связей в предложении. При этом одни союзы узко специализированы, однозначны: *weil*, *hot'*, *solange*, их значение зависит от контекста в минимальной степени. Другие же союзы многозначны, полисемичны: *wi*, *wo*, *tass* /*daut* /*dot*, значения этих союзов реализуются в контексте, оформляя различные виды смысловых отношений.

По значению среди подчинительных союзов в островных немецких говорах Алтая можно выделить практически те же основные классы, что и в современном немецком языке: союзы, выражающие содержание речи и мысли, временные отношения, причину и следствие, цель, условие, сравнение и уступку, а также выражающие атрибутивные отношения союзы.

Одну из самых многочисленных групп среди подчинительных союзов в островных немецких говорах Алтая представляют **временные союзы**, отличающиеся разнообразием в отношении формы и оттенков значения. В зависимости от вводимой ситуации все темпоральные союзы в говорах можно разделить на две семантические группы: союзы, выражающие отношения одновременности и союзы, выражающие разновременность. При этом если в литературном немецком языке отношения одновременности и разновременности передаются с помощью подчинительных союзов в сочетании с соот-

ношением временных форм [13. С. 697; 14. С. 582–584; 15. С. 361], то в рассматриваемых говорах функциональная нагрузка временных союзов изменяется вследствие переноса на них функции выражения дифференцированных временных отношений в результате интенсивных процессов изменения системы временных форм глагола.

Для передачи отношений одновременности употребляются союзы *wi*, *wann* / *wonn* / *wänn* / *wannscht* / *wonnscht*, а также союз *solong*, который почти всегда выступает в сочетании с другим союзом. Основным и наиболее частотным в этой группе союзов является союз *wenn*, встречающийся в фонетических вариантах *wann* / *wonn* / *wänn* / *wannscht* / *wonnscht*:

Ннем.: *Wann de Mäschin bluse däit, dann woite se olla dot fendogh es T'ast büte.* = Wenn das Auto hupt, dann wissen sie alle, dass es heute Hochzeit gibt.

Внем.: *Wonn te Peder von ti Schul kommt, ruht er sich.* = Wenn Peter von der Schule kommt, ruht er sich aus.

С помощью данного союза выражается связь двух ситуаций, во временном отношении протекающих параллельно друг другу. В отличие от современного литературного немецкого языка в верхненемецких говорах данный союз может передавать как многократное, так и однократное действие в настоящем, прошлом и будущем:

Внем.: *Jedesmol, wonn ich tes Puuch les, tenk ich on moi Kinnhait.* = Jedesmal, wenn ich dieses Buch lese, denke ich an meine Kindheit.

Wonn ich hoom pa moi Elder fahr, nehme ich immer moi Utschebniki mit. = Wenn ich nach Hause zu meinen Eltern fahre, nehme ich immer meine Bücher mit.

Wonn me triwe ware, ti Krenz triwe schunt, in Polscha kummt schon etwa Wech. = Als wir drüben waren, über der Grenze schon, kam in Polen schon etwa Weg.

Лексические конкретизаторы *jedesmol*, *immer*, стоящие в главном предложении, дифференцируют семантику союза *wann* / *wonn* / *wänn* / *wannscht* / *wonnscht*, подчеркивая повторяемость выражаемого им действия.

Для обозначения однократного действия в прошлом в верхненемецких говорах используется союз *wi*, в нижненемецких говорах союз *os* (в современном литературном немецком языке соответствующее значение выражается союзом *als*):

Внем.: *Wi ich te Ouwent hoom komme pin, hen mich schunt moi Froinde kwart.* = Als ich abends nach Hause gekommen war, haben mich schon meine Freunde erwartet.

Escht wi ich jinger war, war ich rawnoduschna zu tene Plumen. = Zuerst, als ich jünger war, war ich gleichgültig zu denen Blumen.

Ннем.: *Os dei dem Rezappt den Dokta weis, word fuz olles kloa.* = Als sie das Rezept dem Doktor zeigte, war alles sofort klar.

Dot wi ne oule Schoul, en os se ne nie büte, dann nome se det. = Das war eine alte Schule, und als sie eine neue gebaut hatten, dann nahmen sie das.

Другим частотным союзом для выражения отношений одновременности является союз *solong*, указывающий на равную продолжительность одновременно протекающих действий главного и придаточного предложений:

Внем.: *Solong wi me jetzt noch so sin, mer kenn noch schawe.* = Solange wir jetzt noch so sind, können wir noch arbeiten.

Solong wi te Wech zu is, musem tes umfahre. = Solange der Weg zu ist, muss man den umfahren.

Ннем.: Bi ons wortet bot nü tö, wins, solang os hia dise Mensche wire, wot hia wune doide, doi starije Shiteli, wire äma viil Mensche ap em Bejerafnes. = Bei uns war das bis jetzt zu, weil, solange hier diese Menschen waren, welche hier gewohnt hatten, die alten Einwohner, waren immer viele Menschen bei dem Begräbnis.

Как видно из примеров, данный союз образует комбинации с другими союзами: solong wi, solang os, sou lang ous, solang bot. На территории Алтайского края данный союз зафиксирован как в верхненемецких, так и в нижненемецких островных говорах [16]. Употребление составного подчинительного союза *so lang wi* отмечено и в островных немецких говорах стран Европы [17. С. 57], а также в диалектах на территории Германии [18. С. 137; 19. С. 137]. Кроме того, комбинация союзов *solange wie* широко реализуется и в разговорном гипотаксисе немецкого языка [20. С. 124]. Все это ставит под сомнение предположение о том, что союз *solange* в островных нижненемецких говорах Алтайского края заимствован из литературного немецкого языка [3. С. 18].

Союзы для выражения отношений одновременности в островных немецких говорах Алтая могут иметь значение предшествования или следования одного действия за другим, характеризуя отношения между действиями с разных сторон:

Er hot ti Maschiin kefillt, ehp se kfahre sin. = Er hatte das Auto getankt, ehe sie fuhren.

Se sin kfahre, noch tes wi er ti Maschiin kefillt hot. = Sie fuhren, nachdem er das Auto getankt hatte.

Следование выражается союзами *ehp / ehpst / ehpscht / eja / oja / oja os, verem / vorcher / tevor, vor tes wi / ver daut wi / ver dem dot / vor tem tass, von dann os, bis /pis /piste /pischt /bet /bot*. Все союзы данной группы употребляются в значении «перед тем как», «прежде чем», «до того, как». В сложных предложениях с союзами следования действие главного предложения происходит раньше действия придаточного, следующего за ним:

Внем.: Er hot schon alles kewusst, tevor ich te Maol ufkemacht hun. = Er hatte schon alles gewusst, bevor er das Maul aufmachte.

Ннем.: Dü motst de Hüüsofgabe moke, eja dü jeist. = Du musst die Hausaufgabe machen, ehe du gehst.

Союз *bis /pis /piste /pischt /bet /bot* указывает на то, что действие, описанное в главном предложении, продолжается лишь до начала действия придаточного предложения:

Внем.: Pis er recht gekocht hot, hun ich Kartowel keschält, o pissje Riwe, Keliwe, hun ich tes alles noikeschmise. = Bis es recht gekocht hatte, habe ich Kartoffeln geschält, ein bisschen Rübe, Mohrrübe, habe ich das alles hineingeschmissen.

Ннем.: Blous rene Sarplata, dan bloiv duo nech viil, bot se han en tred' fohre, fu dot Kontore tule en ite en olle Sorte. = Bloß reines Gehalt, dann bleibt da nicht viel, bis sie hin und zurückfährt, für das Büro zahlt und für das Essen und so weiter.

Нередко данный союз выступает в сопровождении отрицательной частицы *net* = *nicht* или отрицательного местоимения *ko* = *kein*, *keine*. В современ-

ном литературном немецком языке отрицание данному типу придаточных предложений не свойственно. Оно появляется под воздействием соответствующей русской конструкции *пока не*:

Внем.: Ehr kennt paar Taghe pa uns wohne, pis ehr sich ko Haos fint. = Ihr könnt paar Tage bei uns wohnen, bis ihr sich ein Haus findet.

Pis ich te Prifung net apkewe hun, kann ich nirgens net hinfahre. = Bis ich die Prüfungen abgegeben habe, kann ich nirgendwohin fahren.

Для выражения следования в верхненемецких говорах может быть также использован полифункциональный союз *wi*, значение которого нередко уточняется лексическими конкретизаторами:

Внем.: Wi ich mit moi Arwait ferdig war, hun ich ten Frint keholwe. = Nachdem ich mit meiner Arbeit fertig war, habe ich dem Freund geholfen.

Kraat wi ich oikeschlouwe pin, hot te Telefon kerabbelt. = Sobald ich eingeschlafen bin, hat das Telefon geklingelt.

Wi te Fisch kekliit hot, is er klaich in Lotke komme. = Sobald der Fisch gebissen hat, ist er gleich ins Boot gekommen.

В приведенных примерах семантическая ограниченность многозначного союза восполняется употреблением наречий *kraat* и *klaich*, которые подчеркивают, что действия происходят сразу одно за другим.

Появление в говорах составного союза *vor tes wi /ver daut wi /ver dem dot /vor tem tass; von dann os*, который встречается преимущественно в речи младшего поколения информантов, объясняется влиянием русского языка: данный союз образован путем точного перевода русского союза «*перед тем как*»:

Внем.: Ich muss mich escht rasire, vor tes wi mer kehe. = Ich muss mich zuerst rasieren, bevor wir gehen.

Ннем.: Vere dot wach'fore, guht ischt en de Loftje. = Bevor wir wegfahren, geht man erst in den Laden.

Аналогичную схему построения имеет сложный союз *nu dem dot / nu dem os /noch tem wu (wi) /nume dann*, употребляемый для выражения отношений предшествования:

Внем.: Ich war peis, noch tes wi si traimol kesaat hot «Fahr sachtiger!» = Ich war böse, nachdem sie dreimal gesagt hatte «Fahr sachter!»

Ннем.: Wi sehe din mou seja wenig, nu dem os di send hijetrocke. = Wir haben sie selten gesehen, nachdem sie übergesiedelt sind.

Данный союз предположительно появляется в говорах в результате калькирования русского подчинительного союза «*после того как*».

Помимо упомянутого калькированного союза *nu dem dot /nu dem os /noch tem wu (wi) /nume dann* предшествование в рассматриваемых говорах может выражаться союзами *os*, *wi*, а также составным союзом *wann... futs, krat... so*.

В нижненемецких говорах в этом значении получает широкое распространение союз *os*:

Ннем.: De Oula wi lang krank, os hei met det Peed on'a Iis jen't'. = Der Alte war lange krank, als (nachdem) er mit dem Pferd unters Eis ging.

Как и в верхненемецких говорах, для уточнения значения союза могут использоваться лексические конкретизаторы:

Ннем.: Es vāja oda fiif W'et' rom, von donn os hei storw. = Sind vier oder fünf Wochen rum, seitdem er starb.

В одном из верхненемецких примеров нам встретилось также употребление союза *sobald* для выражения отношений предшествования:

Внем.: Sobald te Salz truf, konn me ese. = Sobald das Salz darauf ist, kann man essen.

Однако единичность употребления данного союза и знание респондентом современного литературного немецкого языка позволяют предположить, что выражение предшествования посредством союза *sobald* рассматриваемым говорам не свойственно. Скорее всего, это является следствием интерференции литературного немецкого языка, что подтверждает и опрос носителей говора: остальные респонденты не знают союз *sobald* совсем или не употребляют его в речи.

Для выражения отношений причины островные немецкие говоры располагают гораздо меньшим количеством союзов: *wail / weil / wils / winst*, *ras*. Как и в современном литературном немецком языке, основным союзом, выражающим причинную связь между ситуациями, является союз *wail / weil / wils / winst*. Действие придаточного предложения, вводимого данным союзом, описывает обстоятельство, служащее основанием (поводом) для действия, описываемого главным по составу предложением:

Внем.: Ich hun alles keheert, wail ich tenewich kestone hun. = Ich habe alles gehört, weil ich daneben gestanden habe.

Wail ich miid war, pin ich oikeschlouwe hinich ti Picher. = Weil ich müde war, bin ich eingeschlafen hinter den Büchern.

Ннем.: Poita t'aft schmoke Blöme, winst dim sine Ma hat Jeburstag. = Peter kauft schöne Blumen, weil seine Mutter Geburtstag hat.

Причинные отношения в сложноподчиненном комплексе могут передаваться и союзами *wi* и *wo /wu*, сохранившими значение каузальности, характерное для ранних периодов развития языка. Зависимая предикативная конструкция в таких случаях обычно стоит перед главным предложением:

Внем.: Un wi s n Kriich war, ten Kerl hen se keschöse. = Und da es Krieg war, den Kerl haben sie geschossen.

Ннем.: Wo me in Russlond wohnt, tut es ten tak ws'o rawno weh. = Wenn man in Russland wohnt, tut es denn sowieso weh (so was zu hören).

Нам также встретилось употребление русского разговорного союза «*раз*» для подчинения придаточных предложений причины:

Mer tenge so, ras hot er so viil Schnaps ketrunge. = Wir denken so, weil er so viel Schnaps getrunken hat.

Иногда для передачи причинных отношений респонденты употребляют сложные союзы *wege tes*, *tass /wege tes*, *wail*, появление которых в говорах предположительно связано с влиянием русского языка:

Внем.: Schun wege tes, tass er tes Puch keschriwe hot, is er pukonnt kewore. = Schon deswegen, dass er das Buch geschrieben hat, ist er bekannt geworden.

Ich traа Prill, wege tes, wail ich schwach seh. = Ich trage Brille, weil ich schlecht sehe.

Построения такого типа сходны с причинными конструкциями в русском языке, что позволяет предположить, что данные составные союзы построены по схеме русского союза «из-за того, что».

Для выражения отношений цели используются союзы *tass /dot /daut, tass hot', om dot /em daut, sau daut /so tass /so dass*. Действие присоединяемого данными союзами придаточного предложения рассматривается как желаемое, предполагаемое, должное, выражает намерение, цель, надежду:

Внем.: *Vuzähl pissje laoder, tass ich tich vustehe.* = *Sprich bisschen lauter, dass ich dich verstehe!*

Ннем.: *Wi ha olles vekooft, det doi konn sech liire.* = *Wir haben alles verkauft, dass er lernen kann.*

Как и в современном немецком языке, реализуя целевое значение, полисемичный союз *tass / dot / daut* выражает обусловленность, при которой действие в придаточном предложении выступает как реальный или потенциальный результат действия главного предложения. В островных немецких говорах Алтая данный союз нередко употребляется в сочетании с заимствованной из русского языка частицей «хоть», преимущественно для выражения желания в настоящем и будущем:

Внем.: *Mer hade alles vukawe, tass mer hot' o kloone Pissje Kelt hen.* = *Wir hatten alles verkauft, damit wir wenigstens ein kleines Bisschen Geld haben.*

Союз *tass / dot / daut* является и самым распространенным средством передачи отношений следствия в говорах:

Внем.: *Un hia is o arich scheines Kebet, awer to kuck ich schun konz schwach, tass ich net arich konn lese.* = *Und hier ist ein sehr schönes Gebet, aber da sehe ich schon ganz schlecht, dass ich nicht gut lesen kann.*

Awer mondje Lait kenne tes net lose, tass se tort sterwe kenne. = *Aber manche Leute können das nicht aushalten, so dass sie dort sterben können.*

Реже отношения следствия выражаются союзом *so tass / sou dat = so tass*:

Внем.: *Siibzehn Johr hun ich kearwait Sanitarkoj w Roddome, so tass ich tes waiß un hun net omool kesehe.* = *Siebzehn Jahre habe ich als Krankenschwester im Entbindungsheim gearbeitet, so dass ich das weiß und nicht einmal das gesehen habe.*

Оба союза указывают на непосредственный результат действия в главном предложении.

Из многочисленных союзов, используемых в современном литературном немецком языке для выражения уступительных отношений, в речи носителей говора встречается лишь союз *wenn ... uk /wann ook /wenn ach /wann ... ok /woun uk /wonn aach = wenn auch*, называющий ситуацию, вопреки которой осуществляется действие главного предложения:

Внем.: *Wonn si ti taitsche Namen aach hen, sin si ko Taitsche.* = *Wenn sie auch deutsche Namen haben, sind sie keine Deutschen.*

Ннем.: *De Älste ju, met dine jejt tu ride, wann soi uk nech krait olles vlächt je-ripe, uba met din jejt.* = *Die Ältesten ja, mit denen geht es noch zu reden, wenn sie auch nicht gerade alles vielleicht verstehen, aber mit denen geht es.*

С данным союзом в говоре успешно конкурирует заимствованный из русского языка разговорный союз *hot'* в том же значении:

Внем.: Ich tenk net, tass es so is, hot' Paol so nastaiwaje. = Ich denke nicht, dass es so ist, obwohl Paul so darauf besteht.

Ннем.: Hot' doi hod viil Obet, uba doi fund fe ons Tiit. = Obwohl er viel Arbeit hatte, hat er für uns doch Zeit gefunden.

Значение сравнения передается в говорах союзами wi; kabudto; os / als / wai / als wann (wonn). В верхненемецких говорах для сравнения как равнозначных, так и неравнозначных действий, качеств и состояний употребляется союз wi. Подчинительный союз als, используемый в современном литературном немецком языке при сравнении неравнозначных действий (состояний, качеств), носителями говоров не употребляется:

Внем.: Ter hot nix uf, is nagich, hot ko Prodje, so wi mer ran'sche kelebt hun. = Der hat nichts an, ist nackt, hat kein Brot, so wie wir früher gelebt haben.

Mer vustehe tes pesser, wi si s tenge tue. = Wir verstehen es besser, als sie denken.

Носители нижненемецких говоров Алтайского края в сравнительных предложениях чаще всего употребляют союз os /als:

Dot Buuk wi nech so interessont, os wi dachte. = Das Buch war nicht so interessant, als wir dachten.

Нереальное сравнение в рассматриваемых говорах выражается при помощи союза als wonne (wann), при этом сказуемое зависимой предикативной конструкции стоит в конъюнктиве:

Внем.: Mer turfte net uf ti Kass, als wonne mer Faschisty wäre. = Wir durften nicht auf die Straße, als wenn wir Faschisten wären.

Действия, сравниваемые с помощью данного союза, не равнозначны, не эквивалентны, а только кажутся таковыми.

Для выражения отношений условия в островных немецких говорах Алтая используются союз wann /wonn /wänn, а также многозначный союз wi. Кроме того, иногда можно встретить сочетание in Fall wonn в значении «in dem Falle, wenn»:

Внем.: In Fall wonn ich ti Exameny net apkef, fahr ich net hoom. = In dem Falle, wenn ich die Prüfungen nicht ablege, fahre ich nicht nach Hause.

Самый употребительный в данной группе союз wann /wonn /wänn носит условно-предположительный характер: действие реализуется только в случае выполнения какого-либо условия:

Внем.: Wonn noch was passiat, rabl ich tich on. = Wenn noch etwas passiert, ruf ich dich an.

Wonn ti Tochta noch fahrt, wo plaip ich tenn? = Wenn die Tochter noch fährt, wo bleibe ich denn?

Ннем.: Wenn et' wust, det dü hiir wuhnst, wu et' soulang jekume sene. = Wenn ich wüsste, dass du hier wohnst, wäre ich schon lange gekommen.

Употребление заимствованной из русского языка частицы «бы» придает союзу значение недоверности, нереальности ситуации:

Внем.: Wonn by wär mejne Regh'er, täide me on raicherer Uroshai zommerome. = Wenn es mehr Regen wäre, hätten wir bessere Ernte gesammelt.

Как и в гипотаксисных построениях с отношениями времени, в зависимых предикативных конструкциях условия союз может предвосхищать окончание 2-го лица единственного и множественного числа глагола:

Внем.: Wonnste ti Uroge kemacht host, kennstu kehe, wostu hin willst. = Wenn du die Hausaufgaben gemacht hast, kannst du gehen, wohin du willst.

Wonndr keht uf ten Wech, to kehdr in ti Schuul. = Wenn ihr geht diesen Weg, so kommt ihr in die Schule.

Определительные отношения реализуются в островных верхненемецких говорах Алтая преимущественно при помощи союзного слова *wo* / *wu*, нередко в сочетании с относительными местоимениями, например:

Внем.: Tes sin Lait, ti wostu Kelt kelije host. = Sind das die Leute, denen du Geld geliehen hast?

Ich kehe ti Lait aus te Wech, wo mich net kefalle. = Ich gehe den Leuten aus dem Weg, die mir nicht gefallen.

Встречаются также примеры с союзами *tass* и *ob*, например:

Внем.: Were viillaicht Zait komme, tass mer wohl lewe. = Wird vielleicht Zeit kommen, wenn wir wohl leben.

Ti Frouch, op es wohr is, lost mich net in Ruhe. = Die Frage, ob es wahr ist, lässt mich nicht in Ruhe.

Носители говора избегают употребления относительного местоимения *welcher* / *welches* / *welche*, а также комбинации предлогов с относительными местоимениями *ter*, *ti*, заменяя их по возможности союзным словом *wo*/*wu*:

Внем.: Un ti zwait Schwester, wo kestorwe is, ti hot siwe Klass keendigt. = Und die zweite Schwester, die gestorben ist, die hatte sieben Klassen beendet.

Mer hade n krous Stuup, wo alle keschlouwe un kekese hen. = Wir hatten eine große Stube, in der alle geschlafen und gegessen haben.

Es weat pa uns in Klup n Ouwent kemacht, wo sich ti Junge zammeromme. No kehe aach ti äldere Lait hin. = Es wird bei uns im Klub ein Abend veranstaltet, zu dem sich die Jugendlichen versammeln, aber es gehen auch die älteren Leute dort hin.

Использование данного союза было характерно для более ранних периодов развития немецкого языка [21. С. 232–233]. В современном литературном немецком языке данный союз неупотребителен, однако он сохранился сегодня в разговорной и диалектной речи, где нередко употребляется в качестве всеобщего показателя относительного подчинения [22. С. 378; Post. С. 136; 20. С. 118].

Возможно также употребление союзного слова *wo*/*wu* с предлогом:

Un tes Jahr, iwer wo ich tes Kelt zomme hun keroppt, in tes Jahr hun ich mich zwai Kilo Panane kaaft un o Kilo Äbel. = Und das Jahr *über*, in dem ich das Geld gesammelt habe, in dem Jahr habe ich mir zwei Kilo Bananen gekauft und ein Kilo Äpfel.

В данном случае мы можем наблюдать ослабление синтаксической связи в предложной группе «tes Jahr iwer» = «das Jahr über», в результате которого предлог *iwer* примыкает к союзному слову *wo*, вводящему придаточное предложение.

В нижненемецких островных говорах в данных значениях союз *wo* не встречается. В речи носителей он выступает эквивалентом немецкому литературному союзу и наречию *wie*:

Ннем.: Wo schud mi dot nech es, konn et' noscht moke. = Wie schade mir das auch ist, kann ich nichts machen.

Et' ha nech jefrougt, wo lang di en Ditschlond wuhne. = Ich habe nicht gefragt, wie lange die in Deutschland wohnen.

Небольшая по численности группа изъяснительных союзов представлена одним из самых частотных союзов – союзом tass / daut / dot, выражающим содержание речи и мысли, и довольно редко встречающимся союзом ob, соединяющим придаточное предложение с косвенным вопросом:

Внем.: Si wille ach, tass pa tene ach alles schej is. = Sie wollen auch, dass bei denen auch alles schön ist.

Ннем.: Doi Predprinimatel', doi hod din vesprocke, dot doi din wut ärent wo hanschete, wude se ne Put'ovka t'ri. = Der Unternehmer, der hat denen versprochen, dass er sie irgendwohin schickt, dass sie eine Reise kriegen werden.

С точки зрения семантики данная группа союзов не обнаруживает никаких особенностей по сравнению с современным литературным немецким языком: это наименее наполненные значением союзы.

Таким образом, подчинительные союзы в островных немецких говорах Алтайского края отличаются вариативностью форм и распределяются по девяти основным классам в зависимости от семантики и выполняемых функций – временные, причинные, цели и следствия, уступки, сравнения, условные, определительные и изъяснительные:

**Состав союзов в островных немецких говорах Алтая
в сравнении с современным литературным немецким языком**

Выражаемая семантика	Островные немецкие говоры	Лит. нем. язык
1	2	3
Отношения времени: одновременность	wann /wonn /wänn /wannscht / wonnscht os solong/solang, soulang, aber: sau lang solong wi / solang os solang bot bet wi	wenn als solange während indem, indes(sen) sobald sooft wie, sowie
Отношения времени: пред- шествование	nu dem dot / nu dem os / noch tem wu (wi) / nume dann wann wi os wann ... futs krat ... so	nachdem als sobald seit, seitdem wie, sowie sooft wenn kaum dass
Отношения времени: следование	ehp/ehpst/ehpscht/eja/oja oja os verem/vorcher/tevor bis/pis/piste/pischt/bet/bot pis net vor tes wi / ver daut wi / ver dem dot / vor tem tass wi / nort wi sobald von dann os	ehe bis bevor
Причина	wils / wail / weil / winst ras wi wo /wu	weil da zumal (da), um so mehr als dafür, dass

Окончание таблицы

1	2	3
Следствие	tass / daut soa ... tass	dass, so-dass, so dass um – zu, zu zu-als-dass wie
Цель	tass / daut tass hot' om dot/em daut sau daut / so tass / so dass	dass damit auf dass um - zu
Условие	wi wann / wonn / wänn	wenn, auch wenn wofern, sofern falls außer wenn, es sei denn... je...desto/um so je nachdem, ob, je nachdem, w-
Сравнение	wi os / als / wai / als wann (wonn) kabudto	wie als, als ob, als wenn gleichwie sowie, so-wie wie wenn
Уступка	wenn ... uk / wann ook / wenn ach / wann .. ok / woun uk / wonn aach hot' obwi wann dashe	wenn auch obgleich, obwohl, obschon, obzwar wenngleich, wensschon trotzdem
Содержание речи/мысли	tass / daut / dot ob	dass, außer dass, nu dass ob was... insofern soviel soweit wobei
Атрибутивные отношения	wo /wu	Только относительное подчинение
Противительные отношения	не зафиксированы	während
Способ совершения действия	не зафиксированы	indem dadurch-dass, so-dass wobei ohne zu, ohne dass statt außer dass, außer zu

В целом семантика этих классов соответствует современному литературному немецкому языку, за исключением союзов образа действия и противительных союзов, не представленных в рассматриваемых говорах, а также атрибутивного союза *wo/wu*, не характерного для современного немецкого языка. Однако наполняемость семантических классов в говорах иная, чем в литературном немецком языке – в синонимическом ряду союзов в диалекте остаются наиболее частотные и древние союзы, семантика которых в некоторой степени «стирается» и требует опоры на контекст: *врем.* *während*, *indem*, *sobald*, *sooft* → *wenn*; *условн.* *wenn*, *auch wenn*, *wofern*, *sofern*, *falls*, *außer wenn*, *es sei denn...* → *wie*, *wenn*; *уступит.* *wenn auch*, *obgleich*, *obwohl*, *obschon*, *obzwar*, *wenngleich*, *wensschon* → *wenn auch*. Это приводит к уменьшению количества союзов в рассматриваемых говорах, однако беднее состав

союзов не становится – в каждой из семантических групп присутствуют специфические диалектные союзы, нехарактерные для современного литературного немецкого языка: *wo / wu, um dass, verem / vorchet / tevor, von dann os, nu dem dot / nu dem os /noch tem wu (wi) /nume dann*, и др. Кроме того, состав союзов в говорах расширяется за счет фонетических вариантов (*ehe = ehpe/ehpst/ehpscht/eja/oja*), за счет способности союзов сочетаться друг с другом (*solange = solong, sau lang, solong wi, solang os, solang bot*), а также за счет заимствований из контактирующего русского языка: *hot', kabudto* и др.

Таким образом, при сходстве выражаемой семантики состав союзов островных немецких говоров Алтая существенно отличается от состава союзов современного литературного немецкого языка. Подчинительные союзы в островных немецких говорах Алтайского края не являются закрытым классом слов, что открывает широкое поле для дальнейших исследований.

Литература

1. Москалюк Л.И. Социолингвистические аспекты речевого поведения российских немцев в условиях билингвизма. Барнаул: Изд-во Барнул. гос. ун-та, 2000. 166 с.
2. Hilkes P. Zur Lage der deutschen Minderheiten in der Sowjetgesellschaft. München: Osteuropa-Institut, 1990. 15 S.
3. Едиг Г.Г. Придаточные предложения нижненемецкого говора Алтайского края: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1962. 39 с.
4. Трубавина Н.В. Особенности развития зависимых предикативных конструкций в островном верхненемецком говоре: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2003. 20 с.
5. Пирогов Н.А. Синтаксис современной нижненемецкой диалектной литературы: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1980. 27 с.
6. Языкознание: большой энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева; ред. кол. Н.Д. Арутюнова и др. 2-е изд., репринт. М.: Большая рос. энцикл., 1998. 685 с.
7. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / пер. с фр. И.М. Богуславского; авт. предисл. В.Г. Гак. М.: Прогресс, 1988. 654 с.
8. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении; [вступ. ст. Ю.Д. Апресяна; предисл. к 7-му изд. А.Б. Шапиро]. 8-е изд., доп. М.: Языки славянской культуры, 2001. 544 с.
9. Виноградов В.В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове) / под ред. Г.А. Золотовой, 4-е изд., М.: Рус. яз., 2001. 720 с.
10. Реформатский А.А. Введение в языковедение: учеб. для студентов филол. специальностей вузов / под ред. В.А. Виноградова. [5-е изд., уточн.]. М.: Аспект Пресс, 2000. 536 с.
11. Гулыга Е.В., Натанзон М.Д. Теория современного немецкого языка (грамматика). Ч. 2: Синтаксис. М.: Знание, 1959. 173 с.
12. Москальская О.И. Грамматика немецкого языка: теоретический курс: учеб. пособие для студентов / под ред. И. Шехтера. М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. 394 с.
13. Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim; Wien; Zürich: Bibliographisches Institut, 1984. 800 S.
14. Helbig G, Buscha J. Deutsche Grammatik. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1977. 629 S.
15. Schendels E.I. Deutsche Grammatik. Moskau: Verlag Hochschule, 1982. 400 S.
16. Москалюк Л.И., Трубавина Н.В. Лингвистический атлас немецких диалектов на Алтае: в 2 ч. Ч. 2. Барнаул: АлтГПА, 2011. 199 с.
17. Wild K. Syntax eingeleiteten Nebensätze in den "Fuldaer" Deutschen Mundarten Ungarns. Budapest: Akad.K., 1994, 257 S.
18. Weise O. Altenburger Mundart. Leipzig: Breitkopf&Händel, 1900. 164 S.
19. Post R. Pfälzisch. Einführung in eine Sprachlandschaft. Landau/Pfalz: Pfälzische Verlagsanstalt GmbH, 1992. 399 S.
20. Поликарпов А.М. Сложное предложение в синтаксисе немецкой разговорной речи. Архангельск: Помор. гос. ун-т. им. Ломоносова, 2000. 446 с.

21. Moskalskaja O.I. Deutsche Sprachgeschichte. Moskau: Verlag Hochschule, 1985. 280 S.
22. Жирмунский В.М. Немецкая диалектология. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 636 с.

SEMANTICS OF SUBORDINATE CONJUNCTIONS IN THE ORAL SPEECH OF UPPER- AND LOW-INSULAR ALTAI GERMAN DIALECTS.

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 93–106. DOI 10.17223/19986645/35/8
 Trubavina Nina V., Altai State Pedagogical Academy (Barnaul, Russian Federation). E-mail: tschichni@mail.ru

Keywords: syntax, subordinate conjunctions, German dialects, insular German dialects, Altai.

The aim of this paper is to describe the functioning specificity of subordinate conjunctions in the oral speech of upper- and low-insular Altai German dialects. It is based on the practical material gathered during dialectological expeditions to German villages of the Altai Krai in 2003–2013 using the methods of comparison and context analysis.

Conjunctions in the Altai German dialects, as well as in the literary German language, possess no nominative function, but are used to create and specify coordinate and subordinate syntactic relations between words and sentences. They possess a variety of forms in the upper- and low-insular Altai German dialects because of their phonetic peculiarities, presence of relict forms and close contacts with the Russian language.

The semantics of the subordinate conjunctions in the dialects under study is not as diverse as in the literary German language, but they have a certain number of meanings they express. Some of them are highly specialized, monosemantic: “weil”, “hotj”, “solange”, while the others are polysemantic: “wi”, “wo”, “tass / daut / dot”. The polysemantic conjunctions can introduce different subordinate clauses, their actual meaning is realized in context.

The author of the article describes the main semantic groups of subordinate conjunctions in the insular Altai German dialects, reveals the most common subordinating conjunction in every group and analyzes their main features. In the article the subordinate conjunctions are grouped in 9 classes according to the relationships they express: temporal and conditional conjunction, conjunction of reason and purpose, consecutive, concessive, comparison, attributive and object conjunctions.

The analysis of practical material reveals similarities and differences between subordinate conjunctions in the contemporary literary German language and the dialects on the territory of Germany and hypotaxis constructions in oral German speech.

The author comes to a conclusion that the system of coordinate conjunctions in the dialects under study is not a closed word-class: influenced by the Russian language, the dialects borrow new elements, which opens a wide scope for further research.

References

1. Moskalyuk L.I. *Sotsiolingvisticheskie aspekty rechevogo povedeniya rossiyskikh nemtsev v usloviyakh bilingvizma* [Sociolinguistic aspects of speech behavior of Russian Germans in a bilingual situation]. Barnaul: Barnaul State Pedagogical University Publ., 2000. 166 p.
2. Hilkes P. *Zur Lage der deutschen Minderheiten in der Sowjetgesellschaft*. München: Osteuropa-Institut, 1990. 15 p.
3. Edig G.G. *Pridatochnye predlozheniya nizhnenemetskogo govora Altayskogo kraya*. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Clauses in the Low German dialect of Altai. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Tomsk, 1962. 39 p.
4. Trubavina N.V. *Osobennosti razvitiya zavisimyykh predikativnykh konstruksiy v ostrovnom verkhnenemetskom govore*: Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Features of the development of dependent predicative constructions in the High German insular dialect. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Barnaul, 2003. 20 p.
5. Pirogov N.A. *Sintaksis sovremennoy nizhnenemetskoj dialektnoy literatury*: Avtoref. diss. kand. filol. nauk [The syntax of the modern Low German dialect literature. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Moscow, 1980. 27 p.
6. Yartseva V.N. (ed.) *Yazykoznaniye: bol'shoy entsiklopedicheskiy slovar'* [Linguistics: a big encyclopaedic dictionary]. 2nd edition. Moscow: Bol'shaya Rossiyskaya entsiklopediya Publ., 1998. 685 p.
7. Tesnière L. *Osnovy strukturnogo sintaksisa* [Foundations of structural syntax]. Translated from French by I.M. Boguslavskiy. Moscow: Progress Publ., 1988. 654 p.

8. Peshkovskiy A.M. *Russkiy sintaksis v nauchnom osveshchenii* [Russian syntax in a scientific light]. 8th edition. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ., 2001. 544 p.
9. Vinogradov V.V. *Russkiy yazyk (Grammaticheskoe uchenie o slove)* [The Russian language (Grammatical Doctrine of the Word)]. 4th edition. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 2001. 720 p.
10. Reformatskiy A.A. *Vvedenie v yazykovedenie* [Introduction to linguistics]. 5th edition. Moscow: Aspekt Press Publ., 2000. 536 p.
11. Gulyga E.V., Natanzon M.D. *Teoriya sovremennogo nemetskogo yazyka (grammatika)* [The theory of the modern German language (grammar)]. Moscow: Znanie Publ., 1959. Pt. 2, 173 p.
12. Moskal'skaya O.I. *Grammatika nemetskogo yazyka: teoreticheskiy kurs* [German Grammar: Theoretical course]. Moscow: Izdatel'stvo literatury na inostrannykh yazykakh Publ., 1958. 394 p.
13. Duden. *Grammatik der deutschen Gegenwartssprache*. Mannheim; Wien; Zürich: Bibliographisches Institut, 1984. 800 p.
14. Helbig G, Buscha J. *Deutsche Grammatik*. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1977. 629 p.
15. Schendels E.I. *Deutsche Grammatik*. Moskau: Verlag Hochschule, 1982. 400 p.
16. Moskal'yuk L.I., Trubavina N.V. *Lingvisticheskiy atlas nemetskikh dialektov na Altae: v 2 ch.* [Linguistic Atlas of German dialects in the Altai: in 2 pts.]. Barnaul: AltGPA Publ., 2011. Pt. 2, 199 p.
17. Wild K. *Syntax eingeleiteten Nebensätze in den "Fuldaer" Deutschen Mundarten Ungarns*. Budapest: Akad.K., 1994. 257 p.
18. Weise O. *Altenburger Mundart*. Leipzig: Breitkopf&Händel, 1900. 164 p.
19. Post R. *Pfälzisch. Einführung in eine Sprachlandschaft*. Landau/ Pfalz: Pfälzische Verlagsanstalt GmbH, 1992. 399 p.
20. Polikarpov A.M. *Slozhnoe predlozhenie v sintaksise nemetskoy razgovornoy rechi* [Complex sentence in the syntax of the German colloquial speech]. Arkhangelsk: Pomorsk State University named after M.V. Lomonosov Publ., 2000. 446 p.
21. Moskalskaja O.I. *Deutsche Sprachgeschichte*. Moskau: Verlag Hochschule, 1985. 280 p.
22. Zhirmunskiy V.M. *Nemetskaya dialektologiya* [German Dialectology]. Moscow, Leningrad: USSR AS Publ., 1956. 636 p.

УДК 81'1

DOI 10.17223/19986645/35/9

Е.А. Юрина, Н.А. Живаго

МЕТАФОРИЗАЦИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ПИЩИ В ОБРАЗНОМ СТРОЕ РУССКОГО ЯЗЫКА¹

В статье рассматривается метафоризация процесса поглощения пищи в образном строе русского языка и в русской языковой картине мира. Описываются метафорические модели, отражающие проекции образов из сферы-источника «Еда» в различные понятийные области материального и нематериального мира. Рассматриваются семантика и дискурсивное функционирование образной лексики и фразеологии, реализующей метафору поглощения пищи. Предложен способ лексикографического описания образных слов и выражений, отражающих метафоризацию процесса еды, в «Словаре русской пищевой метафоры».

Ключевые слова: образная лексика и фразеология, метафорическая модель, пищевая метафора, образное представление, языковая картина мира, словарь.

Системный подход к исследованию языковой метафоры [1–6], основанный на применении комплекса методов семасиологического, когнитивного и дискурсивного анализа, открыл новые возможности в описании общеязыковой образной системы. Если в фокусе когнитивных исследований находится характер метафорических моделей как концептуальных структур мышления человека ([3, 7–9] и др.), а при семасиологическом подходе анализируется характер связи метафорически производных значений с исходными первичными ([10–13] и др.), то синтез двух подходов позволяет проследить характер воплощения концептуальных метафорических моделей в семантике языковых единиц того или иного национального языка. Таким образом, параллельно осуществляется моделирование национальной метафорической картины мира и системы взаимосвязанных языковых элементов, её репрезентирующих ([14–19] и др.). При этом отправной точкой моделирования общеязыковой образной системы является анализ дискурсивного функционирования метафорических единиц, объективирующих метафорическое мышление личности говорящего.

Метафорологические исследования трёх последних десятилетий отчетливо демонстрируют взаимопроникновение указанных подходов с преобладанием когнитивных, дискурсивных, семасиологических методик либо их комбинаций (когнитивно-дискурсивных, когнитивно-семасиологических). Продуктивность предложенного в отечественной лингвистике комплексного подхода обусловила длительный и устойчивый интерес к проблеме метафорического миромоделирования. Получают развитие теория и методология метафорологического анализа, описываются всё новые и новые грани русской

¹ Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 14-04-00207а – «Русская пищевая традиция в зеркале языковых образов: лингвокультурологическое и лексикографическое описание», 2014–2016 гг.

метафорической картины мира [15, 16, 19–23], в том числе в сопоставительном ключе [24, 25], рассматривается функционирование метафорических моделей в разных типах дискурса [8, 15].

Одной из концепций метафорологического направления является теория образного строя языка [12, 21], предлагающая комплексный подход к описанию образных языковых единиц, реализующих системой своих значений концептуальные метафорические и метонимические модели, свойственные определённой лингвокультурной общности. Под базовой когнитивной метафорической (метонимической) моделью, вслед за Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, А.Н. Барановым, А.П. Чудиновым, понимается устойчивая аналогия, основанная на сходстве (смежности – для метонимии) между нетождественными явлениями различных концептуальных сфер, обеспечивающая осмысление познаваемого феномена из сферы-мишени в «терминах» прототипического феномена из сферы-источника [3, 7, 8].

Образный строй языка понимается как закреплённая в узусе, национально и культурно-исторически обусловленная система образов, метафорически реализованная в семантике лексических и фразеологических единиц и формирующая языковую картину мира. К числу образных относятся языковые и речевые единицы, способные иносказательно, фигурально обозначить определённые явления действительности по аналогии с другими нетождественными им явлениями. Свойством образности обладают предикативные языковые метафоры (*вкусный* ‘яркий, привлекательный’, *приесться* ‘надоест’), номинативные метафоры (*адамово яблоко*, *мучнистая роса*), речевые и авторские метафоры (*крошить душу на винегрет*; *раскатывать, как тесто*), сравнительные обороты разной структуры (*красный, как помидор, колбаской, цвета молока*), образные идиомы (*ни рыба, ни мясо, поедать глазами*), перифразы (*финансы – хлеб экономики*) и другие идиоматические обороты (*продать за чечевичную похлебку*). В основе метафорического сближения явлений из разных категориальных сфер либо лежит визуальное функциональное сходство уподобляемых феноменов (*боксерская груша, банкомат съел купюру*), либо образные ассоциации основаны на проекциях чувственного опыта в нематериальную сферу (*каша в голове, инфляция съела доходы*).

Образный строй языка как лингвокогнитивный феномен представляет собой концептуальную систему образных представлений, основанных на метафорических и метонимических моделях, вербализованную в образных лексических и фразеологических единицах языка, которые объединены в мотивационно-образные парадигмы (МОП) и образные лексико-фразеологические поля. Языковой уровень образного лексико-фразеологического поля включает образные слова, выражения, обороты речи, воплощающие метафоризацию одного концепта или концептуальной области. Концептуальный уровень поля включает систему образных представлений (частных метафорических моделей), относящихся к исходному метафоризируемому концепту.

В данной статье анализируется фрагмент лексико-фразеологического поля «Еда/Пища», представленный единицами мотивационно-образной парадигмы с глагольной вершиной «Есть». Под мотивационно-образной парадигмой понимается объединение однокоренных образных слов, непосредственно или опосредованно восходящих к одной мотивирующей лексической едини-

це, а также устойчивых образных выражений, включающих мотивирующие единицы [21. С. 39–53]. Вершиной рассматриваемой парадигмы является лексема *есть* («имя концепта»), представленная видовыми формами *есть/съесть/съедать* ‘поглощать пищу’. Образно мотивированные единицы парадигмы насчитывают 19 языковых метафор (*есть* ‘мучить, не давать покоя’; *едкий* ‘насмешливый, ироничный’; *съесть* ‘победить противника в конкурентной борьбе’ и др.), 13 собственно образных слов (*разъесть* ‘разрушить поверхность, структуру вещества посредством окисления, трения, высокой температуры’; *буквоед* ‘формалист, педант, придающий значение внешней стороне дела, мелочам в ущерб смыслу’ и др.); 19 фразеологических единиц (*есть глазами*; *с потрохами съесть*; *съесть пуд соли*; *с чем его едят*; *зря есть чей-либо хлеб*; *въедаться в печенки*; *среда заела*; *совесть заела*; *муж объелся груш*; *поедом есть*; *проест плешь* и др.); 8 паремий (*кто не работает, тот не ест*; *с кашей съест, не подавится*; *чуёт кошка, чье мясо съела*; *кто успел, тот и съел*; *стыд не дым, глаза не ест*; *аппетит приходит во время еды* и др.).

В качестве источников словарного материала использованы фразеологические и толковые словари русского языка [28–30]. Источником дискурсивного материала выступил интернет-ресурс «Национальный корпус русского языка» [27]. В результате выборки контекстов, представляющих случаи метафорического функционирования образных средств языка, входящих в мотивационно-образную парадигму с вершиной *есть* ‘поглощать пищу’, было отобрано 3375 дискурсивных фрагментов. Собранный материал послужил основой для выявления и описания метафорических моделей, в которых исходной областью метафоризации выступает сфера-донор «Еда», а область референции представлена различными реципиентными сферами внеязыковой действительности.

Когнитивная структура исходного метафоризируемого концепта «Есть» носит сценарный характер. В составе сценария поглощения пищи находятся пять фреймов: 1) субъект помещает пищу в рот; 2) субъект сдавливает пищу зубами; 3) откусывает часть пищи; 4) разжевывает (измельчает) пищу; 5) проглатывает пищу. Фреймы, входящие в данный сценарий, включают следующие слоты: субъект поглощения (едок), объект поглощения (пища), процедура поглощения. Следствием реализации данных процессов с позиции субъекта является удовлетворение голода, получение удовольствия от пищи и чувство сытости, а по отношению к поглощаемому объекту – его сокрытие, повреждение, разрушение, полное уничтожение. Каждый фрейм и слот сценария поглощения пищи образно переосмысливается и метафорически проецируется на различные сферы внеязыковой действительности.

Область референции образных наименований охватывает понятийные сферы «Материальный мир», включающий представления о явлениях физического, химического и физиологического порядка, и «Нематериальный мир», включающий представления о явлениях психологического, ментального и социального порядка.

Явления физического порядка обнаруживаются через физические действия, такие как шум, движение, перемещение твердых тел. К ним относятся механические, электрические, оптические и другие явления. Химическими

явлениями считаются те, при которых одни вещества, обладающие определённым составом и свойствами, в процессе химической реакции превращаются в другие вещества с другим составом и другими свойствами (например, при процессах горения, окисления, кипения, испарения). Явления физиологического порядка связаны с процессами, протекающими в живом организме и его частях (аппетит, сон, рост мышц, поражение тканей). Образно называемые явления понятийной сферы «Материальный мир» включают процессы, направленные на объекты естественного происхождения (натурфакты) и предметы, созданные человеком (артефакты): *съесть* 'принять платёжные средства через автоматическое устройство'; *изъеденный* 'разрушенный, поврежденный в результате воздействия химических веществ, пыли, солнца'.

Понятийная сфера «Нематериальный мир» включает в себя явления, связанные с эмоциональной, ментальной, социально-политической, экономической, социокультурной сторонами деятельности человека и затрагивает области внутриличностных, межличностных, межгрупповых отношений: *проесть плешь/мозги* 'вызвать раздражение назойливым поведением, повторяющимися просьбами кого-л.'; *уесть* 'задеть, уколоть каким-л. замечанием'; *отъесть* 'завоевать, получить в собственность, отобрать'.

Метафоризация поглощения пищи в пределах МОП «Есть» в русском языке представлена 13 метафорическими моделями, связанными с образной характеристикой явлений материального (6 моделей) и нематериального мира (7 моделей). Рассмотрим каждую из выявленных метафорических моделей в рамках указанных понятийных сфер.

Явления физического и химического порядка переосмысливаются через аналогию с поглощением пищи в следующих направлениях:

1. Разрушение пищи в процессе еды соотносимо с механическим повреждением или разрушением материального объекта под действием трения, окисления, высокой температуры, яркого света. Данное образное представление выражается в следующих языковых единицах:

а) *есть/съесть/съедать* 'разрушать поверхность, структуру вещества посредством окисления, трения, высокой температуры' – *Только лысину [гвоздя] время от времени уксусом протирай, чтобы шляпки ржа не ела* (А. Лукьянов. Палка);

б) *изъесть/изъедать* 'частично разрушать поверхность, структуру вещества посредством окисления, трения, высокой температуры' – *Глядя под ноги... они добрались до «смотровой площадки»; справа и слева имелись каменные склоны, причудливо изъеденные ветром и соленой водой* (М. Дяченко, С. Дяченко. Магам можно все);

в) *проесть* 'разрушить структуру вещества, поверхность насквозь, до дыр посредством окисления, трения, высокой температуры' – *Погост существовал столько же, сколько и сам поселок, и столетние ракиты... давно заматерели и сами остановились в росте, гниль проела в них многочисленные дупла* (П. Проскурин. В старых ракитах);

г) *разъесть* 'разрушить поверхность, структуру вещества окислением, трением, высокой температурой' – *Ржа съела металл наполовину, но он своим видением проникал в суть железа и знал, что оставшееся – выдержит* (А. Лазарчук. Там вдали, за рекой...).

В структуре данных образных представлений актуализируется исходный фрейм «отгрызать, откусывать части объекта поглощения», где агрессивная среда (щёлочь, кислота и т.п.) как бы прогрызает поверхность предмета до полного или частичного разрушения.

2. Помещение пищи в рот и её проглатывание метафорически проецируется на помещение монет, купюр, жетонов, пластиковых карт и т.п. в принимающее устройство механических аппаратов с последующим их сокрытием внутри и возможной утратой. Например, *съесть* 'принять платежные средства через автоматическое устройство' – *Автомат зажуужжал, съел купюру, и в окошечке, где латинскими буквами было написано CREDITS, появилась красная цифра «1000»* (А. Геласимов Дом на Озерной). *Сказала, что на ее станции сломался автомат. Съел бумажку, а водичку не дал. Что же так!* (Е. Кронгауз. Нажми на кнопку – обманешь автомат).

3. Сдавливание пищи зубами в процессе еды ассоциативно связано с нарушением функционирования механизмов и аппаратов, что выражено в языковой метафоре *заесть/заедать* 'зажать, защемить, зацепить какой-л. объект, препятствуя движению (о механизмах)' – *А тут как раз одна моя знакомая, не обманывающая автоматы, у которой просто заело бумажку, позвонила по телефону, который висит на каждом автомате* (Е. Кронгауз. Нажми на кнопку – и обманешь автомат). *Митька еще раз дернул затвор, но в нем что-то заело* (А. Геласимов. Разгуляевка). Образное представление основано на следующей аналогии: «детали технического устройства, подобно зубам, зажали некоторые механизмы или материалы».

4. Регулярное поедание пищи небольшими порциями для получения жизненной энергии метафорически проецируется на расходование ресурсов для обеспечения функционирования механизмов, технических и транспортных средств. Например: *есть/съесть* 'употреблять/употребить, расходовать/израсходовать топливо, энергетические ресурсы, расходные материалы (о технике)' – *Средний расход бенза по городу – 15 литров, что для джипа не особо много. Масло не ест, льем полусинтетику. Бензин – 95-й* (Внедорожник для хулигана: Terrano II). *Но гидравлический насос забирает силы у двигателя, а значит, тот съедает лишнее топливо, вредит экологии* (М. Сачков. Поворотный момент).

Явления **физиологического порядка** сквозь призму метафоры поглощения пищи чаще всего интерпретируются как несущие негативное воздействие и формируют две метафорические модели:

1. Принятие пищи метафорически переосмысливается как разрушение биологического объекта и выражается в следующих образных языковых единицах:

а) *есть глаза* 'раздражать слизистую оболочку глаза посредством пара, дыма, мелких частиц пыли'. – *Сigaretный дым ел глаза, помимо телефона, на столе и в карманах гостей, не умолкая, настырно тренькали сотовые* (В. Валеева. Скорая помощь);

б) *есть/съедать* 'разрушать организм человека неизлечимой болезнью'. – *Поэтому взрослые были такие зачихшие: оголяя и начищая до блеска их череп, источая и заставляя разлагаться заживо тела, их постепенно съедала лучевая болезнь* (Д. Глуховский. Метро 2033);

в) *изъеденный* 'имеющий следы болезни, шрамы, измученный по причине перенесенной/переносимой болезни' – *За прилавком его встретил веселый дядька с лицом, изъеденным оспой* (Е. Прошкин. Эвакуация).

Данная метафорическая модель реализует исходный образ «нарушение целостности поедаемого продукта в результате откусывания и пережевывания», который метафорически проецируется на ситуацию «разрушение организма в результате болезни или деструктивных воздействий».

2. Проглатывание кусочков пищи во время еды проецируется на характер речи, связанный с плохой дикцией, непроговариванием отдельных частей слов или фраз. Данное образное представление реализовано в метафоре *съесть/съедать слова (окончания, фразы)* 'не проговаривать слова, произносить их неотчетливо'. – *Одновременно кладет в рот пирожок, ест его, а задом **съедает** и главную часть фраз* (В. Смехов. Театр моей памяти).

Образная характеристика явлений, связанных с интерпретацией физических, химических и физиологических процессов посредством пищевой метафоры, как правило, носит негативный характер и связана с выражением ситуаций нарушения целостности, разрушения, нежелательной пропажи, утраты чего-л. Нейтральный характер носят образные номинации процессов, связанных с неизбежным расходом сырья или ресурсов.

Общая схема метафорических проекций процесса поглощения пищи в область явлений материального мира представлена на рис. 1.

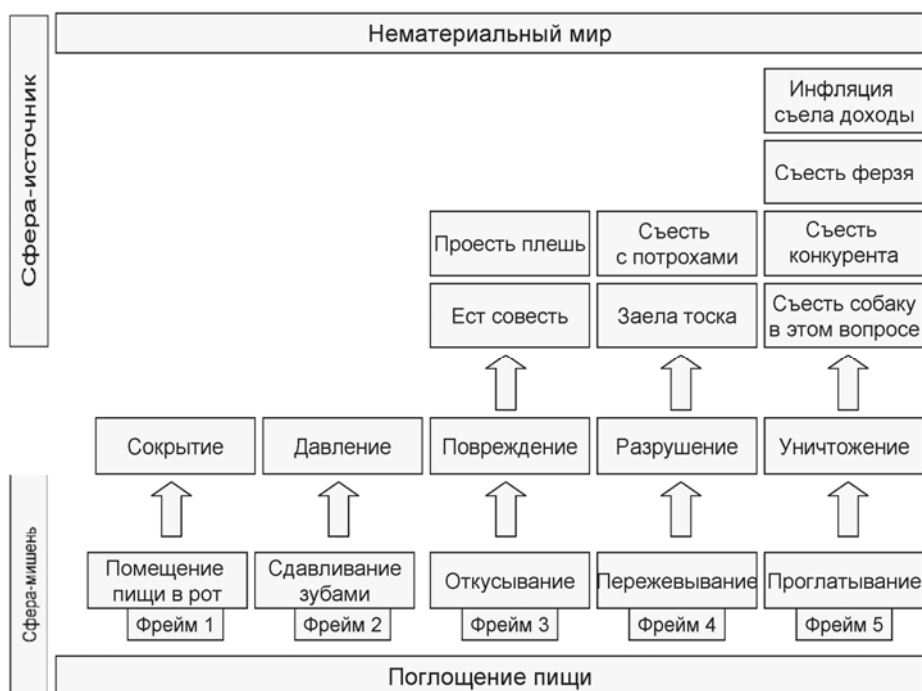


Рис. 1. Фреймовая структура метафоризации процесса поглощения пищи: проекции в область явлений материального мира

Различные процессы, относящиеся к понятийной сфере «**Нематериальный мир**», метафорически характеризуются через образы, связанные с утолением голода. Установленная общественной средой иерархия социальных статусов, необходимость в межличностной коммуникации, личностное самоопределение человека порождают в сознании носителей языка различные аналогии с поглощением пищи.

Явления **психологического** и **ментального** характера через призму метафоры поглощения пищи интерпретируются в следующих направлениях:

1. Поедание пищи метафорически ассоциируется с негативным эмоциональным влиянием. На объект «морального поглощения» действуют внутренние раздражители, которые причиняют беспокойство, вызывают страдания, чувство обиды, тревоги и т.п. Эта модель реализуется в следующих образных единицах:

а) *есть/съесть/съесть* ‘мучить, не давать покоя, подвергать переживанию негативных эмоций, депрессии’ – *И то сказать: с лица спал, почти не спит, во сне слова плетет непонятные... Тревога его **ест**, что ли...* (Е. Халецкая. Синие стрекозы Вавилона);

б) *заедать/заесть* ‘взволновать, вызвать чувство обиды, побеспокоить’ – *Позавчера решила плохо себя вести. С девчонками до часу ночи болтали – шампанское пили. Муссе полегчало – **заело** его, что вдруг я не на работе... дремавшая ревность опять проснулась* (Коллективный);

в) *изъесть* ‘вызвать негативные эмоции, переживания, душевные муки’ – *Куда делись густые черные кудри? Болезнь его сокрушила или **изъела** тоска? Голос слабый, какой-то старческий, но вот-вот его привычные хватки, приемы, самая походка!* (П. Мельников-Печерский. На горах);

г) *выесть* ‘подвергать душевным мукам, страданиям’ – *Ненависть помогла совладать со страхами, но **выедала** меня изнутри, отнимая последние силы...* (А. Дмитриев. Поворот реки);

д) *совесть заела/заедает* ‘стыдиться, переживать из-за совершенных проступков’ – *Нет же – пошёл в милицию! **Совесть заела?** душа груза не вынесла, потребность возникла страданием искупить?* (М. Веллер. Колечко).

В семантике данных образных единиц языка реализовано образное представление об отрицательных эмоциях, которые причиняют моральные страдания человеку, словно поедая его изнутри, разгрызая его на мелкие кусочки, и этим доставляя душевную боль.

2. Принятие пищи метафорически переосмысливается как испытание негативного опыта межличностных отношений и реализуется в следующих образных языковых единицах:

а) *уесть* ‘задеть, уколоть каким-л. замечанием’ – *Скажут гадость про «вторую древнейшую» и довольны: ах, как мы **уели** этого писаку!* («Пресса-2003»);

б) *есть/съесть/съесть* ‘попрекать, бранить, изводить, не давать покоя’ – *Все знают, что ты меня **съела**, всю мою жизнь подмяла...* (А. Битов. Заповедник (телемелодрама);

г) *проесть (переесть) плешь/мозги* ‘вызвать раздражение назойливым поведением, повторяющимися просьбами’ – *Мне Жорка вон всю плешь **проел**, не отстаёт: давайте к нам, в спортобщество* (С. Самсонов. Одиннадцать);

д) *вѣстѣся/вѣдаться в печенки/в печенку* ‘надоедать, докучать, досажать’ – *Ходил в партком, «вѣдался в печенку» главному инженеру управления С. Ярошевскому и по мере возможности самовольничал – переоборудовал «Норск»* (М. Борозин. Испытание морем).

е) *есть (жрать) поедом* ‘мучить, изводить кого-либо, беспрестанно бранить, ущемлять в правах’ – *Главный редактор, человек добрый настолько, что редакция жрала его поедом, не даваясь отсутствующим хребтом* (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова);

Семантика слов и выражений данной группы реализует представление о доминирующем и деструктивном влиянии одного человека на другого через образ поедания: психологически или социально доминирующий субъект причиняет душевные страдания, изводит человека, лишает сил, как бы съедая его по кусочкам, изгрызая.

3. Ситуация познания, обретения опыта находит отражение в метафорической модели «принять пищу – получить опыт, знания». Она реализована в образных выражениях *съесть зубы на чем-л.* ‘приобрести большой, значительный опыт, навык в чём-нибудь; владеть чем-либо в совершенстве’ *Карты – это такая игра, в которой везет тому, кто на ней зубы съел* (А. Волос. Дом у реки). – *Пфе, – сказал Витя, – я уже нанял пять человек, которые съели собаку в этом деле. А вы мне нужны как верные, в смысле, проверенные люди* (А. Матвеева. Голев и Кастро. Приключения гастарбайтера).

Образное переосмысление явлений **социальной** сферы сквозь призму метафоры поглощения пищи охватывает наибольшее количество метафорических моделей.

1. Ситуации конкуренции, соперничества, борьбы за выживание образно выражаются посредством частной метафорической модели «принять пищу – уничтожить соперника, конкурента». Тот, кто «съел» соперника, обретает главенствующую роль в семье, на предприятии, в бизнесе; получает материальный достаток. Эта ситуация реализуется в следующих образных единицах:

а) *есть/съесть/съедать* ‘победить противника в конкурентной борьбе’ – *Но и конкуренция острее, темп событий выше: опоздал – проиграл, зазевался – съели* («Сельская новь»);

б) *поедание* ‘уничтожение, травля соперников’ – *Вот эту-то систему взаимной слежки и взаимного «поедания» и разрушил Хрущёв* («Наука и жизнь»);

в) *с кашей съест, не подавится* ‘грубо уничтожит соперника в конкурентной борьбе’ – *Считая темп, с которым он двигается вперед, за постоянную величину, он прикидывает, что так через четыре – пять лет он шаолиньского монаха (из фильма, разумеется) с кашей съест, не подавится* («Боевое искусство планеты»).

То есть поглощение пищи метафорически переосмысливается как помещение в рот соперника и его проглатывание.

2. Ситуация поглощения пищи метафорически проецируется на овладение материальными объектами, принадлежащими противнику в игре. Данное образное представление реализуется в языковой метафоре *съесть* ‘завоевать фигуру соперника в ходе шахматной игры’ – *Трудно не съесть ферзя, когда*

дают. Но при этом защита черных значительно упрощается («64 – Шахматное обозрение»).

3. Экономические явления сквозь призму метафоры поглощения пищи представлены в метафорической модели «поглотить пищу – утратить денежные средства», которая реализуется в семантике представленных ниже образных языковых единиц:

а) *съесть/съеда́ть* ‘расходовать денежные средства в убыток кому-л., уменьшая его доходы’ – *Этих средств не хватит ни на поддержку регионов, ни на индексацию зарплат и пенсий – все куцые прибавки уже давно съела инфляция* («Советская Россия»);

б) *объе́дки* ‘остаточное количество денег после незаконных махинаций с деньгами государственного бюджета’ – *И армия все больше начинает походить на бомжиху с жадными глазами, поджидающую обе́дки с государственного стола* (В. Баранец. Генштаб без тайн).

4. Ситуация принятия пищи метафорически проецируется на приобретение жизненного опыта, освоения каких-л. знаний, навыков в процессе преодоления жизненных трудностей. Этот образ представлен во фразеологической единице *съесть пуд соли с кем-либо* ‘прожив долгое время с кем-либо, многое узнать, испытать’ – *Однажды я услышала от Марии Павловны такую фразу: «Мы ведь с Оленькой три пуда соли съели, а теперь у меня нет человека дороже»* (С. Пилявская. Грустная книга). Совместное преодоление тяжелых жизненных ситуаций обозначено по аналогии с совместным поеданием большого количества соли, символизирующей проблемы, препятствия.

Схема метафорических проекций в область явлений нематериального мира показана на рис. 2.

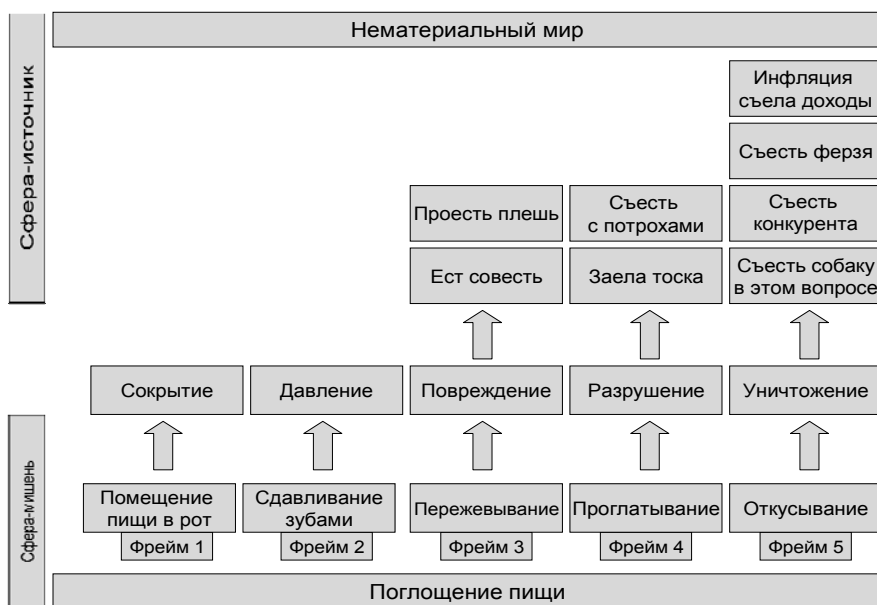


Рис.2. Фреймовая структура метафоризации процесса поглощения пищи: проекции в область явлений нематериального мира

Анализ описанных моделей показал, что процесс метафоризации затрагивает не только саму процедуру еды, но и участников этого процесса. Образы едока и пищи метафорически проецируются на явления материального и нематериального мира. Так, в качестве субъекта поглощения пищи образно мыслятся следующие химические, физические, механические явления: 1) вещества, вызывающие химическую реакцию (щелочь, кислота); 2) физические явления (высокая температура, трение); 3) автоматические устройства, механические аппараты.

В образе объектов поглощения пищи предстают натурфакты и артефакты, подверженные повреждению, уничтожению: природные объекты (растения, почва), деревянные и металлические изделия, топливо, энергетические ресурсы, платежные средства. В сфере физиологии в качестве субъектов поглощения пищи выступают болезни, разрушающие внутренние органы, кожные покровы. Среди образно характеризующих явлений нематериальной сферы в качестве субъектов поглощения пищи интерпретируются: 1) негативные эмоции (тоска, тревога, печаль, обида, ненависть, злость, угрызения совести); 2) человек а) оказывающий психологическое давление на другого человека; б) приобретающий знания и опыт; в) побеждающий соперника в конкурентной борьбе; 3) субъекты экономической и политической деятельности (компании, политические партии); 4) социально-экономические явления (инфляция, налоги, процентные ставки).

В образе объектов поглощения фигурируют: 1) человек, страдающий: а) от влияния негативных эмоций; б) психологического давления; в) негативных социальных воздействий; 2) финансы (зарплата, денежные прибавки, денежные доходы). Причинение психологического и финансового ущерба могут образно выражаться как ситуация поглощения не всего человека целиком, а поедание какой-то его части (плешь, мозги, печенька, душа).

В процессе исследования обнаружилось объективное отставание словарей от реальной речевой практики. Было зафиксировано значительное количество образных единиц с исходной семантикой еды, которые не нашли отражения в толковых словарях, но активно используются в дискурсивных практиках. Некоторые значения являются уже устаревшими и не находят контекстное подтверждение в современном словоупотреблении. В связи с этим большое практическое значение имеет лексикографическое описание образных слов и выражений, отражающих метафоризацию концептуальной сферы «Еда», в частности процессов поглощения пищи. Коллективом лексикографов, включающим и авторов данной статьи, подготовлен к печати первый выпуск «Словаря русской пищевой метафоры», описывающий образную лексику и фразеологию, мотивированную исходными наименованиями блюд и продуктов питания. В настоящее время готовится второй выпуск, посвященный описанию образных средств языка, отражающих метафоризацию гастрономической деятельности (процессов поглощения и приготовления пищи, свойств и качеств субъектов гастрономической деятельности). Представим некоторые словарные статьи, входящие во второй выпуск «Словаря русской пищевой метафоры».

ВЪЕДЬСЯ / ВЪЕДАТЬСЯ, *во что*. СО. 1. Глубоко проникнуть во что-л. — *Чего перекрутили веревку? — Мы не перекручивали. Она въедается в*

камень, а камень крошится (В. Маканин. Буква «А»). Следы, которые оставило существо, не оттирались, а при попытке отчистить лишь еще глубже **въедались** в паркет и полировку (Д. Емец. Таня Гроттер и магический контрабас).

2. Узнавать что-л. в деталях, словно проникая в самую суть явлений. – *Вот не возжусь несколько дней с ребенком (старушка няня у нас появилась), не **въедаюсь** так во все мелочи – и любовь слабее* (Г. Гачев. Жизнемысли).

3. Оставить сильное впечатление, хорошо запомниться. – *Застарелая любовь, – ожесточенно повторил он, – которая **въедается** в душу, будто ржавчина, накапливает, нарастает на душе, как ракушки на днище корабля* (Д. Рубина. Окна).

ЕДКИЙ. СО. 1. Разрушающий, раздражающий химически. – *Но он заглянул было в местную парикмахерскую и тут же шарахнулся назад, когда в ноздри ему ударил **едкий** запах одеколона, больше напоминающий жидкость для истребления насекомых* (Т. Тронина. Никогда не говори «навсегда»). *И тут же, словно отвечая этой хлопнушке, хлопнуло ещё несколько, значительно громче прежних. Зал заволело **едким** дымом. В ту же секунду почему-то вновь зазвучала та же безумная музыка* (В. Белоусова. Второй выстрел).

2. Яркий, насыщенный (об окраске предметов). – *Лай раздавался все ближе, и скоро под огромной прекрасной березой, стоявшей несколько особняком на **едко-зеленой**, сиреневой и желтой моховой полянке, мы увидели Чифа и слышали не только его лай, но и страстные, задыхающиеся всхлипывания во время вдохов* (Ю. Казаков. Во сне ты горько плакал).

3. Заставляющий страдать, испытывать душевные переживания (о негативных эмоциях). – *Моя спутница заплакала, и я тоже испытал приступ **едкой** грусти, прощаясь с мертвецами, с далекими милыми, с моей дикой молодостью, – и все бросал в протянутый бубен монетки* (О. Ронен. Миф). *Так ведь они и скажут, и язык не отсохнет цифры называть, цифры, от которых у Бекетова стыла кровь в жилах, на лбу выступали капельки пота, начинали дрожать руки и грудь распирала **едкая**, словно желчь, ненависть* (А. Белозеров. Чайка).

4. Насмешливый, иронический, задевающий самолюбие (о словах, речи). – *И всё это при том, что Виктор Владимирович отличался на редкость острым языком (его замечания порой были такими **едкими**, такими саркастичными, что многие их побаивались)* (И. Архипова. Музыка жизни). *Исключительные шутки, **едкие** комментарии, точные замечания – ничто и никто не избежит расправы* (Коллективный).

ЗАЕСТЬСЯ. СО. Стать слишком капризным, разборчивым, привередливым по отношению к чему-л. – *Вообще политехнологи и политехниарщики либо **заелись** и думать разучились, либо изначально бездарностей набрали* (Коллективный). ***Заелись** вы все, надо просто работать, хлеб выращивать, мы в ваши годы так не думали, – воспитывает его очередной мудрый старик* (И. Сухих. Душа болит).

Лексикографическое описание метафоризации процессов поглощения пищи в «Словаре русской пищевой метафоры» позволит системно предста-

вить совокупность образных значений и типовых образных представлений, транслируемых образной лексикой и фразеологией русского языка, составив полную эмпирическую базу для дальнейших лингвокультурологических и лингвокогнитивных исследований.

Литература

1. Ричардс А. Философия риторики // Теория метафоры / под общ. ред. Н.Д. Арутюновой, М.А. Журинкий. М.: Прогресс, 1990. С. 44–67.
2. Блэк М. Метафора // Теория метафоры / под общ. ред. Н.Д. Арутюновой, М.А. Журинкий. М.: Прогресс, 1990. С. 153–172.
3. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры / под общ. ред. Н.Д. Арутюновой, М.А. Журинкий. М.: Прогресс, 1990. С. 387–415.
4. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. 893 с.
5. Склярская Г.Н. Метафора в системе языка. СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2004. 166 с.
6. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука 1986. 141 с.
7. Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора: материалы к словарю. М.: Ин-т рус. яз., 1991. 193 с.
8. Чудинов А.П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2005. 257 с.
9. Резанова З.И. Концептуальные метафорические модели «человек это мир» и «мир это человек»: к проблеме обратимости (на материале сибирских русских народных говоров) // Актуальные проблемы русистики. Вып. 3: Языковые аспекты регионального существования человека. Томск, 2006. С. 287–295.
10. Алешина О.Н. Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях (на материале русского языка): дис. ... д-ра филол. наук. Новосибирск, 2003. 351 с.
11. Блинова О.И. Явление мотивации слов: Лексикологический аспект. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. 192 с.
12. Юрина Е.А. Образный строй языка. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 156 с.
13. Юрина Е.А. Образная лексика русского языка. Ч. I. Семантика: учеб. пособие. Томск: ТМЛ-Пресс, 2008. 144 с.
14. Илюхина Н.А. Метафорический образ в семасиологической интерпретации. М.: Флинта: Наука, 2010. 320 с.
15. Мишанкина Н.А. Метафора в науке: парадокс или норма? Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. 282 с.
16. Катунин Д.А. Время в зеркале русской языковой метафоры: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2005. 198 с.
17. Мужачева А.М. Пространственные метафоры как фрагмент русской языковой картины мира: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2003. 28 с.
18. Быкова А.А. Метафоры с семантикой температурных изменений: лингвокультурологический и когнитивный анализ // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2011, №3. С. 7–11.
19. Юрина Е.А. Образный строй языка как лингвокогнитивный феномен и лексико-фразеологические средства его экспликации // Фразеология, познание и культура: сб. докл. 2-й Междунар. науч. конф. Белгород, 7–9 сентября 2010. Т. 1: Фразеология и познание. Белгород, 2010. С. 28–294.
20. Боровкова А.В. Метафоризация наименований растительной пищи в русском языке: семасиологический и когнитивный аспекты // Вестн. Том. гос. ун-та. Языкознание. 2014. № 383. С. 21–26.
21. Юрина Е.А. Вкусные метафоры: пищевая традиция в зеркале языковых образов. Кокшетау, 2013. 238 с.
22. Капелюшник Е.В. Кулинарный код культуры в семантике образных средств языка: дис. канд. ... филол. наук. Томск, 2011–2012. 198 с.
23. Илюхина Н.А. Метафорический образ в семасиологической интерпретации. М.: Флинта: Наука, 2010. 320 с.

24. Юрина Е.А. Лексико-фразеологическое поле кулинарных образов в русском и итальянском языках // Язык и культура. Томск, 2008. № 3. С. 83–93.
25. Шерина Е.А. Национально-культурная специфика образной лексики языка (на материале собственно образных слов, характеризующих человека): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2010. 22 с.
26. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2 т.: ок. 145 000 слов. М.: Рус. яз., 1985. Т. 1: 854 с., Т. 2: 885 с.
27. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] Электрон. дан., 2003–2011. URL: <http://www.ruscorpora.ru>
28. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой, 2-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1981–1984.
29. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий / отв. ред. В.Н. Телия. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 784 с.
30. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи: словарь: ок. 1000 единиц. М.: Рус. словари: Астрель, 2001. 856 с.

METAPHORIZATION OF EATING IN THE IMAGERY OF THE RUSSIAN LANGUAGE.

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 107–121. DOI 10.17223/19986645/35/9
 Yurina Yelena A., Tomsk State University, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: yourina2007@yandex.ru

Zhivago Natal'ya A., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: zhivago.natalia@gmail.com

Keywords: figurative words and phraseology, metaphorical model, food metaphor, figurative representation, language picture of the world, dictionary.

The article analyzes the fragment of the lexico-phraseological field “Food/Eating” represented by figurative words and expressions that show the metaphorical character of eating. The analysis is based on the theory of figurative language and combines the semasiological and cognitive approaches to the description of figurative language units that implement conceptual metaphorical and metonymic models through the system of their meanings.

The analysis of the conceptual model of typical images requires the words and phrases to be grouped into figurative lexico-phraseological fields and motivational-figurative paradigm (MFP) based on the unity of the original motivating image. The MFP with the verbal apex ‘*est*’ has 19 linguistic metaphors (‘*est*’ – to torture, to gnaw; ‘*edkiy*’ – mocking, ironic, etc.), 13 figurative words proper (‘*bukvoed*’ – a pedant, formalist, somebody who pays attention only to the facade of the question at the expense of the sense, etc.); 19 phraseological units (‘*s potrokhami s'est*’; ‘*s'est pud soli*’, etc.); 8 proverbs (‘*kto ne rabotaet, tot ne est*’, etc.).

The cognitive structure of the original concept ‘*est*’ includes four frames: 1) the subject puts food in their mouth, 2) the subject takes a bite of food, 3) the subject chews (grinds) food, 4) the subject swallows food. The frames in this scenario include the following slots: the subject of eating (the eater), the object of eating (food) and the procedure itself. Each frame and slot of the eating scenario is figuratively reinterpreted and metaphorically projected onto various spheres of extralinguistic reality.

Metaphorization of eating in the Russian language is represented by 13 metaphorical models associated with the figurative characteristic of the physical (6 models) and non-material (7 models) world, each of which is described in detail in the article. The subject of eating in the figurative sense include: 1) substances that cause a chemical reaction (alkali, acid); 2) physical phenomena (high temperature, friction); 3) automatic and mechanical devices; 4) negative emotions (melancholy, anxiety, sadness, resentment, hatred, anger, remorse); 5) an individual, who a) provides psychological pressure on another person, b) acquires knowledge and experience, c) conquers rivals in the competition; 6) subjects of economic and political activity (companies, political parties); 7) socio-economic phenomena (inflation, taxes, interest rates).

The objects of eating are 1) nature-facts and artifacts exposed to damage, destruction (natural objects, wooden and metal products, fuel, energy resources, means of payment); 2) diseases that destroy the internal organs and skin; 3) a person suffering from negative emotions, psychological pressure and negative social impacts; 4) finance.

The final part of the article is devoted to the lexicographic description of figurative vocabulary that reflects metaphorization of eating in the Russian language.

References

1. Richards A. *Filosofiya ritoriki* [The philosophy of rhetoric]. In: Arutyunova N.D. (ed.) *Teoriya metafory* [The theory metaphor]. Moscow: Progress Publ., 1990, pp. 44–67.
2. Black M. *Metafora* [Metaphor]. In: Arutyunova N.D. (ed.) *Teoriya metafory* [The theory metaphor]. Moscow: Progress Publ., 1990, pp. 153–172.
3. Lakoff G., Johnson M. *Metafora, kotorymi my zhivem* [Metaphors We Live By]. In: Arutyunova N.D. (ed.) *Teoriya metafory* [The theory metaphor]. Moscow: Progress Publ., 1990, pp. 387–415.
4. Arutyunova N.D. *Yazyk i mir cheloveka* [Language and the world of man]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ., 1999. 893 p.
5. Sklyarevskaya G.N. *Metafora v sisteme yazyka* [Metaphor in the language]. St. Petersburg: Faculty of Philology of St. Petersburg State University Publ., 2004. 166 p.
6. Teliya V.N. *Konnotativnyy aspekt semantiki nominativnykh edinit* [Connotative aspect of the semantics of nominative units]. Moscow: Nauka Publ. 1986. 141 p.
7. Baranov A.N., Karaulov Yu.N. *Russkaya politicheskaya metafora: materialy k slovaryu* [Russian political metaphor: materials for a dictionary]. Moscow: Institut russkogo yazyka Publ., 1991. 193 p.
8. Chudinov A.P. *Metaforicheskaya mozaika v sovremennoy politicheskoy kommunikatsii* [Metaphorical mosaic in modern political communication]. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University Publ., 2005. 257 p.
9. Rezanova Z.I. *Kontseptual'nye metaforicheskie modeli "chelovek eto mir" i "mir eto chelovek": k probleme obratimosti (na materiale sibirskikh russkikh narodnykh govorov)* [Metaphorical conceptual model of "man is the world" and "the world is man": the problem of reversibility (on the basis of the Siberian Russian folk dialects)]. In: Demeshkina T.A. (ed.) *Aktual'nye problemy rusistiki* [Topical issues of Russian philology]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2006. Is. 3, pp. 287–295.
10. Aleshina O.N. *Semanticheskoe modelirovanie v lingvometaforologicheskikh issledovaniyakh (na materiale russkogo yazyka): dis. d-ra filol. nauk* [Semantic modeling in linguo-metaphorological studies (in the Russian language). Philology Dr. Diss.]. Novosibirsk, 2003. 351 p.
11. Blinova O.I. *Yavlenie motivatsii slov. Leksikologicheskii aspekt* [The phenomenon of word motivation]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 1984. 192 p.
12. Yurina E.A. *Obraznyy stroy yazyka* [Imagery structure of language]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2005. 156 p.
13. Yurina E.A. *Obraznaya leksika russkogo yazyka* [Figurative vocabulary of the Russian language]. Tomsk: TML-Press Publ., 2008. Pt. 1, 144 p.
14. Ilyukhina N.A. *Metaforicheskii obraz v semasiologicheskoy interpretatsii* [Metaphorical image in semasiological interpretation]. Moscow: Flinta Publ.: Nauka Publ., 2010. 320 p.
15. Mishankina N.A. *Metafora v nauke: paradoks ili norma?* [Metaphor in Science: Paradox or Norm?]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2010. 282 p.
16. Katunin D.A. *Vremya v zerkale russkoy yazykovoy metafory: dis. kand. filol. nauk* [Time in the mirror of the Russian linguistic metaphor. Philology Cand. Diss.]. Tomsk, 2005. 198 p.
17. Mukhacheva A.M. *Prostranstvennye metafory kak fragment russkoy yazykovoy kartiny mira: avtoref. dis. kand. filol. nauk* [Space metaphors as a fragment of the Russian language picture of the world. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Tomsk, 2003. 28 p.
18. Bykova A.A. Metaphors with thermal change semantics: cultural-linguistic and cognitive analysis. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*, 2011, no. 3, pp. 7–11. (In Russian).
19. Yurina E.A. [Imagery structure of language as a linguo-cognitive phenomenon and lexical and phraseological means of its explication]. *Frazeologiya, poznanie i kul'tura. Sb. dokladov 2-y Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii* [Phraseology, knowledge and culture. Proc. of the 2nd International Scientific Conference]. Belgorod, 2010, v. 1, pp. 289–294. (In Russian).
20. Borovkova A.V. Metaphorisation of the names of plant food in the Russian language: semasiological and cognitive aspects. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*, 2014, no. 383, pp. 21–26. (In Russian).
21. Yurina E.A. *Vkusnye metafory: pishchevaya traditsiya v zerkale yazykovykh obrazov* [Delicious metaphors: food tradition in the mirror of language images]. Kokshetau, 2013. 238 p.

22. Kapelyushnik E.V. *Kulinarnyy kod kul'tury v semantike obraznykh sredstv yazyka*: dis. kand. filol. nauk [Culinary culture code in the semantics of figurative means of language. Philology Cand. Diss.]. Tomsk, 2011–2012, 198 p.
23. Ilyukhina N.A. *Metaforicheskiy obraz v semasiologicheskoy interpretatsii* [Metaphorical image in semasiological interpretation]. Moscow: Flinta Publ.: Nauka Publ., 2010. 320 p.
24. Yurina E.A. *Leksiko-frazeologicheskoe pole kulinarnykh obrazov v russkom i ital'yanskom yazykakh* [Lexical and phraseological field of culinary images in Russian and Italian]. *Yazyk i kul'tura – Language and Culture*, 2008, no. 3, pp. 83–93.
25. Sherina E. A. *Natsional'no-kul'turnaya spetsifika obraznoy leksiki yazyka (na materiale sobstvenno obraznykh slov, kharakterizuyushchikh cheloveka)*: avtoref. dis. kand. filol. nauk [National-cultural specificity of figurative lexicon (based on the figurative words characterizing the person). Abstract of Philology Cand. Diss.]. Tomsk, 2010. 22 p.
26. Tikhonov A.N. *Slovoobrazovatel'nyy slovar' russkogo yazyka v dvukh tomakh: Ok. 145000 slov* [Word-formation Dictionary of the Russian language in two volumes: approx. 145000 words]. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 1985. V. 1, 854 p.; V. 2, 885 p.
27. The Russian National Corpus. Data of 2003–2011. Available from: www.ruscorpora.ru. (In Russian).
28. Evgen'eva A.P. (ed.) *Slovar' russkogo yazyka: v 4-kh t.* [Dictionary of the Russian language: in 4 v.]. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 1981–1984.
29. Teliya V.N.(ed.) *Bol'shoy frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka. Znachenie. Upotreblenie. Kul'turologicheskiy kommentariy* [The Big Phraseology Dictionary of the Russian language. Meaning. Use. Cultural commentary]. Moscow: AST – PRESS KNIGA Publ., 2006. 784 p.
30. Melerovich A.M., Mokienko V.M. *Frazeologizmy v russkoy rechi. Slovar': Okolo 1000 edinit* [Idioms in the Russian language. Dictionary: approx. 1,000 units]. Moscow: Russkiye slovari Publ., Astrel' Publ., 2001. 856 p.

УДК 81:1
DOI 10.17223/19986645/35/10

И.А. Якоба

ВЛАСТЬ ДИСКУРСА МЕДИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА В БОРЬБЕ ЗА НОМИНАЦИЮ

Целью данной статьи является показать потенциал власти дискурса в борьбе за номинацию, т.е. возможность смещать, заменять одни смыслы на другие, устанавливать новые смыслы, способствующие изменению картины мира адресата и управлению его сознанием, достижению часто корыстных целей. Приведены результаты прикладного лингвосоциологического исследования когнитивных механизмов и языковых средств в борьбе за номинацию в медийном дискурсе в интернет-среде. Исследование проводилось в русле критического дискурс-анализа. Выявлено преобладание использования дискурсивных стратегий и языковых средств, способствующих аксиологическому конструированию действительности для осуществления социальной власти в современном обществе. Материалом для исследования послужили открытые данные русскоязычных социальных сетей по политико-экономическим проблемам Украины.

Ключевые слова: борьба за номинацию, интерпретация, вербализация власти, конструирование дискурса, сила воздействия, Украина, Крым, демотиваторы.

Злоупотребление властью может проявить себя в языке только там, где есть возможность изменений или выбора, например, назвать человека «террористом» или «борцом за свободу» в зависимости от позиции или идеологии говорящего.

Тён ван Дейк

Возможность использовать различные и даже противоположные номинации (см. эпиграф) для обозначения одного и того же явления приводит к тому, что коннотации оказываются полярными, а приведенные имена отличаются в соответствующих контекстах ярко выраженной аксиологичностью. Борьба за номинации оказывается борьбой за фундаментальные групповые ценности [1]. Необходимо обратить внимание на то, что оценки при этом отличаются ярко выраженной полярностью, строятся на бинарных оппозициях, исключаящих какую-либо градуальность: добро – зло, враг – друг, черное – белое и др. Такая стратегия позиционирования «мы – хорошие, они – плохие» находит яркое выражение в противостоянии в борьбе за власть в современном социуме. Борьба за номинации выступает частью лингвокогнитивной технологии умной настройки дискурса на мировой арене, где основная борьба происходит за умы людей, за контроль над сознанием.

Власть дискурса можно считать одной из востребованных эпистем современного лингвистического знания. В проблемном плане данная эпистема рассматривается в различных аспектах в работах М. Фуко, Т. ван Дейка, Н. Лумана и других исследователей. По словам Т. ван Дейка, «власть связана с контролем, а контроль над дискурсом означает особый доступ к его производству и, стало быть, к его содержанию, стилю и, в конце концов, общественному сознанию» [1. С. 15], т.е. борьба за сознание человека выдвигается как одна из острейших про-

блем современности. Другими словами, власть осуществляется посредством дискурса и через дискурс, а правильно подобранные слова доносят идею до адресата, передают вложенный смысл и оказывают воздействие на его сознание и могут побуждать к необходимым действиям.

Целью данной статьи является показать потенциал власти дискурса в борьбе за номинацию, т.е. возможность смещать, заменять одни смыслы на другие, устанавливать новые смыслы, способствующие изменению картины мира адресата и управлению его сознанием, достижению часто корыстных целей. Эта актуальная дискурсивная технология обладает семиотической привлекательностью и когнитивной мощью, направлена на конструирование нужного результата и нейтрализацию параллельных, невыгодных заказчику возможностей развития социального мира. Необходимо отметить, что в данной статье представлена лишь часть исследования, проводимого автором, иные аспекты власти дискурса, разработанные в теории умной настройки дискурса, отражаются в других публикациях автора (например в [2–5]).

События последних лет на Украине ознаменовали собой начало нового этапа информационной войны против России с использованием *мягкой, жесткой и умной сил* как внутри страны, так и заинтересованными участниками и сторонними наблюдателями. Информационно-психологическое противоборство сегодня является основным инструментом завоевания и сохранения власти (политической, экономической, духовной). Противоположная интерпретация политических событий на Украине (2014 г.) западными и российскими СМИ – яркий пример борьбы за номинацию в медийном пространстве, которая обладает выраженной аттрактивностью и задействует комплекс всех силовых механизмов.

Начавшаяся когнитивная информационная прозападная «акция» призывавшая к «евроинтеграции», не ограничилась только мягкосиловым оружием (убеждения в необходимости сближения с Европой и отдаления от России, идеологические призывы и мифологические лозунги типа «Слава Украине», «За великую и сильную Украину», затрагивающие глубинные слои сознания и вовлекающие сильные эмоции), а также применением экономических санкций по отношению к России, но задействовала всю жесткость силовых механизмов. Это послужило дополнительным стимулом для более детального и глубокого анализа дискурсивных структур и стратегий, применяемых и распространяемых западными СМИ, представителями власти Украины, США и Евросоюза для освещения усугубляющейся напряженной обстановки в рассматриваемом регионе.

Автор придерживается позиции Т. ван Дейка, основоположника критического дискурсивного анализа, по мнению которого, исследования в области критического дискурсивного анализа не являются нейтральными, а разделяют интересы подчиненных социальных групп [6. С. 23]. Такой ракурс исследования позволяет изучать социальные проблемы не только для описания, объяснения, но и для прогнозирования, конструирования и моделирования ситуаций, требующих не просто объективного научного анализа, но и защиты интересов тех, против кого направлены современные дискурсы подавления.

Конструируются, как правило, противоположные реальности, разные картины мира. Ноам Хомский называет такое явление новым использованием

языка, когда слова начинают обозначать противоположное их смыслу (как развитие новояза в романе Дж. Оруэлла «1984»). Данное понятие он связывает с концепцией двойного мышления, существующей в любом обществе, в любых языках, концепцией двойных стандартов, когда в сознании существуют две противоположные концепции. Для того чтобы их примирить, люди смещают смысл слов [7].

Исследование когнитивных механизмов мышления, в том числе концепции двойного мышления, актуально в современном информационном обществе среди когнитологов и других исследователей, занимающихся изучением мозга, с целью расширения интеллектуального, когнитивного потенциала человека и усиления коммуникационных возможностей человека. Востребован анализ культа конформизма в западных СМИ, где отчетливо проявляется «жертвование критическим мышлением ради дешевого восторга от причастности к мифической битве между хорошим и плохим, к новой холодной войне <...> Журналистика соучастия, при которой западные обозреватели встают на сторону «хороших», на их взгляд, участников конфликта, не терпит нюансов; вся сложность ситуации неизменно отбрасывается; неудобные факты, противоречащие сценарию, отбрасываются в сторону, зато слухи и поддельные документы, которые подкрепляют сценарий, радостно подхватываются и попадают на первые страницы» [8].

В связи с вышеизложенным считаем, что критический анализ дискурса актуален и востребован в среде мыслящих людей и может быть полезен для интерпретации и валоризации современных социальных проблем. В критических исследованиях дискурса обычно используются следующие виды анализа: грамматический (фонологический, синтаксический, лексический, семантический), прагматический, риторический, стилистический, анализ специфики жанровых структур, конверсационный, семиотический для подробного изучения структур и стратегий дискурса. Фокус внимания располагается на таких характеристиках дискурса, как визуальные и аудиальные особенности (цвет, шрифт, свойства изображения, музыка), специальная интонация, грамматические и синтаксические структуры (например, выбор активного или пассивного залога), выбор лексики, семантики пресуппозиций или личные описания, риторические фигуры или аргументативные структуры, а также выбор определенных речевых актов, вежливых речевых оборотов, стратегий убеждения и пр. [1. С. 20–23].

В предлагаемой работе проводится анализ вербальных, визуальных характеристик конфликтного дискурса в аспекте номинации. К средствам креолизации вербальных текстов относятся изобразительные компоненты, соседствующие с вербальными и оказывающие существенное влияние на интерпретацию текста, а также все технические моменты оформления текста, влияющие на его смысл. Среди них следует назвать: шрифт, цвет, фон текста (цветной или иллюстрированный), средства орфографии, пунктуации и словообразования, иконические печатные символы (пиктограммы, идеограммы и т.п.), графическое оформление вербального текста (в виде фигуры, в столбик и т.п.), кернинг, интерлиньяж. В статье представлены репрезентативные примеры демотиваторов, которые, по мнению автора, наиболее ярко отражают смену позиции Украины по отношению к России и русскоговорящему насе-

лению на Украине. Материалом исследования послужили ленты русскоязычных социальных сетей Одноклассники и ВКонтакте, материалы сайта Демотиваторы, картинки в поисковой системе Гугл по запросу Россия – Украина и др. В ходе исследования было проанализировано более 400 политиконационалистических демотивационных постеров по теме конфликта между Украиной и Россией, что позволяет сделать определенные выводы, представленные ниже. Согласно методу В. Парето при объеме генеральной совокупности более 10 000 единиц или когда общее число неизвестно, но более 5000, валидность исследования достигается при выборке в 400 единиц. При этом допустимая ошибка достигает не более 5%. Руководствуясь данными положениями, для иллюстрации гипотезы исследования было отобрано 6 репрезентативных примеров демотивационных постеров из 400 проанализированных, которые представлены в данной статье и отражают борьбу дискурса за номинацию и конструирование реальности, выгодной заказчику.

Демотиватор (демотивационный постер) рассматривается как интернет-мем, один из актуальных интернет-феноменов, отличительной особенностью которого является формат подачи информации и тематическое наполнение. Формат демотивационного постера включает графический объект, снабженный надписью-слоганом/лозунгом. Помимо слогана или лозунга многие демотивационные постеры содержат текст-пояснение, выполненный мелким шрифтом, так или иначе оттеняющий смысловое наполнение изображения. Слоган рассматривается как генерация лаконичной, но емкой фразы, которая в полной мере отражает идею или суть всей деятельности компании или продвигаемого товара. Лозунг понимается как краткое, сжатое выражение, отражающее политические, идеологические принципы, выдвигаемые некой политической силой в качестве основы её деятельности в некий период. Такие отточенные фразы обладают аттрактивностью, персуазивностью, как правило, экспрессивно-стилистически окрашены, образны, индивидуальны. Выбор политического националистического демотиватора обусловлен его аттрактивностью и быстротой распространения данного жанра дискурса в социальных сетях в связи с обострением отношений между Украиной и Россией, легкостью его запоминания, мягкой силой воздействия на адресата. Полагаем, что распространение таких лозунгов способствует конструированию и эскалации ситуации конфликта, воздействует на целевого адресата так, чтобы сместить направление его интерпретации событий.

Аспекты идеи *умной настройки дискурса*: реализация возможности смещать, заменять одни смыслы на другие, устанавливать новые смыслы, способствующие изменению картины мира адресата и управлению его сознанием, отражаются в других исследованиях. Например, Т.В. Чернышова вводит *категорию псевдосоциальной деструктивной оценочности*» [9], когда вектор авторского описания смещается с самого факта-события на малозначительные детали, его сопровождающие, а внимание читателей концентрируется на отрицательных сторонах личности и деятельности субъекта речи через систему эмоционально-оценочных вербальных и невербальных средств в основном инвективной направленности. Л.А. Воронова говорит о *множественности интерпретаций* в конфликтном дискурсе. Дискурс конфликта содержит концентрированное выражение манипулятивных средств и приемов, что

обычно проявляется в информационных войнах как словесно-смысловое противостояние, сопровождающееся диффамацией как неадекватной порочащей информацией, а это всегда множество интерпретаций, в том числе прямо противоположных, способствующих рассогласованию взаимодействия через умножение негативных оценок и переход на личности [10]. Ю.К. Пирогова вводит интегрирующий термин *давление дискурса*, под которым понимает «совокупное действие разнообразных факторов дискурса, определяющих различие между гипотетическим сообщением, соответствующим исходным (основным) коммуникативным целям адресанта сообщения, и реальным сообщением/сообщениями, способным успешно выполнять воздействующую функцию в данном дискурсе» [11. С. 218]. Н.Б. Руженцева создает своеобразную «инвентаризацию» *компонентов возможной модели давления* политического дискурса на его конечный результат (текст с тем или иным воздействующим эффектом) на примере публикаций, посвященных украинским событиям 2013–2014 гг. [12. С. 120].

Согласимся с Л. Филлипс, М.В. Йоргенсен, что в пространстве конфликтного дискурса в полной мере действует *категория изменчивого знака*. «Изменчивый знак указывает, что один дискурс преуспел в фиксации его значения и что другие дискурсы борются, чтобы завоевать эту фиксацию» [13. С. 240]. Предлагая свой взгляд на то или иное положение вещей, адресант стремится представить его в такой форме и с помощью таких средств и приемов, которые способствуют солидаризации с адресатом через общие речемыслительные процессы. Планируемый адресантом перлокутивный эффект по большей части связывается с психологическими характеристиками адресата, его языковым сознанием, следствием чего является активизация со стороны адресанта когнитивно-лингвальных действий диалогического характера [14]. Пытаясь понять дискурс, интерпретатор хотя бы на миг переселяется в чужой мысленный мир. Опытный автор, особенно политик, предваряет такое речевое внушение подготовительной обработкой чужого сознания с тем, чтобы новое отношение к предмету гармонизировало с устоявшимися представлениями – осознанными или неосознанными. Расплывчатая семантика языка способствует гибкому внедрению в чужое сознание: новый взгляд модифицируется (это своеобразная мимикрия) под влиянием системы устоявшихся мнений интерпретатора, а заодно и меняет эту систему [15].

Таким образом, акцентируем внимание на деконструкции борьбы за номинации в медийном дискурсе посредством выявления лингвокогнитивных механизмов воздействия. Надеемся, что обозначение такой деконструкции позволит нейтрализовать социальный вред воздействия манипулятивных дискурсивных технологий и скрытой пропаганды.

Выявлены следующие лингвокогнитивные механизмы: *фреймирование* (как способ представления знаний и мнений об определенной типовой ситуации или явлении в определенных координатах в структуре определенного фрейма) и *рефреймирование ситуации* (как намеренное соскальзывание с одного фрейма на другой), *активация конверсиров* (слов, описывающих одну и ту же ситуацию с разных точек зрения), *фасцинация* (условия повышения эффективности воспринимаемого материала благодаря использованию сопутствующих фонов), *мобилизация* (употребляется с целью изменения суще-

ствующего положения дел, когда события представляются в драматическом виде, а положение рисуется как ужасное, требующее решительных действий), *демонизация, позиционирование «свои – чужие»* и др.

Рассмотрим демотивационные постеры 1–3 антироссийской направленности, отражающие и распространяющие крайне негативную позицию по отношению к России на фоне гордости за достижения Украины. Данные демотиваторы в виде креолизованных мини-текстов дают как вербальную информацию, так и визуальную. Особый выбор цветовой палитры неявно усиливает отрицательное отношение к России (преобладание черного цвета). Крупный шрифт, смещение текста по центру и заглавные буквы выделяют наиболее значимые фрагменты (по задумке авторов), акцентируют внимание на ключевых идеях. Просматриваемый сценарий принижения достоинств одной стороны противопоставляется увеличением (необоснованным логически) авторитета другой, что вербально выражается концентрацией языковых и композиционных прагматически фокусированных единиц. Усиливающееся противостояние коммуникативных антропоцентров (Украина и Россия) основано на оппозиции «свои – враги», эмоциональная обстановка искусственно нагнетается извне при помощи построения фреймов неприязни и обиды (такая пресуппозиция подразумевается в фоновой информации). Посредством выявления содержательно однородных текстов с ярко выраженной отрицательной оценочностью и обладающих персуазивным потенциалом, прослеживается интенция референта блокирования рационального восприятия ситуации адресата, «захвата» ключевых понятий, «протаскивания» нужных ему смыслов. Следовательно, наблюдаются признаки борьбы за номинацию как часть борьбы за власть посредством дискурса.



Демотиваторы 1, 2

Демотиватор 1 делает акцент на агрессивности и воинственности России по сравнению с Украиной, которая живет «22 года без войн», тогда как Россия участвовала в 4 войнах (использование ложной пресуппозиции) (1992 г. – Приднестровье, 1994–1996 гг. – Чечня, 1999–2009 гг. – Чечня, 2008 г. – Южная Осетия и Абхазия). При этом не уточняется: 1) какие именно 22 года; 2) с какого конкретно года и по какой год; 3) по чьей инициативе Россия была вынуждена проводить военные операции. Любые факты умело подгоняются в

рамки заданного сценария конфликта, в котором Россия обвиняется в агрессивности по отношению к соседним республикам и государствам (демотиватор 2). Фреймирование ситуации происходит в навязывании мнения, согласно которому Россия является агрессором и источником всех бед для Украины (это следует из импликаций общей совокупности выборки единиц анализа). Выявлено использование стратегии демонизации и перекладывания ответственности за украинские проблемы на Россию (на основе не вошедших в статью проанализированных примеров демотивационных постеров и фоновых знаний). Данные выводы подтверждаются большим количеством демотиваторов, делающих акцент на агрессивности при характеристике России.



Демотиватор 3

Демотиватор 3 построен в категоричной форме «Если ты хочешь жить в России, собери вещи и уезжай туда!». Использование директива говорит о навязывании своей позиции остальным участникам конфликта, инферирует значимость украинской политической силы и право управлять остальными гражданами страны. Небуквальное значение, не содержащееся непосредственно в предложении, но выводимое из него, выявляет импликацию неприязни по отношению к России, представляемой как исключительного инициатора разделения территории Украины. Анализ изображения – перечеркнутая красной чертой карта украинской территории с выделенными российскими флагом и гербом регионами со значительным числом русскоязычного населения – позволяет утверждать, что картинка дублирует текст-пояснение, выражает призыв к изменению места проживания тех, кто не согласен с проводимой политикой государства. Графическое изображение усиливает националистический лозунг и подчеркивает негативное отношение к возможному разделению Украины.



Демотиватор 4

Демотиватор 4 навязывает ассоциацию уважения к старшим, акцентируя внимание на том, что украинские города старше российских (данное выражение выделено ярким малиновым цветом), смещая смысл правоты на ценность старшинства. Сдвиг смысла имеет целью сместить фокус восприятия и поменять точку зрения на какое-либо событие, в данном случае логическая импликация выводит значение ложной позиции России и правоты украинской политики с целью поднять авторитет одной страны за счет принижения, высмеивания или оскорбления другой. Экспрессив *«Россияне, учите ИСТОРИЮ!»*, в котором последнее слово специально выделено заглавными буквами, подразумевает пресуппозицию мудрости украинского народа и отсутствие такого качества у русского народа. Дальнейший текст прямо объясняет, кто *«старший»*, а кто *«неразумное дитя»*, *«сошедшее с ума»* и заканчивается прямой угрозой *«ОПОМНИТЕСЬ, ЛЮДИ ИЛИ ВОЗМЕЗДИЕ НАСТИГНЕТ ВАС»*. Данное предложение снова выделено заглавными буквами с целью привлечения внимания и лучшего запоминания последнего предложения, несущего ключевой смысл. Используемая стратегия создания фантомной угрозы рассчитана на эмоциональное восприятие. Иррациональность текста мифологизируется отсылкой к *«возмездию»* по аналогии с религиозным возмездием грешникам за их грехи, что дополнительно интенсифицирует угрозу, заложенную в высказывание. Сравнительная конструкция *«вы как сумасшедшие со старой гранатой с выдернутой чекой»* содержит сильный негативный оценочный компонент семантики, несет большую степень экспрессивности и апеллирует к эмоциональному мышлению, придает высказыванию образность и выразительность, что позволяет добиться более глубокого воздействия на адресата. Использование слов с экспрессивной и оценочной коннотацией (например, *«сумасшедшие»*) позволяет оказывать воздействие на мнение адресата. Подбирая слова с негативной эмоциональной окраской, создатели таких лозунгов пытаются сме-

стить прежний образ «хорошего соседа» и создать новый негативный образ «агрессора», навязывая иную картину мира и новые номинации, соответствующие позиции крайнего национализма.

В демотивационных постерах 5, 6 отражено негативное отношение к желанию некоторых юго-восточных регионов Украины стать суверенными независимыми государствами и отсоединиться от прежнего центра по культурным, политическим, экономическим и т.п. причинам. Лозунги представляют собой заявления, основанные на оппозиции двух фреймов, двух видений мира, противоположных позиций. Одна часть «присоединение (оккупация, аннексия) Крыма к России» – это фрейминг, основанный на негативной интерпретации события: конструируется мнение об активно воздействующей принудительной силе России. Вторая часть «воссоединение Крыма с Россией» – фрейминг, основанный на положительной интерпретации ситуации: событие понимается и оценивается без принуждения через идею восстановления единства.



Демотиватор 5

Демотиватор 5 основан на силе воздействия двух экскламативов, подчеркивающих верность целостной стране с прежними границами, причем текст расположен по центру украинского флага и выделен заглавными буквами с целью привлечения внимания и увеличения значимости высказывания. Обе конструкции заканчиваются восклицательными знаками, а вторая даже тремя: «Я СТАВЛЮ КЛАСС И ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ СТОРОННИКОМ ЕДИНОЙ УКРАИНЫ! Я ВЫРАЖАЮ СВОЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ОККУПАЦИИ И АННЕКСИИ КРЫМА РОССИЕЙ!!!» Принимая во внимание экстралингвистические факторы, окружающие данное историческое событие, расшифровывается смысл неприятия результата политического процесса, закономерно получившего негативную оценку Запада и официальной власти на Украине, которые высказались категорически против такого действия, не признав его легитимным. В социальных сетях стали активно распространяться националистические демотиваторы, содержащие многочисленные вер-

бальные и креолизованные выпады против самоидентификации Крыма. Употребление лексических единиц с отрицательной коннотацией «оккупация» и «аннексия» способствует интенсификации персуазивности высказывания, позволяет ввести в текст эти понятия как данность, без рационального логического объяснения, направляет поток мыслей в заданном направлении. Экскламативность и личная дейктичность высказывания способствуют прямой адресации к каждому персонально, что создает иллюзию объективности и повышает статус сообщения, представив позицию авторов демотиваторов как мнение большинства, которое по определению право. Следовательно, происходит навязывание готового решения (механизм умной силы) – быть с большинством, другие варианты даже не рассматриваются. Такой прием навязывания пресуппозиции используется для подчинения адресата заданным рамкам, позволяет представить нужный смысл как правильный и естественный.



Демотиватор 6

Демотиватор 6 подчеркивает негативное отношение к самоопределению Крыма, используя средство речевой агрессии – оскорбление («кучка идиотов»). Акцентуация флагов как способ номинации страны (метонимический перенос части на целое, синекдоха) является приемом, позволяющим косвенно упомянуть объект, не называя его. «Я родился и всегда жил ЗДЕСЬ. ПОЧЕМУ из-за кучки идиотов я должен оказаться там? НЕ ХОЧУ!» Выделение отдельных лексических единиц большим размером и другим цветом влияет на определение ключевых слов. Адресат читает данный лозунг от первого лица как собственные мысли. Использование дейктических элементов – личного «Я» и локативного «здесь» – является дополнительным персуазивным средством, позволяет внедрить адресату идею о нежелательности перемен.

На текущем этапе исследования рассматриваемой проблемы было выявлено использование разнообразных персуазивных средств, интенционально

нацеленных на смещение смыслов, конструирование псевдоинтерпретаций событий, фреймирование ситуации нагнетания раздора между двумя братскими соседними странами. Стратегии демонизации образа врага и приближения угрозы, создание оппозиции «свои – враги», активизация фрейма национальной войны, способствуют экспликации конфликта.

По мнению автора, целью таких дискурсивных технологий конструирования субъективных негативно валоризованных интерпретаций и даже медиасобытий является создание у адресатов иной картины мира, противоположной российской, получение контроля над сознанием населения, доминирование в языке и коммуникации, навязывание определенной лингвистической номинации под воздействием эмоциональной псевдосоциальной деструктивной оценочности [9. С. 102]. Следовательно, требуется выработка специальных дискурсивных «антитехнологий» для распространения объективной правдивой интерпретации медиасобытий, деконструкции псевдоинтерпретаций, нейтрализации дискурса конфликта, снижения эмоционального накала, предотвращения дальнейших провокаций и пролонгации конфликта. Изучение воздействующего потенциала дискурса в целом и разработка теории умной настройки дискурса в частности способствуют осознанию и пониманию тех сил воздействия и лингвокогнитивных механизмов, которые власть использует в борьбе за общественное сознание.

Необходимость узнавать и противостоять лингвистическому манипулятивному воздействию основана на расширяющейся власти дискурса в медийном пространстве. Критически мыслящим индивидам важно иметь возможность получать достоверную информацию, чтобы самостоятельно оценивать ситуацию в мире и выражать свою гражданскую позицию. Изучение социальных проблем в ракурсе дискурсивного злоупотребления властью посредством медийного пространства, поиск выхода из кризисной ситуации и моделирование оптимального решения, согласно Т. ван Дейку, должно стать центром пристального внимания исследователей гуманитарного профиля.

Рассмотренные примеры не отражают в полной мере цели и результаты исследования автора, а являются иллюстративным материалом для пояснения аспекта проблемы власти дискурса в борьбе за номинацию. Некоторые данные введены пресуппозитивно, так как обоснованы в предыдущих работах автора и не являются целью данной работы. Исследование власти дискурса и сил, его регулирующих, находится в стадии разработки, поэтому нуждается в уточнении и дальнейшей апробации на более разнообразном эмпирическом материале. Заявленные выводы отражают субъективное мнение автора.

Литература

1. Тён А. ван Дейк. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / пер. с англ. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 344 с.
2. Якоба И.А., Дубровина А.С. Использование «умной настройки» Твиттером при проведении ИПО (ИРО) // Вестн. БГТУ им. Шухова. 2014. № 3. С. 232–239.
3. Якоба И.А., Лесниковская Е.В. Власть дискурса при интерпретации событий-аттракторов медийного пространства // Вестн. Иркут. гос. техн. ун-та, 2014. № 10. С. 352–359.
4. Якоба И.А. «Мягкая сила» в современной политике и дискурсивной технологии // Социологические исследования. 2014. № 12. С. 65–73.
5. Якоба И.А., Тимофеев С.С. К. Маркс как эффективный дискурсолог XX века: лингвокогнитивные механизмы «умной» настройки дискурса // Вестн. БГТУ им. Шухова. 2015. № 1.

6. Сорокин Ю.А. Политический дискурс: попытка истолкования понятия // Политический дискурс в России. М.: Наука: Флинта, 2007. 618 с.
7. Идеи, изменившие мир: Интервью с Н. Хомским [Электронный ресурс]. URL: http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=522870 (дата обращения: 14.05.14).
8. О'Нил Б. Двойные стандарты Запада пали еще ниже [Электронный ресурс]. <http://oko-planet.ru/politik/politiklist/242009-dvoynye-standarty-zapada-pali-esche-nizhe-spiked-velikobritaniya.html> (дата обращения: 07.05.2014).
9. Чернышова Т.В. Введение в заблуждение: прием создания выразительности или уловка? (на материале конфликтных и потенциально конфликтных медиатекстов) // Юрислингвистика. 2012. № 1 (12). С. 94–105.
10. Воронова Л.А. Фрейм-анализ как метод гендерных исследований СМИ // Журналистика в 2008 году. Общественная повестка дня и коммуникативные практики СМИ: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 9–11 февраля 2009. М., 2009. С. 327–330.
11. Пирогова Ю.К. Феномен давления дискурса в текстах маркетинговых коммуникаций // Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке. М.: Академ. проект, 2011. С. 218–225.
12. Руженцева Н.Б. Массмедийный политический дискурс: давление контекста и давление контента в свете украинских событий // Имплицинные и эксплицинные стратегии в восточноевропейском политическом дискурсе: материалы российской секции междунар. конф. «Ain't misbehavin'»? Implicit and explicit strategies in Eastern European political discourse / под ред. А.П. Чудинова, Э.В. Будаева; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», Цюрихский университет. Екатеринбург, 2014. 198 с.
13. Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ: Теория и метод / [пер. с англ.]. Харьков: Гуманит. центр, 2004. 336 с.
14. Синельникова Л.Н. Коммуникативное пространство адресант-адресатных отношений в современном публицистическом дискурсе // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. 2008. № 17 (156). С. 10–25.
15. Демьянков В.З. Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: учеб. пособие / отв. ред. М.Н. Володина. М., 2003. С. 116–133.

DISCOURSE POWER OF MEDIA SPACE IN THE STRUGGLE FOR NOMINATION.

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 122–134.

DOI 10.17223/19986645/35/10

Yakoba Irina A., Irkutsk State Technical University (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: irina_yakoba@mail.ru

Keywords: fight for nomination, interpretation, power verbalization, discourse construction, force of impact.

The aim of this article is to show the potential of discourse power in the struggle for the nomination, i.e. ability to shift, replace meanings, establish new meanings able to change the world view of the recipient, manage to control their consciousness, achieve selfish goals. The results of applied linguistic research in cognitive mechanisms and linguistic means in the struggle for nomination in the media discourse in the Internet environment are given. The study was conducted with the critical discourse analysis means. The predominance of the use of linguistic means of promoting axiological reality construction for the implementation of social power in modern society is revealed. The material for the study is based on networks public data of social political and economic problems in Ukraine. The struggle for nomination is a widespread linguo-cognitive technology of soft power impact in global world, where the main struggle is for human minds, control over consciousness. Latest events in Ukraine marked the beginning of a new stage of infowar against Russia with the means of “soft”, “hard” and “smart” powers. Info-psychological confrontation is the main instrument of winning and maintaining the political, economic, religious power. This topical discourse technology possesses semiotic attractiveness and cognitive power; it is directed to construct necessary result and neutralize parallel unprofitable opportunities of social world development for the customer. As a rule, two different realities, two different pictures of the world are constructed. Noam Chomsky calls it a new language usage, when words get opposite ideas. The study of cognitive mechanism of thinking, including the double thinking conception, is topical and claimed in modern informational society among cognitivists and other scientists studying brain, human intellectual cognitive potential development, intensification communicative human abilities. The category of a changeable sign is operated in a conflict discourse. The necessity to recognize and withstand the linguistic manipulative impact is based on the

expanding power of discourse in the media space. The study of social problems from the perspective of discursive abuse of power by the media space, finding a way out of the crisis and modeling the optimal solution, according to T. van Dijk, should be the center of attention of researchers in humanities.

References

1. Dijk Teun A. van. *Diskurs i vlast': Reprezentatsiya dominirovaniya v yazyke i kommunikatsii* [Discourse and Power: Representation of dominance in language and communication]. Translated from English. Moscow: Knizhnyy dom "LIBROKOM" Publ., 2013. 344 p.
2. Yakoba I.A., Dubrovina A.S. How Twitter uses "smart tuning" when carrying out IPO (initial public offering). *Vestnik BGTU im. Shukhova – Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov*, 2014, no. 3, pp. 232–239. (In Russian).
3. Yakoba I.A., Lesnikovskaya E.V. Discourse power in media space events-attractors interpretation. *Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta – Bulletin of Irkutsk State Technical University*, 2014, no. 10, p. 352–359. (In Russian).
4. Yakoba I.A. "Soft power" in contemporary politics and discourse technologies. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*, 2014, no. 12, pp. 65–73. (In Russian).
5. Yakoba I.A., Timofeev S.S. K. Marx as an effective discourse analyst of XX century: linguo-cognitive mechanisms of smart discourse tuning. *Vestnik BGTU im. Shukhova – Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov*, 2015, no. 1, pp. 270–274. (In Russian).
6. Sorokin Yu.A. *Politicheskii diskurs: popytka istolkovaniya ponyatiya* [Political discourse: an attempt to interpret the concept]. In: *Politicheskii diskurs v Rossii* [Political discourse in Russia]. Moscow: Nauka Publ.: Flinta Publ., 2007. 618 p.
7. Idei, izmenivshie mir. Interv'yu s N. Khomskim [Ideas that changed the world. Interview with N. Chomsky]. Available from: http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=522870. (Accessed 14.05.14).
8. O' O'Neill B. *Dvoynye standarty Zapada pali eshche nizhe* [Western double standards hit a new low]. Available from: <http://oko-planet.ru/politik/politiklist/242009-dvoynye-standarty-zapada-pali-eshe-nizhe-spiked-velikobritaniya.html>. (Accessed 07.05.2014).
9. Chernyshova T.V. Misrepresentation: a tool of trick or expressiveness? (on the basis of conflict or potential conflict of media texts). *Yurilingvistika*, 2012, no. 1 (12), pp. 94–105 (In Russian).
10. Voronova L.A. [Frame analysis as a method of gender media studies]. "*Zhurnalistika v 2008 godu. Obshchestvennaya povestka dnya i kommunikativnye praktiki SMI*": materialy Vserossiyskoy nauch.-prakt. konf. ["Journalism in 2008. Public Agenda and Communication Media Practices": Proc. of All-Russian Scientific and Practical Conference]. Moscow: Moscow State University Publ., 2009, pp. 327–330. (In Russian).
11. Pirogova Yu.K. *Fenomen davleniya diskursa v tekstakh marketingovykh kommunikatsiy* [The phenomenon of pressure discourse in the texts of marketing communications]. In: Volodina M.N. (ed.) *Yazyk i diskurs sredstv massovoy informatsii v XXI veke* [Language and discourse of the media in the 21 century]. Moscow: Akademicheskiiy proekt Publ., 2011, pp. 218–225 (In Russian).
12. Ruzhentseva N.B. [Political discourse of the mass media: the pressure of the context and content in the light of the Ukrainian events]. *Implitsitnye i eksplitsitnye strategii v vostochnoevropeyskom politicheskom diskurse: materialy rossiyskoy sekti mezhdunarodnoy konferentsii "Ain't misbehavin'? Implicit and explicit strategies in Eastern European political discourse"* [Implicit and explicit strategy in the Eastern European political discourse: the materials of the Russian section of the international conference "Ain't misbehavin'? Implicit and explicit strategies in Eastern European political discourse"]. Ekaterinburg, 2014, pp. 119–131.
13. Phillips L., Jorgensen M. *Diskurs-analiz. Teoriya i metod* [Discourse analysis. Theory and Method]. Translated from English. Kharkov: Gumanitarnyy Tsentr Publ., 2004. 336 p.
14. Sinel'nikova L.N. Kommunikativnoe prostranstvo adresant-adresatnykh otnosheniy v sovremennom publitsisticheskom diskurse [Communicative space of the sender-receiver relations in modern journalistic discourse]. *Visnik Lugans'kogo natsional'nogo universitetu imeni T. Shevchenko*, 2008, no. 17 (156), pp. 10–25.
15. Dem'yankov V.Z. *Interpretatsiya politicheskogo diskursa v SMI* [The interpretation of political discourse in the media]. In: Volodina M.N. (ed.) *Yazyk SMI kak ob'ekt mezhdistsiplinarnogo issledovaniya* [Language of the media as an object of interdisciplinary research]. Moscow: Moscow State University Publ., 2003, pp. 116–133.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821.161.1.09–4+929 Соснора
DOI 10.17223/19986645/35/11

В.В. Биткинова

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА, СТИЛЕВОЙ ДИАЛОГ И ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ИСТОРИЧЕСКИХ ЭССЕ ВИКТОРА СОСНОРЫ

В статье рассматриваются языковые способы разрушения исторических мифов и создания субъективно-авторской концепции эпохи Екатерины II в исторических эссе В. Сосноры: принципы использования языковых особенностей документов-источников, стилистика их авторского комментирования, языковая игра (остранение клишированных выражений, столкновение исторического и современного значений слова, сопоставление квазинаучных, беллетристических, лирических, публицистических фрагментов, поэтические приёмы и др.).

Ключевые слова: В. Соснора, историческое эссе, исторический миф, документ, стиль, языковая игра, Екатерина II, Пётр III, Г.Р. Державин.

В художественных произведениях, обращённых к историческим событиям, оптику восприятия и систему оценок прошлого во многом задаёт язык: точность воспроизведения источников, языковой портрет эпохи, стилизация и, наоборот, модернизация языка, отличие речи автора от речи персонажей. При изучении исторической прозы В. Сосноры эта проблема особенно актуальна.

Сам Соснора настаивает на том, что для поэта язык играет определяющую роль («Небезразлично мне только одно – язык. Я им живу, я – его кровь, его внутреннее, его дух» [1. С. 98]¹), соответственно, в художественном тексте приём важнее содержания². В. Новиков, названный в одной из статей единственным «без малого за полвека» «надежным исследователем» автора [2. С. 15], говорит, что у Сосноры всегда был «интенсивный роман с языком» [3]. А. Арьев отмечает у него на всех уровнях текста элементы языкового творчества, эксперимента, создания смысла в недрах формы: «Вопрос о звучании совпадает у Сосноры с вопросом о понимании»; «Книга жизни Виктора Сосноры обеспечена жизнью букв. Она – буквальна»; «Много меньше прочих граждан творец этот упоает на грамотность»; его поэтическая интона-

¹ Так как книга В. Овсянникова «Прогулки с Соснорой» будет для нас основным источником мнений писателя, нужно обозначить её специфику. В ней опубликованы личные разговоры, записываемые составителем по памяти на протяжении почти 30 лет (1978–2008 гг.). По отношению к историческим эссе она представляет позднейшие взгляды автора. Спецификой составления книги частично объясняются несовпадения высказываний по одним и тем же вопросам. Кроме того, необходимо учитывать склонность В. Сосноры к эпатажу и мифологизации собственной биографии.

² Поэтому он считает, что из литературоведческих школ «в России только Опояз имел смысл. Шкловский, Эйхенбаум, Тынянов и прочие. Они занимались только чистыми формами, то есть истинными ценностями в этом конкретном деле» [1. С. 142].

ция, метрика, ритм «зачастую <...> далеко уклоняются от параметров стиха, рассматриваемых стиховедческой наукой» [2. С. 15–16].

Что касается произведений исторической тематики, то уже в сборнике «Всадники» (1969 г.), где опубликованы созданные в 1959–1966 гг. поэтические фантазии на темы древнерусской истории и словесности, в которых, как считает сам Соснора, «засверкала впервые индивидуальность в полную силу» [1. С. 327], автор предисловия, Д.С. Лихачёв, отмечает «открытие» прошлого в современности, в том числе через язык: «Его стихи рождаются <...> из находок в самых недрах русского языка. Идеи рождаются у самых корней слов. Соснора <...> дирижирует этим хором словесных созвучий так, что постепенно становятся ясными новые рождённые ими смыслы», а «поэтические образы “Слова” становятся как бы свойствами самого русского языка» [4. С. 8–9]. «Я давно всё это понял: на что надо ориентироваться, – утверждает Соснора. – Уже в двадцать три года я обратился к древнерусскому языку, к летописям, к “Слову о полку Игореве” <...> Весь мой язык – по напряжению, по составу, по корням – из древности» [1. С. 98].

Подобное переживание языка объясняет и отношение поэта к русской словесности XVIII в.: он неизменно отрицательно высказывается о Карамзине, который «не очистил, а унизил и ослабил, засахарил» [1. С. 167] русский язык, и выделяет среди литераторов того времени Державина, Тредиаковского, Татищева, Радищева, даже графа Хвостова – тех, кто сохранил родственную древнерусской энергию языка [1. С. 131, 135, 181, 191, 438, 577]¹, чьё стилистическое экспериментаторство во многом опиралось на архаизаторские интенции, а неосознанные «нелепости» потенциально содержали открытия позднейшей авангардной поэзии (футуристов, обериутов).

В прозе Сосноры активно используются поэтические приёмы (ритмизация, обыгрывание формы слова, аллитерация), однако в исторических эссе² об эпохе Екатерины II «Спасительница отечества», «Две маски», «Державин до Державина» (все 1968 г.) важнее формо-смыслового оказывается образно-смысловой потенциал источников. Я. Гордин, объясняя суть метода автора, пишет: «Проза Сосноры историческая по своей исходной точке – он отталкивается от конкретного и серьёзного знания», но «Проза Сосноры “псевдоисторическая” по своему главному методу – превращению события в метафору, процесса – в систему метафор. Соснору интересует не столько процесс как таковой, сколько заострённый – иногда до парадоксальности – образ процесса» [6. С. 5].

И.В. Ащеулова, характеризуя русскую историческую прозу 1920–1930-х, 1960–1970-х и 1980–1990-х гг., отмечает разницу в принципах работы писа-

¹ Примечательно, что Соснора если не вполне и не всегда разделял, то, по крайней мере, с интересом относился к версии о создании «Слова о полку Игореве» в XVIII в., возможно, Н.А. Львовым [1. С. 308].

² Жанр этих произведений заслуживает отдельного рассмотрения. В журнальных публикациях и в сборнике «Властители и судьбы» они обозначены как повести; «историческими повестями» называет их в разговорах автор [1. С. 125, 162, 235, 515]; такова же критическая и исследовательская традиция. Но ряд важных структурообразующих принципов, разрушающих повествовательное начало, делает, на наш взгляд, более продуктивной ориентацию на другую жанровую основу – эссе. В качестве дополнительного доказательства «законности» такого определения сошлёмся на разность (повесть и эссе) обозначений жанра сходного исторического произведения В. Сосноры – «Николай» [5].

телей с документом. Метод Сосноры исследовательница определяет как «предпостмодернистский» [7. С. 48]: его произведения о XVIII в. «встраиваются в контекст исторической прозы 1960–1970-х гг., но и отличаются как от официальной (иллюстративной), так и от параллельной (интерпретационной) линий исторического повествования»¹. Для последней «характерно не столько сомнение в документе (и в действительности самого события), сколько внимание к документу как недостоверному, но единственному источнику знания о прошлом, требующему <...> объяснения причин известного варианта и его последствий, видимых из настоящего» [7. С. 47]. У Сосноры же «место анализа и интерпретации факта занимает игра в “было / не было”, место художественной реставрации прошлого – фантазмагорическая версия прошлого» [6. С. 48], он «ставит проблему <...> понимания документа-текста, который требует расшифровки. В процессе расследования появляются дополнительные, ранее скрытые варианты понимания события и поведения исторической личности, что в конечном итоге меняет семантику события русской истории. Таким образом, Соснора в решении проблемы соотношения события-факта и документа-текста пользуется методом исторической прозы 1970-х гг., но приходит к постмодернистским выводам о фальсификации истории в текстах» [7. С. 48].

Обращаясь к языковой стороне интерпретации Соснорой событий и текстов эпохи Екатерины II, следует выделить несколько аспектов: принципы использования языковых особенностей источников, стилистика их комментирования, соотношение с различными формами языковой игры.

Я. Гордин пишет, что Соснора в исторических эссе «всячески подчёркивает своим стилем их неадекватность сырому материалу» [6. С. 6]. Этот стиль отличает неоднородность, соединение элементов, традиционно связываемых с разными функциональными стилями языка. Фамилии с инициалами, подробные списки, большое количество числительных, а также заключённые в кавычки цитаты из документов, иногда с указанием источника или хотя бы автора создают эффект «научности». В «беллетристических» эпизодах писатель – в духе традиционной исторической романистики – прибегает к психологизации, используя, в частности, перевод сведений из источников в форму прямой и несобственно-прямой речи персонажей, и не обязательно реальных авторов документов (так, известные по Запискам Екатерины II конфликты её с супругом Соснора даёт через призму восприятия Петра, и знаменитый эпизод повешения крысы демонстрирует уже не глупость и склонность к жестокости, а «грустное мальчишеское любопытство» будущего злосчастливого императора и его «бравладу» перед недоброй, «хитренькой» «девицей»-женой [6. С. 77–78]). Высоколиричные размышления о трагедии творческой личности в мире политики (Державин, Мирович, даже Пётр III), развивающие сюжеты и

¹ Подробная типология исторической прозы 1960–1970-х гг. представлена исследовательницей в статье «Историческая проза В. Шарова в контексте русской исторической прозы второй половины XX – начала XXI в.» [8. С. 82–83]. В статье о Сосноре, как наиболее близкий писателю контекст «альтернативной исторической прозы», перечислены представители «экзистенциальной прозы» 1960–1970-х гг. М. Алданов, Б. Окуджава, Ю. Трифонов, Ю. Давыдов [7. С. 47]. Литературные критики, стоящие на противоположных идеологических позициях, также причисляли его к когорте Б. Окуджавы, Ю. Трифонова, Д. Самойлова Я. Гордина и противопоставили, в частности, В. Пикуну [10, 11, 12].

мотивы творений героев, перемежаются публицистическими инвективами в адрес властителей. Поэтические приёмы соседствуют с канцеляризмами (Соснора говорил: «Если у меня и есть <...> канцеляризмы, они у меня всегда иронически повернуты, никогда всерьёз» [1. С. 135])¹.

Говорить о релятивизме в представленной трактовке екатерининской эпохи нельзя: фрагменты с беллетристической, лирической и особенно публицистической доминантой авторскую позицию выявляют однозначно². Но «научность» в свете иронии, возникающей из взаимодействия разностилевых элементов, превращается в квазинаучность. Создаётся произведение, кардинально отличающееся от официальной литературы, претендующей на серьёзное, базирующееся на верных основаниях³, а значит, единственно правильное освещение истории (в «Спасительнице отечества» содержатся выпады как против «историков», которые «забывают, что помимо документов существовали ещё движения, конвульсии губ, обкусанный ноготок на мизинце, детали одежды» [6. С. 117], так и против «беллетристов», которые «конструируют свою посредственную философию по схемам “жизненного” чертежа и калькируют эти схемы, так получаются “художественные произведения, которые имеют воспитательное, познавательное, историческое значение”» [6. С. 119]).

В эссе приводится много количественных данных: даты, цены на продукты, статистика преступности и помесечная роспись смертности во время эпидемии чумы в Москве 1770 г., реестр наград Державина и суммы, потраченные Екатериной на фаворитов, сведения о налогах, штат и бюджет содержащегося в заключении Брауншвейгского семейства и т.д. Но ожидаемые функции столь точного изложения фактов, как и ссылок на источники, демонстративно нарушаются или обыгрываются. В первую очередь разрушается представление о том, что обилие сведений – гарантия доказательности. В «Двух масках» читаем: «Все факты остаются. Факты – важны. Но не менее важна и трактовка фактов» [6. С. 183]. Принципиально отрицается объективность опирающегося на документы исторического повествования: мемуары участников екатерининского переворота «цитировали двести лет, не догадываясь, что свидетели – убийцы императора Петра III, что их показания, безуслов-

¹ Сам автор говорил о повести «Где, Медя, твой дом?» (1963 г.), что в ней стилизация, «маньеризм такой со смесью канцеляризов» [1. С. 482]. Возможно, сходство приёмов в области стиля, наряду с общностью проблематики – «властители и судьбы» – позволило позже объединить их в одной книге с эссе из екатерининских времён.

² Возможно, это является одной из причин позднейших невысоких оценок данных произведений самим автором [1. С. 125, 162, 235, 515]. Соснора настаивает на внеморальности искусства, несовместимости дидактического и поэтического начал («Когда поэты начинают читать наставления – это конец» [1. С. 160], «Как только у художника появляется что-то человеческое, он кончился, перестал быть художником» [1. С. 276] и др.); в других своих произведениях он особо подчёркивает ироническое размывание «резонёрства» (например: «В последней книге стихов я нашёл способ от этого избавиться: уничтожать высказывание тем, что говорится после» [1. С. 265]). Но та же однозначность, в первую очередь, нравственных оценок и переоценка стереотипов с точки зрения гуманистических ценностей, отмеченная сочувствующими критиками Я. Гординым [6. С. 5–7] и В. Новиковым [12], вписывает екатерининские эссе Сосноры в то направление исторической прозы, которое представлено в творчестве Б. Окуджавы, Ю. Давыдова, Н. Эйдельмана.

³ В. Юдин в начале своей статьи напоминает о необходимости в области искусства и культуры следовать «основополагающим принципам марксистско-ленинской диалектики <...> народности, партийности, историзму» [11. С. 262]; М. Лобанов с негодованием пишет об «ухмылочке», «многозначительной иронии» в исторических романах Окуджавы [10. С. 257].

но, – самооправдание, а потому, безусловно, – ложь» [6. С. 108]. Открыто субъективен и автор эссе: подборки фактов, оформленные как «сухие» списки, чаще всего завершаются публицистически оценочным пассажем; когда же его нет, возникает значимая фигура умолчания, подборка «говорит сама за себя», подталкивает читателя к определённым выводам.

Публицистический эффект, полемичность по отношению к общепринятым мифам, наконец, просто демонстрация возможности противоположных трактовок создаются с помощью стилистической антитезы. Она является структурообразующим приёмом в «Двух масках», где сталкиваются точка зрения историографии XIX в. и авторская интерпретация заговора подпоручика Мировича. Две части эссе называются «Версия первая: смерть сумасшедшего и казнь авантюриста» и «Версия вторая: смерть узника и казнь поэта». Соответственно представляются и другие лица трагедии; например, тюремщики Власьев и Чекин – то «исполнительные мученики», которые восемь лет «сдерживали слёзы страха и сострадания» и терпели «издевательства этого так называемого императора» [6. С. 156], то «убийцы», «недоразвитые офицеры», которые дразнят Иоанна, потому что это «льстит их холуйскому самолюбию» [6. С. 188]. Стиливая гипертрофия даже в большей степени, чем контраст, несёт авторскую оценку. «Версия первая» разрушается уже в первой части благодаря стилевому оформлению: ирония, основанная на преувеличении тех образов злодея и жертв, которые предлагала «официальная историография», превращает её в фарс (Соснора употребляет слово «оперетта» [6. С. 169]). Планы Мировича-«авантюриста» излагаются следующим образом: «Бердникова заковывают в цепи, и он благодарит»; «Как же так? – удивляются офицеры. – А может быть, вы нас убьёте? <...> Это будет торжество справедливости» [6. С. 167] и т. д.

Проявлением иронии и инструментом разрушения историографических мифов является само обилие точных данных: оно заметно превышает «допустимое» в художественном повествовании, и таким образом обнажается «приём», возникает напоминание, что текст эссе «написан», как до этого были написаны тексты оспариваемых исторических сочинений.

Кроме того, с фактологическими списками в диалог другие – тоже подробные перечисления деталей, имеющих художественную природу (портретов, пейзажей, натюрмортов и др.). В ряде случаев они опираются на документ, но при этом трансформируют его; в частности, «списки» почти всегда удлиняются. Например, Г.Р. Державин пишет, что 28 июня 1762 г. «кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены <...> солдаты и солдатки, в неистовом восторге и радости, носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякия другия дорогая вины и лили все вместе без всякаго разбору в кадки и боченки, что у кого случилось» [13. С. 433]. Соснора картину разгула разворачивает: «Солдатские невесты и девки с неистовым блеском очей, с противоестественной быстротой, бегом-бегом, побыстрее – побольше успеть и унести, поменьше упустить, – простоволосые, без башмаков, пьяные и непьяные, таскали пиво, мёд, водку – кто что мог, кому что попадалось под руку – графин, ушат, глиняный или стеклянный кувшин, медный таз, наспех ополоснутое помойное ведро, банный ковшик; они сливали это нечаянное счастье в кадушки, выливая из кадушек на каменный пол казармы прошло-

годние запасы – солёные огурцы и квашеную капусту, в которой квасились ещё яблоки и арбузы» [6. С. 123].

В подобных нанизываниях однородных признаков заметная роль отводится языковой игре: аллитерации, сопоставлению родственных слов, синонимов, антонимов, построению сходных и различающихся синтаксических конструкций. Тот же принцип используется в сочетаниях «лицо – признак» и «лицо – действие», например: «Звон знамён, локоть к локтю, к штыку штык, вставала солдатская Россия <...> эта мужественная музыка, это охватившее всех чувство часа! – Разумовский *развевался*» [6. С. 120]. Таким образом, фактологической, причинно-следственной связи явлений противопоставляется не менее в своём роде убедительная поэтическая.

Обыгрываются даже правила орфографии. Например, памятное всем со школы и потому обесмыслившееся сочетание слов-исключений в написании одной / двух «н» в суффиксах прилагательных «оловянный – деревянный – стеклянный» используется Соснорой в парном портрете неуклюжего чиновника, «тирана правды» Державина и утончённого лицемера Александра I. «Деревянный» – сквозная метафора образа Державина; но при столкновении этого в высшей степени живого человека с царём автору важно подчеркнуть «искусственность» последнего. Искусственный словесный ряд этому способствует: «Император <...> стеснялся, как девушка <...> сидел в деревянной позе (или – стеклянной!), белые пальцы блуждали по столу, наманикюренные ногти отстукивали какой-то механический марш (по лакированному, как роль, столу)» [6. С. 49].

Важным инструментом добывания правды Соснора делает анализ, интерпретацию, в некоторых случаях – игру с языком документа. Можно сказать, что по отношению к XVIII в., в отличие от Древней Руси, автор ищет новые смыслы не «в недрах языка», а в недрах стилистики. Так, рассмотрение бумаг Екатерины II способно, по его мнению, заменить любое «расследование» или «судебно-медицинскую экспертизу» [6. С. 93]: «...исподволь, как будто объективно, репликами и ремарками она подготавливает будущих судей: чтобы они были снисходительны к ней и осудили её супруга. Реплики и ремарки – они настолько специальные, продуманы, что не остаётся ни малейшего сомнения в том, что её алиби – несостоятельное» [6. С. 81].

Словно подхватывая приём, предложенный в Собственноручных записках императрицы, – доказательство тезиса «счастье не так слепо, как его себе представляют», на «двух разительных примерах» Екатерины II и Петра III [14. С. 203], – Соснора сталкивает соответствующие по тематике выдержки из Записок, а упоминаемые в них качества одного и другого героя выделяет курсивом. При этом большие куски с информацией о разных лицах и событиях двора Елизаветы пропускаются, читателю представляются концентрированные «характеристики». В такой подаче, действительно, в первую очередь бросается в глаза предвзятость мемуаристики. Выделенных слов очень много, все они несут, главным образом, оценку, и с одной стороны оказываются «слабый, неказистый, малорослый, хилый и бледный» отец, любимый слуга и наставник – «человек довольно грубый и жестокий» и сам герой, который с детства проявляет «отрицательные черты характера», «упрям, вспылчив <...> слабого и хилого сложения», «неподатлив ко всякому назиданию», а с

другой – родители, которые «пользовались большой популярностью, были непоколебимо религиозны и любили справедливость», воспитательница – «об-разец добродетели и благоразумия», имеющая «возвышенную душу, развитой ум, превосходное сердце», и девочка, которую считали «ангелом», «одарённая очень большой чувствительностью и внешностью интересной», с «хорошей памятью», «отличным контральто» и «философским складом ума» [6. С. 81–82].

О личной драме супругов в описании Екатерины Соснора замечает: «Она с пренебрежением, с презрением перечисляет “страстишки” и “шашни” Петра», «постоянно и злобно акцентирует “горбатой”», говоря об одной из его любовниц, «У него – “страстишки” и “шашни”. У неё – “страсть” и “роковая любовь”» [6. С. 90]. Наконец, процитировав почти без купюр письмо императрицы к С.А. Понятовскому [15. С. 103–104], но также графически выделив в нём наиболее одиозные моменты, автор резюмирует, отмечая лживость не только содержания, но и тона письма: «Какое обилие полуласкательных прилагательных! Оказывается, Орлов не был беспринципным и бездушным легионером, убивающим кого попало. Он был “смирный” и “избранный” представитель России. Оказывается, тюрьма Ропши совсем и не тюрьма, а “местечко уединенное и очень приятное”. Оказывается, в цитадели зверства, в Шлиссельбурге, Тайная канцелярия готовила для Петра не камеру-одиночку <...> а – “хорошие и приличные комнаты” <...> Оказывается, в Ропше Пётр имел “всё, что хотел”. Во всём виноват оказался лишь “Господь Бог”» [6. С. 92].

Подробно останавливается Соснора на записке, в которой Алексей Орлов сообщает «матушке» о смерти её мужа (и своего государя). Сторонники лично Екатерины, а потом защитники самодержавных устоев государства хотели видеть в ней документ, доказывающий непричастность Екатерины к убийству Петра III. И уже Ф.В. Ростопчин, снявший с неё в 1796 г. копию, благодаря чему этот текст стал известен, обращал внимание на «слог», который, по его мнению, «означает положение души сего злодея и ясно доказывает, что убийцы опасались гнева Государыни» [15. С. 136]. Соснора цитирует записку не полностью и неточно, но передаёт суть «покаяний» Орлова, старается воспроизвести особенности языка, а также описывает почерк – «пьяный, разбросанный». Интерпретация им стиля записки полемически направлена против защитников Екатерины, и именно на основе стиля он реконструирует истинную суть произошедшего и облик участников: «Орлов просит пощады и прощения, раскаивается – следовательно, императрица ничего не знала <...> Как будто императрица должна была убить императора своей рукой <...> Обилие пьяных восклицательных знаков [кстати, в тексте эссе их больше, чем в опубликованных источниках. – В.Б.] тоже ни о чём не говорит, во всяком случае о непреднамеренности убийства. Это могут быть знаки – совсем не раскаянья, а торжества! Если отбросить сентиментальные междометья, смысл записки ясен: они напоили Петра, напились сами и зверски убили его, сообщая» [6. С. 136–137].

Развенчивая миф о «Екатерине II, Великой» [6. С. 126], Соснора сопоставляет фразеологию её писаний с реальными – далеко не столь блестящими – деяниями, а также сравнивает с другими собственноручными докумен-

тами, демонстрирующими мелочность и эгоистичность их автора. «О своих умственных способностях она думала и писала в превосходной степени!» [6. С. 93], «Её фразы по своему объёму [приводятся цитаты, где Екатерина говорит о себе как о вдохновителе французских философов, вершителе судеб «всей Европы», Индии, «всей вселенной». – В.Б.] <...> с годами приобретали всё более космические масштабы» [6. С. 97].

Вынесенное в заглавие «спасительница отечества» Соснора подаёт в первую очередь как самохарактеристику и именно в этом качестве многократно обыгрывает, всё более сгущая вокруг неё ореол авторской иронии. С этой целью используются выделения заглавными буквами, гипертрофированно возвышенные или ложно уничижительные обороты речи: «На каждой странице своих автобиографий она заявляет, что Россия видела в её лице СПАСИТЕЛЬНИЦУ»; «Значит, семнадцать лет, день за днём, она совершала такие деяния, что вся страна затаив дыхание ожидала того замечательного и неповторимого момента, когда СПАСИТЕЛЬНИЦА сядет на престол и спасёт ОТЕЧЕСТВО»; значит, она делала нечто, что давало «повод Российской империи, а особенно простонародью, видеть в ней, как она скромно признаётся, – СПАСИТЕЛЬНИЦУ» [6. С. 97–98].

Но самым сильным контраргументом в споре о праве Екатерины «называть себя таким высоким библейским словом-символом» [6. С. 97], Соснора делает её Хронологические заметки. Выбор документа явно тенденциозен: Хронологические заметки [14. С. 195–200], даже на фоне остальных автобиографических текстов императрицы, действительно, выглядят мелко, описания характеров, рассказы о людях и событиях придворной жизни времён Елизаветы в них свёрнуты, и в центре «эгоистически» оказываются исключительно мемуаристка и нелюбимый ею супруг. Вехи своей жизни Екатерина помечала значимыми для себя фактами, которые призваны были помочь ей позже восстановить весь событийный ряд соответствующего периода; но постороннему эти факты (особенно в подборке, данной в эссе) должны казаться совершенно незначительными: зубная или головная боль, «меланхолия», слёзы (в скобках постоянно акцентируется: «её боль», «её слёзы», «её меланхолия», «её зуб»), «маскарады и кокетничанья», «страстишки» и «шашни» великого князя, кража им карандаша [6. С. 98].

Целям полемики и выявлению истины способствует такой приём, как перевод текста исторического документа в противоположный исходному и вообще невозможный «в реальности» стилевой регистр. Утверждению из первого манифеста Екатерины о том, что её возвели на престол «ИЗБРАННЫЕ НАРОДОМ ВЕРНОПОДДАННЫЕ», Соснора противопоставляет сведения о наградах, которые получили заговорщики, в том числе крепостными крестьянами. Расплывчато-лживая «поэтическая» фраза источника переводится на язык современной автору и читателю эссе политической терминологии: «Иными словами: 18 000 избирателей были подарены в пожизненную кабалу своим депутатам» [6. С. 139–140].

Стилевое оформление образа Петра III – иное. Соснора сочувственно описывает его законодательную деятельность, не завершённые или отменённые после его смерти реформы. За основу одной из сцен столкновения императора со «всей жрущей и обворовывающей всё и вся системой» [6. С. 106]

берётся Мнение, якобы поданное Петром в Синод 25 июня 1762 г. [16]. В шести его пунктах содержатся распоряжения о веротерпимости, отмене или смягчении ряда церковных установлений, причислении монастырских крестьян к государственному ведомству (в трактовке Сосноры – освобождении [6. С. 105]). И опять стиль документа становится основой для интерпретации ситуации и характеристики личности. Точно процитировав Мнение в сцене чтения его Пером в Синоде, автор позже повторяет последний пункт, заменив начальное «чтоб дать волю» на «дайте мне волю», ритуальное «от нас» на «от меня». Благодаря этим, казалось бы, незначительным, формальным изменениям из «сухого» документа вырастает картина трагического противостояния одинокого человека (трижды возникает местоимение первого лица единственного числа) и системы: «ДАЙТЕ МНЕ ВОЛЮ ВО ВСЕХ МОИХ МЕРНОСТЯХ, И, ЧТО НИ БУДЕТ ОТ МЕНЯ ВПРЕДЬ ПРЕДСТАВЛЕНО, НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ. Это – не приказ. Это – просьба. Это как молитва: господи, смилуйся! Глас вопиющего в пустыне» [6. С. 109]. Примечательно, что, отказывая Екатерине в праве на «высокую» библейскую стилистику, Соснора вводит её в образ Петра III, обвиняемого «спасителями отечества» в разрушении религиозных устоев.

Стилистическая перекодировка речи Петра направлена на разрушение издавна принятой трактовки его как «идиота», не понимавшего, что настраивает против себя всю страну, и не замечавшего зреющего заговора. Соснора создаёт образ артистической личности, человека, который прекрасно осознаёт ситуацию, но от отчаяния, а также из презрения к «холоум-хитрецам» «прикидывается комиком в эксцентричном картузе» [6. С. 73]. Из письма Екатерины к Понятовскому [15. С. 104] и Записок Дашковой [17. С. 61] известна просьба Петра отпустить с ним в изгнание нескольких близких людей и предоставить нужные вещи, но непосредственным источником словесного пассажа в «Спасительнице отечества», скорее всего, является роман Г.П. Данилевского «Мирович»: «Он просил уступить ему для жилища дворец на мызе в Ропше и отправить с ним туда арапа Нарциску, собаку Мопсиньку, доктора Лидерса, скрипку, бургонского вина и табаку, немецкую библию и недочитанный им французский перевод романа Стерна “Тристрам Шенди”» [18. С. 5]. У Сосноры речь Петра приобретает вид скоморошье-прибауточный, с характерными плеоназмами и словесной игрой: «Пусть меня увезут в Ропшу, в мой маленький охотничий домик. Клянусь, я – не испарюсь! О, где вы, дети мои? Где, спрашиваю, мой негр Нарцисс? Мой пёс Мопс? Мой доктор-дурак по кличке Лидерс? Где моя скрипка-скрипучка? Буйное бургонское? Табак мой суперфинкнастер? Мой Стерн – “Тристрам Шенди”? Моя девка Элизабет Воронцова?» [6. С. 76–77].

Авторский комментарий, полемика, анализ стиля обособляют цитаты из документов как чужое слово; но Соснора использует тексты XVIII в. и по-другому – выбирая из них характерные детали (те самые игнорируемые «историками» «движения, конвульсии губ» и т.д.) и даже отдельные слова, обладающие образным потенциалом, и делая их зерном собственной субъективной интерпретации событий и лиц. В таких случаях возможна игра на сопоставлении, контрасте исторического значения слова и ассоциаций, возникаю-

щих в сознании современников автора; нейтральные в языке источника обороты могут приобретать дополнительный, оценочный, характер.

Примером является портрет Н.И. Панина, в деталях развивающий представленный в Записках Е.Р. Дашковой. В частности, Соснора сохраняет итоговую характеристику – «типичный куртизан времён Людовика XIV» [6. С. 103] (у Дашковой – «образцовая фигура, напоминавшая старого куртизана времён Людовика XIV» [17. С. 34]). В языке XVIII столетия слово «куртизан» (французское «*courtisan*») означало «придворный, царедворец» [19. С. 88], но у читателя второй половины XX в. оно устойчиво ассоциировалось с женщиной лёгкого поведения, словари давали только женскую форму «куртизанка». И новейшие смысловые ассоциации в тексте эссе более значимы, чем языковой колорит прошлого: они поддерживаются подчёркнутыми и усиленными по сравнению с источником чертами изнеженности в облике вельможи и внесёнными в его портрет мотивами женственности («несколько женственный камзол» [6. С. 103], подробное перечисление драгоценных украшений вместо простой констатации «чрезвычайно щепетильная (фигура. – В.Б.) в своей одежде» [17. С. 34]). Любовный разврат – неотъемлемая составляющая мифологии Екатерины II и её окружения (о Панине ходили слухи, что он был то ли любовником, то ли отцом Дашковой, о чём она с негодованием пишет в своих мемуарах); но для Сосноры в образе «спасителей отечества» важнее общая идея продажности, любовные отношения включаются в неё, и именно продажность делает их столь одиозными. Так, давая полный список всех участников заговора, обозначая родственные и семейные связи, он заключает: «Все одна компания по картам, по приключениям, по вину – так или иначе родственники, – куртизаны Дашковой, которые мечтали стать любовниками Екатерины и почти все стали ими» [6. С. 110].

Образным потенциалом и особенно возможностями фарсового развёртывания в большей степени обладают непривычно звучащие, устаревшие, неверные, неточно переведённые слова. Возможно, поэтому Соснора часто использует ранние, не самые достоверные переводы, в ряде случаев, очевидно, приводит текст источника по памяти – в наиболее ярко запомнившихся ему чертах. Этим же можно объяснить пристрастие к В.К. Тредиаковскому и Г.Р. Державину.

Источником образов и словесных выражений, которые могут быть развёрнуты в образ, становятся как поэтические тексты, так и Записки Державина. В поэзии, уверен Соснора, лгать невозможно: «...насилие, к счастью, не распространяется на творчество» [6. С. 95], поэт выдаст язык. В «Спасительнице отечества» выразительно описано, как под давлением «постоянных и недвусмысленных намёков» Державин пытался написать стихи, прославляющие дела Екатерины, но «получались не стихи, а захудалые канцелярские фразы», тогда он «в бешенстве» рвёт их и создаёт «афоризм века» – стихотворение «Поймали птичку голосисту...» [6. С. 95–96]. Записки как автобиография – объект полемики, потому что в них выступает в первую очередь чиновник и почти не виден гениальный поэт; но Державин был участником переворота 1762 г., свидетелем казни Мировича, секретарём Екатерины II, и здесь его взгляд «простодушного поэта» [6. С. 95], «сановника с солдатским

лицом» [6. С. 95], «деспота правды» [6. С. 55] важен как альтернатива лживым свидетельствам императрицы и её сторонников.

Лучшие стихи Державина, по мнению Сосноры, продуманны, «формалистичны». Пример – анакреонтическое стихотворение «Мореход» (в оригинале – «Мореходец»): помещённое в финал «Державина до Державина», оно превращается в квинтэссенцию не только поэтического мира, но и человеческой трагедии героя, поэтому характеристика поэтики (Соснора говорил, что «аллитерации сами по себе мистичны» [1. С. 499]) перерастает в характеристику личности: «Появляется одинокая и мучительная строка: И с плачем плыть в толь дальний путь... Тут и излюбленные формализмом Державина “п”, “л”, но это – не механическое звукоподражание его придворных од. Это – музыка муки, это – гениально угаданная мелодия отчаяния <...> это понимание художником своей личности, понимание движения своей судьбы по географической карте истории» [6. С. 55–56]. Записки, наоборот, хороши безыскусностью, «проговорками», поэтому, хотя Соснора и заявляет, что отказывается от рассмотрения их «стиля» и от «прочих прелестей литературоведческого анализа» [6. С. 30], но, как поэт, он не может не видеть «прелестей» и возможностей этого стиля.

Так, Державин писал, что день переворота был «самый красный», имея в виду только погоду¹: «День был самый красный, жаркий; то с непривычки молодой мушкетер еле жив дотащил ноги» [13. С. 433]. Воспоминания о солнечной погоде Соснора считает «абберацией памяти счастливых победителей» [6. С. 120]², а в державинской фразе актуализирует более близкое читателю XX в. значение словосочетания «красный день» – «праздник». Следует отметить, что в Записках Державина [13. С. 429] и Дашковой [17. С. 45, 63, 70, 72 и др.] по отношению к екатерининскому перевороту употребляется слово «революция», но Соснора его в свой текст не вводит. Возможно, отчасти это связано с цензурой, но даже заключённое в кавычки, слово «революция» могло быть воспринято не столько как историзм, сколько как прямолинейная аналогия или прямолинейная же антитеза Октябрьской революции. Фразеологизм «красный день» тоже неизбежно вызывает такие ассоциации, но при этом позволяет создать гораздо более широкую символическую картину, включающую и другие аллюзии. «Красный день» в изображении Сосноры – это, главным образом, день кровавый, мотив праздника выглядит в нём как страшная ирония (Дашкова до смерти Петра с гордостью говорила о «революции, не запятнанной ни одной каплей крови» [17. С. 64]). За основу картины также взят рассказ Державина – описание кареты, в которой вывезли из Петергофа свергнутого императора, но оно развито в сторону гиперболизма и символизации: «В карету было запряжено двенадцать красных лошадей (у Державина – «больше нежели в шесть лошадей» [13. С. 432]). Окна занавешены красными гардинами. На запятках, на железных подножках и на козлах стояли гренадеры в красных камзолах <...> За каретой скакало тысяча двести конвоиров в красных мундирах (у Державина – «несколько конного

¹ «Ясный, тихий (о погоде, времени, дне)» [20. С. 241].

² И.В. Ащеулова предлагает интересный анализ мотива плохой погоды в «Спасительнице отечества» как реализации «идеи случайности исторических событий и мистификации их причин и значимости» [7. С. 53–54].

конвоя» [13. С. 432]) <...> Над каретой крутилось красное солнце. Для солдат сегодня был красный день – праздник» [6. С. 64–65].

Державин видит переворот как рядовой участник – солдат, больше занятый своими личными проблемами (пропажей полковых денег), до последнего не знавший сути и не понимавший значения происходящего. И это лучшее опровержение заявлению Екатерины о том, что вся Россия избрала её «спасительницей отечества». Самым адекватным способом передачи такого взгляда на события оказывается приём остранения – именно в том смысле, какой в этот термин вкладывал В. Шкловский: «...дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание», «описывать вещь, как в первый виденную, а случай – как в первый раз произошедший» [21. С. 15]. Соснора остраняет не только ситуации и образы, но и словесные выражения документа-источника, снова отыскивая истину в глубинах стиля¹. Например, он обыгрывает педантичное, соответствующее мировосприятию человека XVIII в. указание Державиным чинов упоминаемых лиц: «Там, по двору, ходил <...> майор Текутьев, командир третьей роты <...> Хорошо, что майор Текутьев намертво молчал. Потому что другой майор, Воейков, поступил по-другому» [6. С. 29]. «Майор Текутьев», «майор Воейков» – обороты из Записок Державина, «другой майор» – остранение.

Действия Воейкова, который «рубил гренадёр по ружьям и шапкам» (выражение Державина [13. С. 431], которое могло привлечь Соснору не только своей экзотичностью, но и звукописью), комментируются так: «Это не понравилось, не имело успеха» [6. С. 29]. Оборот «не имело успеха» обладает отчётливо «канцелярской» окраской, «это не понравилось» – разговорной; кроме того, здесь возникает грамматическое смещение: «не имело успеха» – безличная конструкция, «не понравилось» подразумевает субъекта. Стилистов слом и грамматическая «неправильность» остраняют обе фразы и высвечивают абсурдность ситуации: могло ли солдатам «понравиться», что их рубят по шапкам, и могли ли «иметь успех» такие действия? Соединение этих выражений приводит к тому, что, с одной стороны, «не имело успеха» обретает субъекта – солдатскую массу (по типу конструкции «иметь успех у...»), а с другой стороны, сама эта масса обезличивается.

Игра категориями личности / безличности, активности / пассивности, как и мотивами живого / неживого, является у Сосноры одним из способов реализации важнейшей проблемы – свободы / несвободы человека во время исторических потрясений. В инциденте с Воейковым солдаты, казалось бы, проявляют свою волю, поступают вопреки командиру, но на самом деле ими движет «всеобщее восстание» [6. С. 28]. В пересказе Сосноры рота, где служил Державин, и рота майора Воейкова не разделяются, зависимость действий одной группы солдат от другой напрямую не декларируется (эта мысль воплощается на других уровнях текста), но в Записках все действия мемуарного героя поданы как движение в общем потоке: третья рота действовала «как и прочие Преображенского полка», «усмотря», что делает «по Литейной

¹ Шкловский рассматривает остранение в первую очередь как «приём затруднённой формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия», но в приведённых им примерах из Л.Н. Толстого остранение – способ <...> добираться до совести» [21. С. 15–16].

идущая гранодерская», сам он «потихоньку шел по следам полка <...> сыскал свою роту и стал по ранжиру» [13. С. 430–431].

Остранение сродни опредмечиванию, превращению субъекта в объект; канцеляризм выполняет сходную функцию – обезличение. Дальнейшее описание действий майора Воейкова представляет собой остранение, доведённое до предела: «Исполин Воейков – со шпагой – изо всех сил побежал. Вернее, побежал не майор, а его друг – конь» [6. С. 29]. Языковая игра подчёркивает несвободу человека: активные действия и самостоятельные решения приписываются животному. Подобные описания сочетаются с эстетикой кукольного театра, в которой подаётся «революция» («солдаты караула <...> стояли, как толпа тряпичных кукол» [6. С. 125] и др.).

Сцену между Воейковым и его ротой Соснора разыгрывает через контраст кажущегося и реального: «Беспристрастному обывателю могло показаться со стороны, что на белом коне скачет отличный белый всадник с золотой шнуровкой и со шпагой, а за ним бегут в какой-то неистовый бой его братья-солдаты. Но это было не так. За майором бежала озверевшая толпа солдат, чтобы его заколоть на месте. От страха Воейков бросился с моста в Фонтанку и всё плескался там вместе с конём» [6. С. 29]. Державин прекрасно видел и понимал поступки как солдат, так и майора; «беспристрастный обыватель», наблюдающий «со стороны», – фигура, введённая автором эссе и более соотносимая с «историком» или «беллетристом», вольно или невольно поддерживающими екатерининский миф о единодушии народа в день восстания.

Наконец, в эпизоде с Воейковым обыгрывается ещё одно образное и языковое клише – всадник на белом коне. Уходящее корнями в Античность, когда белые кони были частью ритуала триумфа, выражение «на белом коне» означает выезд победителя. В исторических эссе Сосноры образ всадника на белом коне является сквозным, на его основе создаются портреты всех подлинных и мнимых победителей: Екатерины II, Дашковой, усмирителя чумного бунта в Москве 1770 г. генерала Еропкина, майора Воейкова. Степень исторической достоверности и опоры на документ во всех случаях различны. По многим источникам известна масть лошади Екатерины, например, у Державина: «Императрица сама предводительствовала, в гвардейском Преображенском мундире, на белом коне, держа в правой руке обнажённую шпагу» [13. С. 432]. В «Спасительнице отечества» этот образ развивается иронически гипертрофированно, передавая восторг солдат: «...в сиянии белой ночи, в нимбах беззвёздного неба, на фоне лунного пространства (так сказать!), на белом большом коне, в офицерском мундире» и т. д. [6. С. 123–124]. Еропкин в изображении Сосноры – «театральный кавалер и честный командир»: «...выехал к толпе на белом коне с чёрным бантом на гриве, сам весь белый со светящимися старческими волосами и чёрным же бантом на худой и голой шее» [6. С. 40]. Один из главных источников описания чумного бунта, цитируемый в эссе, – Записки А.Т. Болотова; но у Болотова Еропкин просто «престарелый генерал» [22. Стб. 28, 30]. Вполне вероятно знакомство Сосноры с

популярной книгой о Болотове В. Шкловского¹. В целом образ Еропкина решается Соснорой совсем в другом ключе, но стержнем его и у Шкловского является мотив старости: «...человек, давно уже положенный на покой, и мундир его лежал уже в сундуке вместе с другими вещами, пересыпанными нюхательным табаком», «...стар он был настолько, что толпа его не тронула», а также – «Сел Еропкин на старую белую лошадь и стал собирать разрозненные воинские команды» [24. С. 129–130]. Масть лошади Воейкова в Записках Державина не упоминается, и представление незадачливого командира в виде «отличного белого всадника» на белом коне, очевидно, целиком принадлежит автору эссе.

Во всех портретах «победителей» белая масть коня сочетается с белым же цветом одежд и сиянием, окружающим седока. «Всадник на белом коне» превращается в «белого всадника». В образной системе эссе оппозицию ему составляет красный всадник «революции» (главный заговорщик Кирилла Разумовский «на *развевающемся* коне – красном, в камзоле – малиновом» [6. С. 120]; красные кони, увозящие Петра III на смерть), другой «масти» автор словно и не знает. Благодаря этому парный образ прочитывается как символ, в том числе – как реминисценция Апокалипсиса.

В исторических эссе В. Сосноры представлен широкий спектр приёмов работы с языком, языковой игры. В неё включаются особенности стиля документов-источников и ресурсы разных уровней современного автору языка – от фонетики до фразеологии и стилистики. Однако из рассмотренных примеров видно, что различные приёмы образуют в текстах эссе систему, их функции взаимосвязаны. Думается, что определяющей в этих произведениях всё-таки следует считать публицистическую модальность. Главная цель автора – разрушить устоявшиеся ложные представления о людях и событиях эпохи Екатерины II, даже путём того, что, по словам Я. Гордина, «вымыслу недобросовестному противопоставляется <...> другой вымысел – добросовестный» [6. С. 5]. Соответствием историческим мифам и интерпретационным клише можно считать клише языковые: канцеляризмы, устойчивые сочетания типа «красный день», расхожие образы типа всадника на белом коне. Сталкивая разные значения, актуализируя разные ассоциативные образные ряды, Соснора демонстрирует относительность их смысла. А разная стилевая «подсветка» показывает относительность ценности. Важнее содержания документа, которое часто лживо, оказывается индивидуальный стиль человека – язык, который обязательно выдаст правду. Остранение как образов, так и словесных выражений, заданных «авторитетными» источниками, позволяет выявить их нелепость. А исправления «неточностей» языка («побежал не майор, а его друг – конь»), как и ошибок видения, выполняют роль исправления ложного толкования событий. Оспоренной таким образом в доказательствах «научной», причинно-следственной логике противопоставляется логика поэтическая – законы ритма, сцепление звуков. Для автора, как для поэта, и для читателя, принимающего правила игры, она не менее убедительна.

¹ Соснора высоко оценивал его работы, посвящённые литераторам XVIII в., например книгу о Матвее Комарове [23], см.: [1. С. 199].

Литература

1. Овсянников В. Прогулки с Соснорой. СПб.: Скифия, 2013. 752 с.
2. Арьев А. Ницера современник (Виктор Соснора: случай самовоскрешения) // Вопр. лит.. 2001. № 3. С. 14–30.
3. Виктор Соснора. Пришелец: [видеозапись]: фильм / реж. В. Непевный. СПб.: Севзапкин, 2011. URL: <http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86&path=wizard&fiw=0.000791591&filmId=vnH8wPZN0Cw&fiw=0.000791591> (дата обращения: 16.02.2015).
4. Лихачёв Д. Поэт и история // Соснора В. Всадники. Л.: Лениздат, 1969. С. 5–10.
5. Соснора В. Николай: эссе // Нева. 1990. № 10. С. 56–74.
6. Соснора В. Властители и судьбы: Литературные варианты исторических событий / предисл. Я. Гордина. Л.: Сов. писатель, 1986. 296 с.
7. Ащеулова И.В. Исторические повести В. Сосноры: проблема понимания и интерпретации текстов истории // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2012. №1 (17). С. 46–60.
8. Ащеулова И.В. Историческая проза В. Шарова в контексте русской исторической прозы второй половины XX – начала XXI в. // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2013. № 1 (21). С. 80–97.
9. Буганов В.И. Два писателя об истории России второй половины XVIII века // Вопр. ист. 1985. № 11. С. 167–174.
10. Лобанов М. История и её «литературный вариант» // Молодая гвардия. 1988. № 3. С. 253–271.
11. Юдин В. Ниспровергатели, остановитесь! // Молодая гвардия. 1990. № 6. С. 261–271.
12. Новиков В. Монолוג трагика // Лит. обозрение. 1988. № 10. С. 37–40.
13. Державин Г.Р. Сочинения / объяснит примеч. Я. Грота: в 9 т. Т. 6: Переписка (1794–1816) и «Записки». СПб., 1871. 906 с.
14. Записки императрицы Екатерины Второй: репринт. изд. / пер. с подлинника, изданного Имп. АН. СПб., 1907. М.: Орбита, 1989. 749 с.
15. Переворот 1762 года: сочинения и переписка участников и современников. 3-е изд., испр. М., 1908. 162 с.
16. Мнение бывшего императора Петра III-го // Русский архив. 1871. Т. 9. С. 2055.
17. Дашкова Е. Записки / репринт. изд.: Записки княгини Е.Р. Дашковой, писанные ею самой / пер. с англ. Л., 1859. М.: Наука, 1990. 512 с. (Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарёва).
18. Данилевский Г. Сочинения: в 24 т. 8-е изд., посмертное. Т. 10: Мирович (1762–1764 г.): СПб., 1901. 138 с.
19. Словарь русского языка XVIII века. Вып. 11. СПб.: Наука, 2000. 256 с.
20. Словарь русского языка XVIII века. Вып. 10. СПб.: Наука, 1984. 256 с.
21. Шкловский В. О теории прозы. М.: Сов. писатель, 1983. 384 с.
22. Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. 1738–1793. Т. 3. СПб., 1872. 1244 стб.
23. Шкловский В. Матвей Комаров житель города Москвы. Л.: Прибой, 1929. 296 с.
24. Шкловский В. Краткая, но достоверная повесть о дворянине Болотове. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. 192 с.

DOCUMENTARY TEXT, DIALOGUE OF STYLES AND LANGUAGE PLAY IN THE HISTORICAL ESSAYS OF VICTOR SOSNORA.

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 135–151.

DOI 10.17223/19986645/35/11

Bitkinova Valeria V., Saratov State University (Saratov, Russian Federation). E-mail: bitkinova@mail.ru

Keywords: V. Sosnora, historic essay, historic myth, document, style, language play, Catherine II, Peter III, G.R. Derzhavin

In his historical essays “The Savior of the Homeland”, “Two Masques” and “Derzhavin before Derzhavin”, V. Sosnora makes use of a wide range of linguistic devices and language play. This comprises the stylistic features of the source documents and the means of various levels of the contempo-

rary language – from its phonetics to phraseology and stylistics. The functions of various devices are interrelated and form a system aiming at the deconstruction of stereotypical views of the people and events of the times of Catherine II. Historical myths and interpretative clichés correspond to language stereotypes and clichés: bureaucratic gobbledygook, idioms, and stock images. Sosnora brings together different lexical meanings and actualizes opposite associative figurative sequences. For example, the historic meaning of the word **courtisan** (“courtier”), peculiar to the language of the 18th century, interlaces with the modern notion of a woman of easy virtue; one of the meanings of the collocation **red day** (“fair weather”) is substituted for another one (“holiday”) and also induces an association with the colour of blood; in the phrase “rider on a white horse” he actualizes the image of a conqueror (triumpher) as well as that of an Apocalypse horseman. Suchlike devices reveal the semantic relativity of any verbal expression. The relative value of information is shown through irony which arises from the joint interpretation and juxtaposition of passages written in different styles: quasi-scientific, fictional, lyrical, and journalistic. The narration about historical events is based on a great number of documentary sources, memoirs of the times of Catherine II, but the content of a document, which is often mendacious, is far less important than the individual style of a person because, in Sosnora’s opinion, the language will reveal the truth without fail. The close analysis of the style of the autographic documents of Catherine II, E.R. Dashkova, Alexey Orlov, Peter III, and G.R. Derzhavin is used in the essays as a tool for the extraction of the truth. The defamiliarization of images and verbal expressions based on “authoritative” sources makes it possible to reveal their absurdity. Sosnora corrects not only the mistakes of the biased perception of the events by their participants, but also the language “inaccuracy” (e.g. “it’s not the major who started to run, but his friend, the horse”) – both the former and the latter serve as the means of debunking historical myths. The “scientific” causative logic based on sources and built on evidence, which is questioned in many ways, is opposed to the poetic logic: Sosnora’s phrases are often pointedly rhythmical, they are built around alliterations. Taking into account the fact that the author is first and foremost a poet, for whom the primacy of language in a piece of literature is indisputable, the reader, who accepts the author’s rules, should take more faith in the poetic logic as well.

References

1. Ovsyannikov V. *Progulki s Sosnoroy* [Walks with Sosnora]. St. Petersburg: Skifiya Publ., 2013. 752 p.
2. Ar’ev A. Nichey sovremennik (Viktor Sosnora: sluchay samovoskresheniya) [No one’s contemporary (Victor Sosnora: a case of self-resurrection)]. *Voprosy literatury*, 2001, no. 3, pp. 14–30.
3. *Viktor Sosnora. Prishelets* [Victor Sosnora. An Alien]. Film. Directed by V. Nepevnyy. St. Petersburg: Sevzapkino, 2011. Available from: <http://yandex.ru/video/search?text=%D0% B2% D0% B8% D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD% D0% BE% D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5% D1%86&path=wizard&fiw=0.000791591&filmId=vnH8wPZN0Cw&fiw=0.000791591>. (Accessed: 16.02.2015).
4. Likhachev D.S. *Poet i istoriya* [Poet and history]. In: Sosnora V. *Vsadniki* [Horsemen]. Leningrad: Lenizdat Publ., 1969, pp. 5–10.
5. Sosnora V. Nikolay: esse [Nicholas: an essay]. *Neva*, 1990, no. 10, pp. 56–74.
6. Sosnora V. *Vlastiteli i sud’by: Literaturnye varianty istoricheskikh sobytiy* [Rulers and destinies: Literary versions of historical events]. Leningrad: Sovetskiy pisatel’ Publ., 1986. 296 p.
7. Ashcheulova I.V. Historical tales by V. Sosnora: the issue of understanding and interpretation of historical texts. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*, 2012, no. 1 (17), pp. 46–60. (In Russian).
8. Ashcheulova I.V. Historical prose of V. Sharov in Russian historical prose of second half of 20 - beginning of 21 centuries. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*, 2013, no. 1 (21), pp. 80–97. (In Russian).
9. Buganov V.I. Dva pisatelya ob istorii Rossii vtoroy poloviny XVIII veka [Two writers on the history of Russia in the second half of the 18th century]. *Voprosy istorii*, 1985, no. 11, pp. 167–174.
10. Lobanov M. Istoriya i ee “literaturnyy variant” [History and its “literary version”]. *Molodaya gvardiya*, 1988, no. 3, pp. 253–271.
11. Yudin V. Nisprovergateli, ostanovites’! [Subverters, stop!]. *Molodaya gvardiya*, 1990, no. 6, pp. 261–271.

12. Novikov, V. Monolog tragika [Monologue of a tragedian]. *Literaturnoe obozrenie*, 1988, no. 10, pp. 37–40.
13. Derzhavin, G.R. *Sochineniya Derzhavina s ob'yasnit primech. Ya. Grot: v 9 t.* [Derzhavin's works with explanatory notes of Ya. Grot: in 9 v.]. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences Publ., 1871. V. 6, 906 p.
14. Catherine II. *Zapiski imperatritsy Ekateriny Vtoroy* [Memoirs of Empress Catherine II]. Reprint of the 1907 edition. Moscow: Orbita Publ., 1989. 749 p.
15. *Perevorot 1762 goda: sochineniya i perepiska uchastnikov i sovremennikov* [Coup of 1762: works and correspondence of the participants and contemporaries]. 3rd edition. Moscow: Mosk. kn. t-vo "Obrazovanie" Publ., 1908. 162 p.
16. Mnenie byvshago imperatora Petra III-go [Opinion of the former Emperor Peter III]. *Russkiy arkhiv*, 1871, v. 9, p. 2055.
17. Dashkova E. *Zapiski knyagini E.R. Dashkovoy* [Notes of Princess E. Dashkova]. Reprint of the 1859 London edition. Moscow: Nauka Publ., 1990. 512 p.
18. Danilevskiy G. *Sochineniya: v 24 t.* [Works: in 24 v.]. 8th edition. St. Petersburg: Izdanie A.F. Marksa Publ., 1901. V. 10, 138 p.
19. *Slovar' russkogo yazyka XVIII veka* [Dictionary of the Russian language of the 18th century]. St. Petersburg: Nauka Publ., 2000. Is. 11, 256 p.
20. *Slovar' russkogo yazyka XVIII veka* [Dictionary of the Russian language of the 18th century]. St. Petersburg: Nauka Publ., 1984. Is. 10, 256 p.
21. Shklovskiy V. *O teorii prozy* [On the theory of prose]. Moscow: Sovetskiy pisatel' Publ., 1983. 384 p.
22. Bolotov A.T. *Zhizn' i priklyucheniya Andrey Bolotova, opisannyya samim im dlya svoi potomkov. 1738–1793* [Life and Adventures of Andrey Bolotov, written by him for his own offsprings. 1738–1793]. St. Petersburg: Pechatnya V. I. Golovina Publ., 1872. V. 3, 1244 columns.
23. Shklovskiy V. *Matvey Komarov zhitel' goroda Moskv*y [Matvey Komarov, resident of the city of Moscow]. Leningrad: Priboy Publ., 1929. 296 p.
24. Shklovskiy V. *Kratkaya, no dostovernaya povest' o dvoryanine Bolotove* [Brief but credible tale of a nobleman Bolotov]. Leningrad: Izd-vo pisateley v Leningrade Publ., 1930. 192 p.

УДК 821.161.1-2
DOI 10.17223/19986645/35/12

Т.Л. Воробьёва

ПОЭТИКА ПЬЕСЫ НИНЫ САДУР «ЧУДНАЯ БАБА»: МИСТИКО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ

В статье рассматриваются особенности мифопоэтики ранней пьесы Нины Садур. Обращение к народной мистике позволяет драматургу выстроить авторскую экспериментальную модель современного мира, в котором герои переживают кризис идентичности и формой прорыва к подлинности становится мистико-экстатическое «прозрение». В анализе «Чудной бабы» выделены мотивы и образы, характерные для всего последующего творчества писательницы.

Ключевые слова: трансцендентное, симулятивность, мифологические мотивы и образы, игра концептами, принцип контрверсности.

Драматургия Нины Садур, признанная в современной критике как «самостоятельное культурное явление – со своей целостной эстетикой, философией, своим самобытным драматургическим языком» [1], подтверждает мысль о том, что мифологическое неустранимо из эстетического. Энергия мифа по-прежнему питает, обогащает литературу, способствует важному для художественного творчества прорыву к общечеловеческой, мировой целостности.

Жанр своих драматических произведений Садур определяет как «русскую народную галлюцинацию» (цит. по: [2]), так как граница между бытовым и сверхъестественным, реальным и потусторонним в ее произведениях всегда открыта. Называя себя реалистом, писательница поясняет: «Ибо, что есть реализм в первоначальном значении: зримое чувственное восприятие мира <...> В перспективе своей русская литература выберет себе путь сочетания реализма (как его понимаю) с мистицизмом. Можно назвать его реализмом призрачного» [3. С. 80]. Таким образом, Садур сама подсказывает ключ к осмыслению своего не поддающегося однозначному определению творчества, характеризуя его как «тайну и мистику» [4]. Действительно, все произведения драматурга пронизаны мистическим ощущением таинственной непостижимости и объемности, многогранности мира, в котором «не человек властвует над обстоятельствами – они могут вызвать катастрофические трансформации его жизни, например в безумие» [5].

Мистика определяется в философии как «такой способ духовного освоения мира, при котором решаются задачи соизмерения человека с мировым целым и их взаимопроницаемости» [6]. Она предполагает «веру в возможность непосредственного духовного общения человека с таинственными метафизическими силами – Бог, безличный абсолют, первосущность мира, духи – путем, выходящим за пределы естественных человеческих способностей» [7]. Такое мистическое единение, интуитивное, сверхчувственное озарение сопровождается погружением в глубины своего «я» и отказом от всего умопостижимого. Мистическое переживается субъектом как подлинная ре-

альность, хотя и принимает причудливые формы, выражая себя, по словам С.С. Аверинцева, «не столько на языке понятий, сколько на языке символов, центральный из которых – смерть (как знак для опыта, разрушающего прежние структуры сознания)» [8]. Исследователи отмечают, что в отличие от религии, которая направлена на группу, общество и «интегрирует своих приверженцев», мистика «ориентирована на индивида, на достижение им непосредственного мистического переживания в отрыве от общества, в отчуждении от собственной социально-личностной сущности» [9]. Не случайно всплеск мистических настроений происходит в периоды глубоких социальных кризисов, когда усиливается давление на психику человека и апокалиптические ожидания людей проявляются в религиозно-идеалистических представлениях о действительности, основу которых составляет вера в сверхъестественные силы.

«Садур в свое время точно уловила степень внутренней тревоги зрителя» [10. С. 176], передав ее в первых своих пьесах «Чудная баба» (1983), «Ехай» (1984) и др., исследующих именно метафизическую, скрытую сущность бытия. По словам самой писательницы, «это не «научная мистика, основанная на герметических учениях и тайных ритуалах, а народная» [4]. Создавая свой особый художественный мир, Нина Садур наполняет его загадочными мотивами и образами, восходящими к языческой культуре, к мифологической мистике, своеобразие которой заключается в том, что «раскрывается она в полноценных, чувственно-телесных формах материального мира; это – чудесная реальность» [11. С. 557].

Говоря о присущей современному сознанию мистической созерцательности, Садур уточняет, что «русский мистицизм не интеллектуального свойства, а чувственного. То есть ему неинтересно думать, выстраивать или догадываться. Для него ценнее и убедительнее почувствовать. Почувствовать загадку. Примету другого мира. Мы любим чувствовать – это у нас национальное, а бесы, почти не имея плотской оболочки, прекрасно владеют природой чувственного. Здесь и ловушка. Но для нас же характерно какое-то совершенно непостижимое свойство спасения. В момент опасности почувствовать нестерпимую жалость. Будто ты своей волей убьешь кого-то. Не себя. Жалость к бессмертной душе. Не принять соблазн от беса, а разглядеть его природу – вот для чего так близко мы приближаем к нему наше лицо» [3. С. 79]. Постоянное присутствие тайного трансцендентного инобытия, равноправного обыденной бытовой реальности, – особенность всех драматургических произведений писательницы, в которых с помощью мистического гротеска «повседневность проверяется запредельностью, близкий и родной быт – бытием, коммунальная квартира – космосом» [12].

Само название первой пьесы Нины Садур заявляет семантику чуда, вторгающегося в реальную жизнь и доводящего героиню через безумие до просветления сознания в предсмертном состоянии, соотносимого с архаическим народным мирозерцанием. Чудный – «дивный, удивительный, изумительный, необычайный» и одновременно «*арх.* странный, непонятный, юродивый» [13]. Игра концептами задается заголовком, апеллирующим к культурной прапамяти читателя и обозначающим ключевой образ пьесы, восходящий к славянской мифологии. «Баба – прародительница. Изначально положитель-

ное божество славянского пантеона, хранительница (если надо – воинственная) рода и традиций. В период христианства всем языческим богам, в том числе и оберегавшим людей (берегиням), придавались злые, демонические черты, уродливость внешнего вида и характера» [14]. Таким образом, чудная баба оказывается тесно связанной с нечистой силой, опознавательной приметой которой становятся и ее голые ноги [15. Т. 1. С. 355–356].

Лидия Петровна. ...ох... у вас ноги голые. Вы же простудитесь. Нельзя в резиновых ботах, без чулок... я не знаю, какой-то сплошной ужас.

Баба (всхлипнув). Добренькая.

Лидия Петровна Да что вы, в самом деле, неужели у вас чулок нету?

Баба. Нету.

Лидия Петровна. Как нету? Сейчас октябрь. Я не понимаю. Я вам как женщина говорю, вы все себе простудите, вы что думаете, это шутка с голыми ногами в октябре?

Баба смотрит на нее искоса, стыдливо, испытующе.

Ну хотите, я вам дам... дам чулки... только это очень странно.

Баба. Хочу.

Лидия Петровна. Ну не сейчас же! У меня нету лишних с собой.

Баба. Сейчас.

Лидия Петровна. Как то есть?

Баба смеется

(Вглядывается в Бабу, с жалостью). Ах, вон оно что... бедная... ты же вон какая... А так сразу и незаметно, лицо вроде, нормальное... хотя кто вас разберет, бедная [16. С. 588]

По сути, под одним заголовком объединены у Садур две пьесы, составляющие драматическую дилогию, скрепленную единством авторского «мистического» замысла и логикой сюжета. В первой пьесе драматург, создавая открытый топос: *Совхозное картофельное поле. Вдалеке желтая роща. Серое небо. Холодно. Однообразно. Пустынно* [16. С. 587], – помещает героиню в онтологическую, природно-космическую модель бытия, где в видениях, зрительных образах реализуется ее внешний мистический опыт. Сужающееся, как воронка, до размеров конструкторского бюро социально-симулятивное пространство второй пьесы не только овеществляет персонажей, названных в одном ряду с деталями интерьера: «Столы, кульманы, окна, двери, телефоны, шкафы, люди» [16. С. 596], но и способствует самораскрытию героини, переживающей внутренний мистический опыт как «особое психофизическое состояние, воспринимаемое без зрительных впечатлений, как особого рода чувства» [11. С. 556]. Таким образом, сюжет дилогии выстраивается по логике мистического прозрения Лидии Петровны: «до» и «после» картошки. За вполне узнаваемыми реалиями и ситуациями обыденной жизни открывается надбытовой, мистико-мифологический смысл.

Неслучайной оказывается и мифологема «картошки». «Картофель – культура, известная славянам с конца XVII в. Долгое время картофель считался растением «чужим», «нечистым», дьявольским; лишь в XIX веке вошел в повседневный обиход. Ряд названий картофеля мотивирован негативным отношением к нему как к иноземной культуре: рус. погань, чертово яблоко. Ино-

гда происхождение картофеля связывается с борьбой между Богом и Дьяволом» [15. Т. 2. С. 473]. Образ картошки, всеми забытой, оставленной в грязи, проходит через диалогию от первой сцены до последней, соотносясь с концептами «жизни/смерти», «гниения/цветения», становясь знаком трагической судьбы человека в «муляжном» мире. Может, Садур пародирует укоренившуюся в нашем сознании «картофельную» идею национального спасения? Баба в сцене имитируемого ею обряда инициации, бегая по полю, швыряет картошкой в Лидию Петровну, совершая ритуальные действия, основное назначение которых в славянской культуре – «удаление вредоносных объектов или контакт с потусторонним миром. Бросание предметов вслед кому-либо обычно имело целью обезвреживание опасных контактов и осмыслялось как профилактическая магия» [15. Т. 1. С. 264–265].

Таким образом, «картошка» связывала воедино разнородные реальности, совмещающиеся в тексте: социально-бытовую («нас послали на картошку. Наше КБ. Коллектив товарищей» [16. С. 591]), природно-онтологическую, раскрывающую связь человека с землей, с сельскохозяйственными циклами, и мистико-мифологическую («Лида, ты б одна сгнила, как картошка в грязи, а все бы цвели вечно» [16. С. 592]).

Действие пьесы открывается мотивом блуждания, широко распространенным в народной культуре и имеющим символический смысл: «блуждать, заблудиться – действие и состояние, связанное с вмешательством нечистой силы» [15. С. 197]. Как отмечает современная исследовательница, заблуждение – слово, «которое является ключевым для данной ситуации. С одной стороны, оно относится к конкретной ситуации, с другой – к историческому моменту» [17]. Драматург, помещая героиню, типичную горожанку, в чуждое ей безграничное природное пространство, изначально моделирует экзистенциальную ситуацию одиночества и отчуждения. Значимы и временные параметры: «...осень в народном календаре период завершения вегетативного цикла и угасания природы, время, когда Бог «печатает» землю, и до весны земля, согласно поверьям, закрыта, мертва, спит» [15. Т. 3. С. 568]. Пограничное (между жизнью и смертью) состояние природы соотносится с «пороговой» ситуацией главной героини, утратившей привычные ориентиры и неожиданно для себя постигшей безмерность мироздания и соприсутствие таинственных живых сил, каких-то «пузырей земли». Появление чудной бабы по фамилии Убиенько разрушает привычные стереотипы повседневного существования Лидии Петровны, поставив под сомнение все воспринимаемое ею до этого момента как должное. Сначала главная героиня бабу просто не замечает, погруженная в свои обыденные заботы, затем в рамках бытовых стереотипов своего сознания принимает ее за совхозницу и выплескивает на нее накопившееся недовольство плохими условиями приема горожан и, наконец, внимательно взглядевшись в спутницу, замечает ее неадекватность и ущербность. В одном из интервью Нина Садур объясняла свое внимание к подобным героям: «Мне всегда нравились ущербные люди. Ущербность – это несовпадение с реальностью. Но всегда ли следует с ней совпадать в мире, где сознание давно сдвинулось?» [4]. Тетенька по фамилии Убиенько, словно воплощая это «сдвинутое состояние» мира, резко меняет точку отсчета, вы-

страивая сюжет «вокруг такой точки провала – прорыва – схождения с умо-непостижимым» [18].

Встреча в славянских верованиях означала «проявление судьбы. Если встреча с демонологическим персонажем происходит главным образом в нечистом месте (перекресток, пустошь, кладбище), то встреча, влияющая на дальнейшие события жизни человека, случается в начале пути и особенно часто – на дороге. Встреча с мужчиной сулит удачу тем, кто отправляется по делу, встреча с женщиной – невезение. Особенно опасной считалась встреча со старой женщиной. При встрече не принято сообщать о цели своего пути» [15. Т. 1. С. 452–453]. Лидия Петровна действует по логике городского человека, нарушающего исконные традиции в силу своей абсолютной отстраненности от народного мировосприятия. Садур в программной статье «Догадка о народе» размышляла о пропасти, разделяющей интеллигенцию и народ: «Есть люди государства, а есть вот этот самый народ, который законов государства не ведает, но зато и его законы закрыты от внешнего мира. Не культивируя своих чувств, не обозначая их, он их проживает, как природа – времена года. От этого простому культурному человеку простой некультурный народ кажется грубым, косным и даже глупым» [19].

Наметившийся между героинями пьесы конфликт переносится в сферу речевого взаимодействия, где разрыв коммуникации постепенно принимает абсурдный характер, обусловленный совмещением разноприродных реальностей. «Напряженный, рвущийся и снова завязывающийся диалог, качающийся на краю бессмыслицы, но не падающий в нее, столкновение лексических пластов (речевое клише и детская дразнилка, юродивое бормотанье и «дикая песня»), переплетение гротеска и бытовой драмы – все это существует поверх коллизии в любой ее пьесе» [19]. Сначала на возмущенную тираду Лидии Петровны баба отвечает короткими репликами, контрастирующими с речью героини странной, завораживающей интонацией; ласковое обращение постепенно сменяется то агрессивными ругательствами, то дикой песней и нарочитым весельем. Образ бабы усложняется и ускользает от однозначного понимания: она признается, что «водит» героиню, втягивая ее в ритуальные игры, объявляет себя «бабой-убийцей», «злом мира» и в то же время ласково одушевляет окружающий природный мир, жалеет дорогу: «Умаялась она. По ей сколько ходють?!» [16. С. 590], землю: «Ух ты, моя миленькая, ух ты, моя тепленькая, ну не дрожи, сладенькая, не бойся, никто тебя не тронет больше» [16. С. 593]. Подобные древние аниматические верования и рассказанный тетенькой Убиенько космогонический миф о земле, плывущей в океане на трех китах, противостоят научно обоснованной, рациональной картине мира в понимании Лидии Петровны:

Лидия Петровна. Почему на трех китах?... нам говорили – космос, галактика...

Баба. Галактика... говорили... чтоб вам не скучно было. Игрушки вам давали. У вас же мозги. Вам же думать надо. Надоело! Все! Хватит!» [16. С. 593].

Наивно-мистическое знание о мире, которое баба стихийно стремится передать главной героине, оказывается для современной горожанки губитель-

ным. «Очевидно, что в отличие от «деревенщиков» и других традиционалистов... Садур не связывает с природным началом представления о «законе вечности», высшей истине жизни, противопоставленной лжи социальных законов и отношений. Ее «чудная баба» зловеща и опасна, общение с ней вызывает непонятную тоску и боль в сердце... В сущности, этот персонаж воплощает мистическое знание о бездне хаоса, скрытой под оболочкой обыденного упорядоченного существования» [1. Т. 3. С. 71].

Деконструируя онтологическую модель, Садур показывает, что мистическое прозрение открывает хаос не только в мироздании, но и в человеческой душе. Лидия Петровна мучается, лишившись опоры привычных для нее жизненных стереотипов. В кульминационной сцене ритуального испытания, устроенного для нее бабой в форме игры, героиня поставлена перед экзистенциальным выбором, от которого зависит судьба всего мира.

Баба (*подходит к ней*). Запыхалась. Значит так. Расклад такой. Я – убегаю. Ты – догоняешь. Поймаешь – рай, не поймаешь – конец всему свету. Сечешь?

Лидия Петровна. Секу.

Баба. Ну – лови! (*отбегает*). Ну? Ты че? Лови!

Лидия Петровна. Ну хорошо. Я понимаю. В принципе. Нас послали на картошку. Наше КБ. Коллектив товарищей. Я опоздала. Заблудилась. Иду. Встречаю бабу с голыми ногами. Она – зло мира. Если поймаю ее – наступит рай на земле... (*Озирается*) Как по-прежнему странно устроен человек. Я не верю, что она – зло мира, но я... но я на всякий случай ее поймаю...» [16. С. 591].

Бег является формой ритуального поведения, наделяемой в народных традициях магическими свойствами изгнания мора, болезней, нечистой силы и содействия росту, созреванию, здоровью. В фольклоре известен мотив погони нечистой силы за человеком. В пьесе обряд, воплощающий борьбу добра и зла, которые друг без друга не могут существовать, переосмыслен, и наказанием за проигрыш становятся не просто угроза личной смерти, а эсхатологические последствия: с земли сползает верхний слой, унося с собой всех людей, и героиня оказывается наедине с обнажившейся перед ней бездной. Не гармония, а смерть, безумие, мрак открываются Лидии Петровне, сброшенной бабой в яму – границу, которая отделяет реальный мир от потустороннего. Героиня оказывается единственным человеком, спасенным бабой от всеобщей гибели, от конца света. Таким образом, яма, раздвинувшаяся до масштабов Вселенной, с одной стороны, ассоциируется с пространством смерти, с другой – предстает местом спасения, оберегом от враждебного человеку неистинного мира. Не случайно и упоминание соломы, которая в славянской мифологии «частый компонент родинного и погребального обряда: жизнь начиналась и кончалась на соломе» [20]. Все действия бабы (траурный вой, дикая песня, слова заклинания) направлены на создание ритуального эффекта, сопровождающего обряд инициации, символизирующий смерть-возрождение, посвящение человека в новое знание, поскольку проникновение за земную грань доступно лишь уже умершим, бессмертным, либо обла-

дающим особым знанием. Обряд в народных традициях выступает как средство укрепления пошатнувшегося миропорядка, поиска изначальной гармонии. Но в тексте Садур сакральность поступков-жестов участников обрядового действия, присутствие в нем абсолютной силы, наблюдающей за правильностью исполнения, профанируются самой бабой, которая будто «понарошку» воспроизводит ситуацию ритуала, и Лидией Петровной, не верящей происходящему и убежденной, что это сон.

Лидия Петровна. Кто все это делает? (*Озирается*).

Баба. Не знаю я. (*Тоже озирается*). Давай повоем?

Лидия Петровна. Потом. Так ты тоже не знаешь?

Баба. Да разве ж я б не сказала? Я б тебе сразу сказала: так-то и так-то, он, значит, вот этот самый и делает... А я не знаю.

Лидия Петровна. Послушай. Надо что-то делать. Давай его найдем. Я не знаю. Надо что-то делать. А может, это сон?

Баба. Конечно, сон [16. С. 594].

Мистическому преображению героини мешают ее привязанность к земной реальности, тоска по родным и близким и жеманство бабы, прикидывающейся березкой, «одним из наиболее почитаемых деревьев, оберегающих от зла и одновременно вредоносных, связанных с нечистой силой и душами умерших» [15. Т. 1. С. 156]. Амбивалентность образа бабы, становящейся для Лидии Петровны проводником в царство смерти и подлинности, обусловлена неоднозначностью этической системы в творчестве драматурга. В одном из своих интервью Садур размышляла о сущности категории зла: «Есть понятие «злоба», а есть «злость». Важно не перепутать. Злоба – это месть за то, что я некрасивый, за то, что у тебя длинные ноги, а у меня короткие. А злость – это высокое страдание» [4]. Таким образом, злость, по мнению писательницы, это проявление мятущейся души, реагирующей на несправедливость и хаос жизни. «Душа блуждает, она чутка к проявлениям зла и дисгармонии. Она ищет, как нас спасти, как спасти себя, бессмертную. И попадая в самые страшные низины, возносится к несказанным высям. Это ее естественное состояние, она не может быть инертным существом. Иначе она больна, ее лечить надо» [4]. Без зла нет и добра, поэтому зло является неперенным условием существования героев в свихнувшемся мире, неотъемлемой частью бытия и человека. Амбивалентность всех мифологических мотивов и образов, раскрываемых одновременно в своих жизнеутверждающих и жизнеразрушительных силах, выявляет невозможность однозначного разрешения конфликта по спасению мира, в котором сталкиваются две «чудные бабы».

Вторая часть диалога раскрывает метания души Лидии Петровны, после встречи с метафизическими силами хаоса утратившей покой и веру в истинность существования и мучающейся чувством вины за «неспасение мира». Концентрация пространства способствует перенесению центра с внешних событий на внутреннее состояние героини, которая поставлена перед экзистенциальными вопросами о смысле жизни и пытается сквозь выморочность, оцепенение окружающих разглядеть их человеческую подлинность. Действие здесь редуцировано и потеснено полилогом, спором о том, «чем люди живы».

Но общение персонажей условно, так как каждый в силу отчужденности от других слышит только самого себя. Отсутствие взаимопонимания иронически обыгрывается в названии второй пьесы, выдвигающей на первый план человеческие отношения, но облакающей их в официально-деловую, предельно условную форму. В заголовке, напоминающем надпись на погребальном венке, значим скрытый план, ассоциативно связанный с темой смерти. Реалистический сюжет мистифицируется, социально типичная ситуация обрывает экзистенциальными мотивами.

В ограниченном пространстве обычного конструкторского бюро, где работают вполне узнаваемые герои, появляется «чудная баба» – Лидия Петровна, «после картошки» отстраненная от всего происходящего и погруженная в свои душевные переживания. Ее появление совпадает с неожиданно звучащим вопросом Оли, отвечающим глубинным размышлениям героини. И хотя это всего лишь часть принятой негласно всеми сотрудниками ролевой игры, где у каждого свое амплуа, реакция Лидия Петровны вызывает тягостное молчание и всеобщее убеждение в ее безумии. А сама героиня начинает активно выполнять роль «чудной бабы», своими разговорами вытягивая душу из окружающих, которые поставлены в абсурдную ситуацию: необходимость доказывать, что они живые, а не муляжи. Характерно, что сослуживцы, услышав странные признания Лидии Петровны, легко ей верят, так как это мистическое объяснение совпадает с их внутренними неосознанными ощущениями. Симулятивность призрачного существования преодолима только одним – возможностью выйти за рамки привычной жизненной роли. Так, Александр Иванович, убежденный в физиологической сущности человека, меняет на время амплуа начальника на роль классического влюбленного, готового кровью подтвердить подлинность своих чувств.

Александр Иванович (*помолчав*). Я есть!

Лидия Петровна. Докажите!

Александр Иванович. Ну, во-первых, моя мама до сих пор жива...

Лидия Петровна. Нет, нет, нет, мама тоже муляж. Вы сами докажите.

Александр Иванович (*подумав*). Пожалуйста! (*Берет перочинный ножик, надрезает палец*).

Лидия Петровна. Ой! Кровь!

Александр Иванович. Ну конечно же! Лидия Петровна... я, как безумный, как мальчишка, доказываю вам...

Лидия Петровна. Это не доказательство.

Александр Иванович. Но если мы исследуем ее состав, то увидим, что она настоящая.

Лидия Петровна. Как настоящая. Ювелирная работа... [16. С. 600].

Этот высокий порыв оказывается лишь частью игры, в которой герой подыгрывает Лидии Петровне в ее мучительных сомнениях, поэтому так легко Александр Иванович совершает предательство, вызвав «скорую помощь» для коллеги, обезумевшей, по его мнению, от безответной любви к нему. Не способствует прорыву к подлинности и «принцип стыдных признаний» [16. С. 605], привлеченный Геной Ескиным для опровержения своей искусствен-

ности и циничного бравирования показной свободой, ведь «эти подоби́я... не могут перепрыгнуть сами через себя» [16. С. 603]. Таким образом, ни «физиология» Александра Ивановича, ни путь «нравственного покаяния» Гены Ескина не способны преодолеть кризис идентичности. Не становится выходом из имитации жизни и чувственное легкомыслие Оленьки, для которой спор о смысле существования лишь средство избавления от гнетущей ее на работе скуки.

Воплощением агрессивной злобы и абсолютного равнодушия предстает Елена Максимовна, которая в финале абсурдно переворачивает ситуацию, обвиняя в симулятивности саму Лидию Петровну и отправляя ее в сумасшедший дом: «Это тебя нет. Тебя подменили муляжом» [16. С. 60]. Круг замыкается в невозможности выхода из реальности симулякров, закольцованность действия подчеркивается словами героини, дословно повторяющей начальную реплику тетеньки Убиенько. Но в контексте тотального одиночества и усиливающегося безумия Лидии Петровны, на пороге жизни и смерти обретающей экзистенциальное мироощущение, слова о «счастливом цветении» мира звучат трагической иронией. Героиня на протяжении всего действия тщетно пыталась найти сочувствие, понимание, заглядывая окружающим в глаза в поисках «живой души». Садур во многих своих пьесах обыгрывает мифологему «магического взгляда», при помощи которого, «по народным представлениям, человек может повлиять на судьбу другого человека. Чаще всего в верованиях глаза связаны с возможностью сглазить, навредить живому существу» [15. Т. 1. С. 500]. Демонический взгляд высасывает жизненную силу, энергию, обнажает скрытые мысли и чувства. Лидия Петровна, стремясь обнаружить проявления человеческой подлинности, наталкивается на непреодолимую завесу, скрывающую таящийся на дне души человека разрушительный хаос. Поэтому общение со «здоровыми коллегами», утратившими способность сострадать, оборачивается для Лидии Петровны трагическим исходом: бегством в безумие и смерть.

Гоголевский мотив «миражности жизни», нарастая к финалу, разрешается немой сценой, прерванной тревожным телефонным звонком прямо в конструкторское бюро из иной, трансцендентной реальности. Исследователи неоднократно отмечали прием симметрии, свойственный пьесам Нины Садур, когда развязка исходного противоречия преобразуется в завязку другой конфликтной ситуации, аналогичной первой, но с другим героем [21]. Так в финале «Группы товарищей» эстафета «экстатического прозрения» от Лидии Петровны неожиданно для зрителей передается Елене Максимовне, агрессивно пытавшейся оградиться от хаоса в течение всего действия. Характерно, что в начале действия тетенька Убиенько избрала в качестве своего антипода Лидию Петровну, добрую половину, а в конце уход героини компенсируется далекой от сострадания и сердечности злой Еленой Максимовной, которую тоже «потянуло».

Закольцованность действия превращает две пьесы в своеобразный цикл, реализующий авторскую альтернативно-экспериментальную модель по принципу контрверсности – обсуждения предмета с двух противоположных точек зрения: *pro et contra*. Истина в вопросе о подлинности жизни ищется не на основе поведения персонажей, по сути лишенных характеров и представ-

ляющих авторские манекены, а через своеобразную авторскую игру концептами жизни/смерти, рациональности/трансцендентности. Столкновение в двух частях «Чудной бабы» разных хронотопов, разных ментальностей призвано вовлечь зрителей в интуитивно-экстатический опыт познания мира, утратившего свою подлинность: в первой части призрачность жизни выявляется на уровне архаического сознания, во второй пьесе симулятивность реальности обнажается через кризис рационалистического, прагматического сознания современного человека, столкнувшегося с трансцендентным. Думается, что это не просто навязчивое использование приема «технологии мистического», рассчитанного только на «эксплуатацию подсознательной тревоги рядового зрителя» [10. С. 175], а доминанта мироощущения современного автора, наделенного мистическим зрением, обостренно чуткого к проявлениям зла, одновременно ужасающим и манящим.

Литература

1. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: в 3 кн. М.: УРСС, 2001. Кн. 3. С. 70.
2. Алексеева Е. 39 классиков и 2 чудные бабы // Современная драматургия. 1993. № 2. С. 178.
3. Литература последнего десятилетия: тенденции и перспективы // Вопр. лит. 1998. № 2.
4. Садур Н. «Я – самый маленький человек в своем дворе» // Новое время. 2003. № 42. С. 41.
5. Тихомирова Е. «Звуком слова я укрощаю эти стихии» // Октябрь. 1996. № 4. С. 173.
6. Философия в системе культуры: учеб. пособие: в 2 ч. / под ред. В.И. Ильина. М., 2001. Ч. 2: Современная научно-философская картина мира. С. 6.
7. Человек: филос.-энцикл. слов. М.: Наука. 2000. С. 195.
8. Аверинцев С.С. Мистика // Филос. энцикл. слов. М., 1989. С. 368.
9. Кайгородов А.Г. Мистика как социальный феномен: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Пермь, 2001. С. 8.
10. Цунский И. Технология мистического // Современная драматургия. 1998. № 2. С. 176.
11. Яковлев М.В. Мистическое // Лит. энцикл. терминов и понятий. М., 2001. С. 557.
12. Солнцева А., Левикова Е. Те, кто пришел после // Сов. театр. 1987. № 4. С. 36.
13. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. яз., 1991. Т. 4. С. 612.
14. Кайсаров А. Славянская и российская мифология // Мифы древних славян. Велесова книга. Саратов. 1993. С. 84.
15. Славянские древности: этнолингв. слов. / под ред. Н.И. Толстого: в 3 т. М.: Междунар. отношения, 1995. Т. 1. С. 355–356.
16. Садур Н. Чудная баба // Драма II половины XX в. М., 2000.
17. Оляшек Б. Пьесы Н. Садур: опыт нетрадиционной драмы // Драма и театр. Вып. 4. Тверь, 2007. С. 214.
18. Соколянский А. «И в чудных пропастях земли» // Новый мир. 1995. № 5. С. 235.
19. Драма II половины XX в. М.: Слово/ Slovo, 2000. С. 621.
20. Толстой Н.И. Славянские верования // Славянская мифология: энцикл. слов. М., 1995. С. 21.
21. Семенецкая О.В. Поэтика сюжета в драматургии Н. Садур: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Самара, 2007 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://cheloveknauka.com/poetika-syuzheta-v-dramaturgii-niny-sadur> (дата обращения: 20.11.2014).

THE POETICS OF NINA SADUR'S PLAY *CHUDNAYA BABA*: MYSTIC AND MYTHOLOGICAL MOTIFS AND IMAGES

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 152–163.

DOI 10.17223/19986645/35/12

Vorobyova Tatiana L., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: tatnick@mail.ru

Keywords: transcendental, simulativity, mythological motifs and images, play of concepts, principle of controversy

Nina Sadur's drama as a unique phenomenon of modern literature is characterized by its holistic aesthetics, philosophy and distinctive artistic language. Her works organically combine trivial everyday reality with the otherworldly and transcendent otherness. The writer turned to folk pagan mysticism in order to reveal the world-view of a modern person experiencing inner anxiety of the inconceivable chaos of life. Mythological motifs and images shown in the texts of Sadur's plays with their inherent ambivalence are used not to expose the innermost of the national consciousness, but to embody the author's post-modern message.

Two parts of an early play *Chudnaya baba* ("The Weird Peasant Woman") are united by the plot logic as well as compositional experimental model subordinated to the issue of the world authenticity testing. Two different chronotopes, two opposite minds clash to reveal the controversy principle: pro et contra. The search for an answer to the question of life essence is not based on the behavior of characters deprived of their personal qualities and representing author's mannequins, but on the original play of concepts of life / death, rationality / transcendence. Sadur tries to provide the audience with an intuitive and ecstatic experience of the cognition of the world that lost its authenticity: the first part shows the life illusiveness on the archaic consciousness level, while the second part exposes reality's simulativity through the crisis of the rationalistic and pragmatic mind of a modern person who faces the transcendent. The circular composition emphasizes the tragic finale revealing the possible outcome duality: on the one hand, most characters are able neither to overcome the identity crisis, nor to break out from the ghostly existence; on the other hand, the cost of a possible breakthrough is an escape into madness followed by the death of the protagonist Lydia Petrovna, the very "chudnaya baba".

Some contemporary critics allege the use of mysticism to be directed to operate the ordinary spectator's subconscious anxiety, but the author's aim is rather an expression of her world perception since the author is endowed with a mystical vision, extremely sensitive to manifestations of the Good and the Evil in the world, and she is acutely aware of the modern person's alienation tragedy. Nina Sadur's early play shows the formation of her mythopoetics peculiarities, which are typical for the writer's further works.

References

1. Leyderman N.L., Lipovetskiy M.N. *Sovremennaya russkaya literatura. V 3-kh kn.* [Modern Russian Literature. In 3 books]. Moscow: URSS Publ., 2001. Book 3.
2. Alekseeva E. 39 klassikov i 2 chudnye baby [39 classics and two weird women]. *Sovremennaya dramaturgiya*, 1993, no. 2.
3. Biryukov S. Literatura poslednego desyatiletiya: tendentsii i perspektivy [The literature of the latest decade: Trends and Prospects]. *Voprosy literatury*, 1998, no. 2, pp. 61–68.
4. Sadur N. "Ya – samyy malen'kiy chelovek v svoem dvore" ["I am the smallest person in my yard"]. *Novoe vremya*, 2003, no. 42.
5. Tikhomirova E. "Zvukom slova ya ukroshchayu eti stikhii" ["By the sound of the word I tame these elements"]. *Oktyabr'*, 1996, no. 4.
6. Il'in V.I. (ed.) *Filosofiya v sisteme kul'tury. V 2-kh ch.* [Philosophy in the culture system. In 2 parts]. Moscow: Bauman Moscow State Technical University, 2001. Pt. 2. 176 p.
7. *Chelovek. Filosofsko-entsiklopedicheskiy slovar'* [Man. Philosophical and Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Nauka Publ., 2000, pp. 195.
8. Averintsev S.S. *Mistika* [Mysticism]. In: *Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1989, p. 368.
9. Kaygorodov A.G. *Mistika kak sotsial'nyy fenomen*. Avtoref. diss. kand. filos. nauk [Mysticism as a social phenomenon. Abstract of Philosophy Cand. Diss.]. Perm, 2001.
10. Tsunskiy I. *Tekhnologiya misticheskogo* [Technology of the mystic]. *Sovremennaya dramaturgiya*, 1998, no. 2.

11. Yakovlev M.V. *Misticheskoe* [The mystic]. In: Nikol'yukin A.N. (ed.) *Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy* [Literary Encyclopedia of terms and concepts]. Moscow: NPK "Intelvak" Publ., 2001, p. 557.
12. Solntseva A., Levikova E. Te, kto prishel posle [Those who came later]. *Sovetskiy teatr*, 1987, no. 4.
13. Dahl V. *Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka. V 4-kh t.* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language. In 4 v.]. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 1991. V. 4, p. 612.
14. Kaysarov A. *Slavyanskaya i rossiyskaya mifologiya* [Slavic and Russian mythology]. In: Kaysarov A., Glinka G., Rybakov B. *Mify drevnikh slavyan. Velesova kniga* [Myths of the ancient Slavs. Veles Book]. Saratov: Nadezhda Publ., 1993, p. 84.
15. Tolstoy N.I. (ed.) *Slavyanskije drevnosti. Etnolingvistiicheskiy slovar'. V 3-kh t.* [Slavic antiquities. Ethnolinguistic Dictionary. In 3 v.]. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 1995. V. 1, pp. 355–356.
16. Sadur N. *Chudnaya baba* [The Weird Peasant Woman]. In: Tevekelyan D.V. (ed.) *Drama II poloviny XX v.* [Drama of the second half of the twentieth century]. Moscow: Slovo Publ., 2000.
17. Olyashek B. *P'esy N. Sadur: opyt netraditsionnoy dramy* [N. Sadur's Plays: experience of unconventional drama]. In: Ishchuk-Fadeeva N.I. (ed.) *Drama i teatr* [Drama and theater.]. Tver: Tver State University Publ., 2007. Is. 6.
18. Sokolyanskiy A. "I v chudnykh propastyakh zemli" ["And in the wonderful caves of the earth"]. *Novyy mir*, 1995, no. 5.
19. Tevekelyan D.V. (ed.) *Drama II poloviny XX v.* [Drama of the second half of the twentieth century]. Moscow: Slovo Publ., 2000.
20. Tolstoy N.I. *Slavyanskije verovaniya* [Slavic beliefs]. In: Petrukhin V.Ya., Agapkina T.A., Vinogradova L.N., Tolstaya S.M. (eds.) *Slavyanskaya mifologiya. Entsiklopedicheskiy slovar'* [Slavic mythology. Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Ellis Lak Publ., 1995, p. 21.
21. Semenitskaya O.V. *Poetika syuzheta v dramaturgii N.Sadur*. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Poetics of the plot in N. Sadur's drama. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Samara, 2007. Available from: <http://cheloveknauka.com/poetika-syuzheta-v-dramaturgii-niny-sadur>. (Accessed: 20.11.2014).

УДК 821.161.1

DOI 10.17223/19986645/34/13

Э.М. Жиликова, И.Б. Буданова

КНИГИ И.-В. ГЕТЕ И ВИКТОРА ГЕНА ОБ ИТАЛИИ В КРУГЕ ЧТЕНИЯ А.Н. ОСТРОВСКОГО (1870–1880-е гг.)¹

В статье рассматриваются пометы А.Н. Островского на двух книгах из личной библиотеки драматурга: «Путешествие в Италию» И.-В. Гете и «Италия. Взгляды и беглые заметки» немецкого культуролога Виктора Гена. Исследование помет в контексте нравственно-философских и эстетических исканий Островского 1870–1880-х гг. дает материал для представления об отношении русского драматурга к итальянской культуре, театру и о характере восприятия им просветительской концепции Гете.

Ключевые слова: А.Н. Островский, И.-В. Гете, В. Ген, К. Гольдони, Италия, театр, драматургия, эстетика.

В связи с исследованием проблемы: А.Н. Островский – переводчик итальянских драматургов – большой интерес представляют пометы писателя на двух книгах из его личной «московской библиотеки», хранящейся в Пушкинском Доме [1]. Это «Путешествие в Италию» И.-В. Гете [2] и книга Виктора Гена² «Италия. Взгляды и беглые заметки» [3]. Немногочисленные пометы, сделанные карандашом на полях и в тексте произведений, чрезвычайно важны для понимания эстетики и творчества Островского 1870–1880-х гг.: они дополняют представление о круге чтения писателя, связанного с театром³, и дают конкретный материал для понимания характера восприятия драматургом проблем, касающихся Италии.

«Путешествие в Италию» Гете, полностью опубликованное автором в 1816–1818 гг., в русском переводе впервые появилось в 1879 г. в 7-м томе собрания сочинений «Гете в переводах русских писателей», изданных Н.В. Гербелем. Переводу было предпослано Предисловие от издателя: «“Путешествие в Италию” Гете никогда не было переведено на русский язык, не только целиком, но и отрывками, почему предлагаемый здесь труд Зенаиды Александровны Шидловской, помещаемый в предлагаемом издании *в первый раз*, имеет полное право на название *первого перевода* этого замечательного произведения автора «Фауста» на русский язык» [2. С. VIII].

¹ Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 15-34-01023.

² Виктор Амандус (Амадеус) Ген (*Victor Amandus Hehn*; 1813, Дерпт – 1890, Берлин), историк прибалтийско-немецкого происхождения, автор многочисленных работ по культурной истории, литературоведению, языкознанию.

³ Записка «Соображения по поводу устройства в Москве театра...», датируемая 1885 г., свидетельствует о пристальном внимании Островского к научным исследованиям по истории театра: «В Москве еще эстетика не в загоне... она еще живет и в университете. Профессор Тихонравов написал большую книгу о начале русского театра, Стороженко посвятил свою деятельность изучению Шекспира, Веселовский писал о Мольере. ...Юрьев историю драматургии у всех народов» [4. Т. 16. С. 289].

Книга В. Гена, увидевшая свет в 1867 г., была переведена с немецкого и опубликована в России в 1872 г. В «Предисловии переводчика» сказано: «Мы признаем (книгу. – Э.Ж.) за лучшее и примечательнейшее в наше время сочинение об Италии» [3. С. I]. В обеих книгах, написанных по следам путешествий по Италии (Гете – в 1786–1787 гг., В. Ген – в 1839–1840 гг.), авторы делятся непосредственными впечатлениями от увиденного, размышляют о национальном своеобразии народа, культуры, истории, театра Италии в контексте сравнительного анализа с другими странами и народами. Путевые и дневниковые записи Гете, представляющие собой целостное завершённое художественное произведение и исследование В. Гена, теоретическое по форме, однако сохраняющее в основе «сюжет» путешествия из Европы в Италию и отличающееся живописанием картин природы, являются документами эстетической, исторической, философской просветительской мысли Европы начала и середины XIX в.

В «Путешествии в Италию» получил отражение процесс формирования эстетики «веймарского классицизма» Гете, но не только. Как пишет С.В. Тураев, «Италия обогатила поэта такими впечатлениями, которые уже подготовили выходы за рамки эстетической системы веймарского классицизма» [5. С. 173]. «Путешествие в Италию», подготовленное к печати и опубликованное спустя 30 лет после посещения Италии, отразило философскую и эстетическую позицию зрелого писателя. Книга, составленная из эссе, дневниковых записей, отрывков из писем, выдержек из рассказов, художественных зарисовок, объединена и одушевлена авторской концепцией единства мировой культуры. В осуществлении «торжества гуманности» как «желанной мечты человечества» [2. С. 321] Гете, как и Гердер (имя его присутствует на страницах «Путешествия в Италию»), важную роль отводит Италии. Одно из важнейших открытий, сделанных Гете на земле, пропитанной духом Античности, – это новое видение жизни, в котором великое и малое, поэзия и проза предстают в целостности и составляют основу искусства. Говоря о римском карнавале – «празднике, который, собственно, не дается народу, но который народ дает сам себе», Гете формулирует эстетический постулат: «В ту минуту различие между высоким и низким кажется уничтоженным: всё сближается» [2. С. 465].

В. Ген в своей книге об Италии ориентирован на Гете. Имя Гете появляется уже на третьей странице¹ и не исчезает до конца книги. Влияние Гете сказалось в методе исследования: Италия рассматривается в контексте мировой и европейской истории и культуры. Однако в отличие от Гете, художественно-объективная позиция которого была основой и выражением его широкого философского просветительского видения мира, концепция жизни и искусства В. Гена отмечена явной тенденциозностью, сказавшейся в предпочтении им Италии всем другим странам Европы. Так, при сравнении европейских художников, авторов «жанровых сцен», В. Ген отдаёт предпочтение итальянцам: «Сцены жанра собраны, правда, со всех концов мира, из гелльсхландской крестьянской избы, из баварской горной местности, и откуда

¹ В. Ген вспоминает эпизод из «Путешествия в Италию», когда Гете «посадил в свой экипаж нищего мальчика» [3. С. 3].

только? но они остались картинами жанра, в лучшем случае искренними, сердечными и приятными, но человеческого благородства они не показывают нам и реальный стиль не совпадал с идеальностью. Это есть и будет преимущество Италии» [3. С. 137]¹. Тем не менее наблюдения В. Гена в области сравнительного языкознания, связанные с проблемами развития языков и генетически восходящие к идеям Вильгельма Гумбольдта (1767–1835), а также непосредственного учителя Карла Лахмана (1793–1851) и современников – Франца Боппа (1791–1867) и Филиппа Августа Бёка (1785–1867), заключали в себе большую научную информацию и вызвали интерес Островского.

Судя по времени издания книг, пометы Островского относятся к периоду 1870–1880-х гг. В «Италии» В. Гена они сделаны не ранее 1872 г., в «Путешествии в Италию» не ранее 1879 г., а потому можно сказать, что содержание помет носит итоговый характер по отношению ко всему творчеству и жизненному опыту Островского, включая и его восприятие Италии. За плечами Островского к этому времени было собственное путешествие по Италии, предпринятое в 1862 г. [6], переводы из Гольдони, Гоцци, Чикони, Франки, Джакометти и других авторов. Ко времени чтения книг Гете и В. Гена, а также И. Тэна, страницы «Чтения об искусстве» которого сохранили многочисленные пометы Островского, относится перевод «Мандрагоры» Н. Маккиавелли (1883 г.) и новые замыслы «драматизированных сказок», созданием которых, по словам драматурга, «составил себе имя знаменитый итальянец, граф Carlo Gozzi» (письмо к А.Д. Мысовской от 28 июля 1885 г.) [4. Т. 16. С. 187]. Таким образом, круг чтения Островского, включающий в себя как книгу мирового классика Гете, так и брошюру культуролога В. Гена, свидетельствует о глубокой заинтересованности русского драматурга Италией – ее историей, культурой, языком.

Пометы Островского можно разделить на четыре группы:

- 1) правки стилистического характера;
- 2) пометы, касающиеся вопросов натурфилософии, эстетики, психологии творчества;
- 3) помета, связанная с театром;
- 4) пометы, относящиеся к вопросам истории языка.

¹ Свою книгу В. Ген завершает полемически звучащим выводом о красоте итальянского языка. Этот вывод он подтверждает мнением Байрона: «Когда Юлий Фрёбель приехал от энергического, скупого на слова народа Соединенных Штатов в северную Мексику, к говорящим по-испански людям, ему бросились в глаза грандиозные, музыкально-звучащие собственные имена мужчин из народа: вместо Jack, Dick или Bill он слышал, напр.: Don José Jesús de la Luz Miramontes, и воскликнул: Что за пустая многоречивость в одном имени! (Aus Amerika, 2,268). Это было сказано с точки зрения культурной работы, которой есть дело только до того, что целесообразно, и которая презирает всякую ненужную роскошь; но иначе судил, обратив свои взоры на прекрасное единство человеческой природы и ее изображения в языке, лорд Байрон в великолепном стансе (Беппо, 14):

Я люблю язык, тот мягкий выродок латыни,
Что тает как поцелуй в женских устах
И звучит, точно ему следует быть написанным на атласе,
С его слогами, которые дышат сладким югом;
И с нежными плавными буквами, скользящими так легко,
Что ни один тон не кажется грубым,
Как в нашем жестком, северном, свистящем гортанном хрюканье,
Которым мы должны освидетельствовать, оплевывать и ошипеть все» [3. С. 200].

Первую группу составляют правки стилистического характера. Островский подчеркивает в тексте и отмечает знаком «?» на полях не совсем ясно выраженную мысль или ошибки в топографических названиях. На странице 131 в описании вида римских предместий Островский исправляет неправильно напечатанное название: в слове «Кастель-Гондолеро» букву «р» он меняет на «ф», чтобы получилось «Кастель-Гондолефо».

Аналогичная по содержанию помета сделана на странице 356: напротив предложения «Вечером я всходил на Троянскую колонну, чтобы насладиться очаровательным видом» на полях поставлен «?», указывающий на ошибку в написании колонны Траяна. На странице 380 Островский напротив названия «Кампус Мартиус», более известного в русском варианте как «Марсово поле», ставит на полях «?».

Такая тщательность правок на протяжении всей книги свидетельствует о том, что «Путешествие в Италию» было прочитано полностью и с большим вниманием¹.

Вторую группу составляют пометы, касающиеся вопросов натурфилософии, эстетики, психологии творчества. Материалом для анализа служат как собственно размышления Гете, отмеченные Островским, так и тексты книги, оказавшиеся в близкой зоне от помет драматурга, т.е. несомненно прочитанные им.

Так, на странице 364 в тексте: «Но разбрасывание между столькими занятиями стало мне наконец докучать, так что пребывание мое в Риме, конец которого я уже предвидел, стал для меня все мучительнее и тяжелее» Островский подчеркивает слово «стал» и на полях ставит «?», указывая тем самым на отсутствие согласования слов в предложении. Но это только формальная сторона вопроса о правках; не менее важным представляется содержательный план текста, связанного с этой правкой. Отмеченное предложение является финальным в большом тексте под названием «Отрывочные наблюдения природы». Гете рассказывает о том,

«какое страстное волнение подымается в нашей душе, при рождении мысли, богатой содержанием, когда мы чувствуем себя вдохновенными в то время, когда предугадываем в совокупности все то, что исследуем. <...> Специалистам покажется, может быть, слишком наивным, если я расскажу, как ежедневно в каждом саду, на прогулках и маленьких увеселительных поездках я

¹ Точность, почти корректорская правка текста была обусловлена, помимо интереса Островского к произведению Гете, помимо профессионального опыта редактора, рецензента, читателя множества рукописей произведений молодых авторов, личностью издателя «Путешествия в Италию» – Николая Васильевича Гербеля (1827–1883), с которым Островский был в дружеских отношениях. Поэт, переводчик, издатель сочинений Шиллера, Гете, английских поэтов в русских переводах, Н.В. Гербель был издателем и произведений А.Н. Островского. В библиотеке драматурга хранится «Хрестоматия для всех. Русские поэты в биографиях и образцах» (СПб., 1873) с дарственной надписью составителя и карандашными пометами Островского. В их письмах друг к другу обсуждалась не только деловая сторона издания, но шла работа над самими переводами. Так, в письме от 2 ноября 1865 г. Гербель писал по поводу «Усмирения своенравной»: «В некоторых местах я означил карандашом, где, мне кажется, или описка, или не выходит стих» [7. С. 65]. В ответ Островский писал: «Места, замеченные Вами карандашом, я исправил» [4. Т. 14. С. 133]. И после этого драматург просит посмотреть еще одно «темное место» (Там же). Большая заинтересованность в деятельности Н.В. Гербеля и практика чтения с карандашом в руке получили реальное воплощение и на страницах «Путешествия в Италию» Гете.

захватывал растения, которые замечал около себя. В особенности при наступающей зрелости семян, мне было важно наблюдать, как некоторые из них выступали на свет». <...> Но всего замечательнее показалась мне однако кустовая высокая гвоздика. Известно, как велика сила жизни и размножения в этом растении; на ветвях его глазок теснится к глазку, почка выступает на почке, им нужна крепость для того, чтобы разрастаться и почки достигают возможно совершенного развития в этой невообразимой тесноте, так что даже полный цветок из недр своих производит новые полные цветы.

Не видя никакого средства для сбережения этой чудной формы, я решил подробно ее нарисовать, причем приходил все к большему и большему уразумению основного понятия этой метаморфозы. Но разбрасывание между столькими занятиями стало мне наконец докучать, так что пребывание мое в Риме, конец которого я уже предвидел, стало для меня все мучительнее и тяжелее» [2. С. 362–364].

Любовь Гете к природе, особенно к цветам – источнику наслаждения и прекрасному материалу для научного построения натурфилософской модели развития живой природы [8] – не могла не заинтересовать Островского. Из писем и дневников драматурга известно его трогательное пристрастие к цветам, заключающим для драматурга невыразимую прелесть и символику высоких понятий. В дневнике 1848 г., находясь в Щелыково, Островский делает признание, очень важное для понимания его душевного склада:

Я начинаю чувствовать деревню. У нас зацвела черемуха, которой очень много подле дома, и восхитительный запах ее как-то короче знакомит меня с природой – это русский *fleur d'orange*. Я по несколько часов упиваюсь благоуханным воздухом сада. И тогда мне природа делается понятней, все мельчайшие подробности, которых бы прежде не заметил или считал бы лишними, теперь оживляются и просят воспроизведения. Каждый пригорочек, каждый изгиб речки – очаровательны, каждая мужицкая физиономия значительна (я пошлых не видал еще), и все это ждет кисти, ждет жизни от творческого духа [4. Т. 13. С. 187].

В дневнике экспедиции по Волге 1856 г. сделана запись: «Ходили <...> к самому истоку (сажен 12 от часовни на запад). Из-под упавшей и уже сгнившей березы Волга вытекает едва заметным ручьем. Я нарвал у самого истока цветов на память» [6. Т. 13. С. 226]. Во время заграничного путешествия 1862 г. Островский, оказавшийся среди многолюдства, дворцов, шумных городов (из Магдебурга: «Я не люблю смотреть дворцов, меня что-то жмет» [4. Т. 13. С. 244]), с неизменной трогательностью отмечает проявления живой природы: в Бурге он заметил цветущую черемуху, в горах Гарца «на память сорвал листок мать-мачехи» [4. Т. 13. С. 245], в Италии, за Гардским озером, увидал «первые васильки. Прелестные полевые цветы – первую роль играет мак; особенно красив в голубых цветах льна» [4. Т. 13. С. 253].

В основе интереса к природе у Гете, помимо врожденного вкуса художника, лежало стремление исследователя проникнуть в тайны мироздания, понять законы единства жизни природы, человека, культуры. А.Н. Островский не трудился над созданием научно-исследовательской концепции, но на

уровне художественно-интуитивного восприятия жизни он был философом просветительского толка, остро чувствовал и переживал нерасторжимую связь природного и духовного, служащую основанием единства, взаимопонимания и нравственного развития человеческого общества. В дневнике 1848 г. Островский делает обширную запись, в которой получила выражение его натурфилософская позиция:

8 апреля. Кострома.

Описывать этого вида нельзя. Да чуть ли не это вызвало слезы из моих глаз. Тут все: все краски, все звуки, все слова. А заставьте такого художника, как природу, все эти средства употребить на малом пространстве, посмотрите, что она сделает. Тут небо от самого яркого блеску солнечного заката перешло через все оттенки, до самой загадочной синевы. Тут Волга отразила все это небо, да еще прибавила своих красок, своих блесков, да еще как ловкий купец ухватишь за конец какую-нибудь синеву с золотыми блестками. Облака, растрепанные самым изящным образом, столпились на запад посмотреть, как заходит солнце, и оно уделило им на прощанье часть своего блеску. А диким гусям стало завидно, и они самым правильным строем, вытянувшись поодиночке углом, с вожаком в голове, потянулись на запад; вот они поравнялись с солнцем, их крылья блеснули ослепительным светом, и они с радостным криком полетели на север <...>. Я измучился глядя на это. Природа – ты любовница верная, только страшно похотливая; как ни люби тебя, ты всё недовольна; неудовлетворенная страсть кипит в твоих взорах, и как ни клянись тебе, что не в силах удовлетворить твоих желаний – ты не сердишься, не отходишь прочь, а все смотришь своими стр[астными] очами, и эти полные ожидания взоры – казнь и мука для человека [4. Т. 13. С. 185].

Запись интересна тем, что в своих главных положениях и в восторженном характере стиля она перекликается со статьей Гете «Природа», переведенной А.И. Герценом и опубликованной в «Письме втором» из цикла «Письма об изучении природы» («Отечественные записки», 1845 г.):

Природа! Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошенная, неожиданная, захватывает она нас в вихрь своей пляски и несется с нами, пока, утомленные, мы не выпадаем из рук ее.

Она творит вечно новые образы; что есть в ней, того еще не было; что было, не будет; все ново, – а все только старое. Мы живем посреди ее, но чужды ей. Она вечно говорит с нами, но тайн своих не открывает. Мы постоянно действуем на нее, но нет у нас над нею никакой власти [9. С. 116].

<...> Она единственный художник: из простейшего вещества творит она противоположнейшие произведения, без малейшего усилия, с величайшим совершенством, и на все кладет какое-то нежное покрывало.

<...> Она все. Она сама себя и награждает, и наказывает, и радуется, и мучит. Она сурова и кротка, любит и ужасает, немощна и всемогуща. Все в ней непрестанно. Она не ведает прошедшего и будущего, настоящее ее – вечность. Она добра. Я славословлю ее со всеми ее делами. Она премудра и тиха. Не вырвешь у нее признания в любви, не выманишь у ней подарка, разве добровольно подарит она. Она хитра, но только для доброй цели, и всего

лучше не замечать ее хитрости. Она целостна и вечно недокончена. Как она творит, так может творить вечно [9. С. 117].

Нет документальных свидетельств о том, читал ли Островский эту статью¹. Тем значительнее сходжения Островского с Гете в понимании природы и в стиле, точно охарактеризованном Герценом: «Именно эта восторженность заставила меня избрать ее образцом художественного глубокомыслия Гете: трепет сочувствия к жизни, к живому пробегает по всем строкам, каждое слово дышит любовью к бытию, упоением от него» [9. С. 116].

Страстная привязанность к величественным и мельчайшим проявлениям жизни природы у двух, казалось бы, таких отличных по времени, национальной принадлежности художников, обнаруживает сходство в их душевной организации, в философском понимании универсальной целостности человека и природы, во многом определивших широту их эпического видения мира.

Чрезвычайно важным представляется отмеченное Островским рассуждение Гете о необходимости объективного, исторического подхода в оценке произведений искусства:

Иногда приходилось слышать, конечно, удивительные мнения. Есть род эмпирического суждения, уже с давнего времени пущенного в ход преимущественно английскими и французскими путешественниками: высказывают свое минутное, неподготовленное суждение, не подумав даже о том, что каждый художник обусловлен во многих отношениях особенностями своего таланта, предшественниками и учителями, временем и местом, покровителями и заказчиками. Из всего, что было бы необходимо для верной оценки, ничто не принимается в соображение, и из этого возникает отвратительная мешанина похвал и порицаний, утверждений и отрицаний, вследствие чего особенно отрицается каждое отличительное достоинство предметов, подлежащих обсуждению² [2. С. 436].

Островский разделял полемический пафос Гете в защиту исторического принципа просветительской эстетики. В многочисленных записках о театральном искусстве Островский неустанно вел полемику с эмпирическими, неоправданными, субъективными, «вкусовыми» суждениями в современной

¹ Из письма А.Н. Островского и Т.И. Филиппова к Б.Н. Эдельсону (письмо написано Т.И. Филипповым, рукой Островского сделана приписка в конце письма и подпись) от 28 февраля 1848 г. следует, что авторы письма хорошо знакомы с литературными публикациями в журналах «Отечественные записки» и «Современник» за 1848 г.: «Читали мы в «От[ечественных] за[писках]» превосходнейший перевод (М. Достоевского) древней германской легенды. Если ты не читал, то советуем тебе исправить сию твою ошибку в наискорейшем времени. Это очень хорошее приобретение в нашей литературе. Читали также мы «Сороку-воровку» и нашли, что эта повесть очень нехудожественна, да и по содержанию довольно бедная. Пиши нам, что ты читаешь и как находишь читаемое» [4. Т. 14. С. 12]. Не касаясь вопроса о содержании оценки произведений, важно отметить факт особого внимания авторов письма к текущей периодике и к именам Герцена, автора «Сороки-воровки», и Гете (М.М. Достоевский опубликовал в «Отечественных записках» перевод «Рейнеке – Лиса» Гете). Это позволяет предполагать, что внимание к литературным явлениям, в том числе к Гете и Герцену, распространялось не только на 1848 г., но было отличительной чертой Островского и его друзей и в предыдущие годы.

² Курсивом здесь и далее выделен текст, отчеркнутый А.Н. Островским вертикальной чертой на полях страницы.

ему театральной критике. В понимании сложности и многоаспектности вопроса о природе искусства, требующего гармонического сочетания индивидуального таланта и объективных обстоятельств, представленных словами Гете, «предшественниками и учителями, временем и местом, покровителями и заказчиками», Островский был единомышленником Гете. Показательна помета, сделанная в книге И. Тэна «Чтение об искусстве» (1874 г.): Островский подчеркивает в Примечании оценку, данную автором Гете, в связи с вопросом о субъективных (романтических) и объективных концепциях искусства:

Генрих Гейне, Виктор Гюгó, Шелли, Китс, Елисавета Броунинг, Эдгар По, Бальзак, Делакруа́, Декáмп и бездна других. В наше время было много прекрасных артистических натур. Почти все они пострадали от своего воспитания или от влияния среды. *Один Гете сохранил равновесие, но для этого понадобились весь его мудрый ум, его правильная жизнь и его всегдашняя власть над собою* [10. С. 90].

Одна из помет (отчеркивание текста на полях страниц 355 и 356) связана с рассуждениями Гете об особенностях творческого процесса:

Рим, 20-го июля.

Это время я мог наконец определить два основные недостатка, преследовавшие и мучившие меня в продолжение всей моей жизни. Один из них состоит в том, что я никогда не мог изучить технической стороны предмета, которым должен был или хотел заняться. От этого произошло то, что с такими большими природными дарованиями я так мало сделал. Работа, вызванная силою духа, удавалась или не удавалась, смотря по удаче и случаю; или же, желая сделать что-нибудь хорошо и обдуманно, я становился робок и не мог справиться с этим предметом. Другой, родственный первому, недостаток заключается в том, что я никогда не мог посвятить какой-либо работе или занятию столько времени, сколько на то требовалось. Так как я пользуюсь счастливой способностью очень много обдумывать и комбинировать в весьма короткое время, то выполнение шаг за шагом становится для меня скучно и невыносимо [2. С. 355–356].

Признание великого Гете, судя по отчеркиванию, импонировало Островскому. В письмах он сокрушался по поводу трудностей своей творческой работы: при богатстве замыслов драматург ощущал недостаток, как ему казалось, исполнительского дарования. Об этом он пишет Н.А. Некрасову в октябре 1872 г.:

Писать хочется, писать необходимо надобно, а не пишется; начинал до пяти пьес и бросал, – которую в начале, которую в половине. Дума-то перерастает дарованьишко и не дает ему ходу... [4. Т. 16. С. 122].

Не оставил без внимания Островский и признание Гете в записи из Рима от 6 января 1787 г. о его симпатии к «греческому церковному обряду»:

Сегодня, в праздник Крещения, я смотрел и слушал литургию по греческому церковному обряду. Эти обряды кажутся мне величественнее, строже, обдуманнее, и между тем общедоступнее латинских [2. С. 149].

Третью «группу» помет составляет одно отчеркивание Островского – это сообщение Гете о его посещении театра, где давалась комедия Карло Гольдони «Кюджские перепалки»:

Венеция. 10 октября 1786 года.

Наконец и я могу сказать, что видел комедию! Игнали сегодня в театре Сан-Лука «Le Baruffe Chiozzotte», что можно бы перевести таким образом: «Буйства и перебранки Киоцци [2. С. 85].

Эти отчеркнутые несколько строк представляют собой начало большого абзаца, посвященного разбору спектакля и самой комедии. Мнение Гете об итальянском театре – репертуаре, игре актеров, особенности итальянской комедии для народа – для Островского было несомненно важно и авторитетно. В статьях и записках 1870–1880-х гг. Гете упоминается не только как автор «Эгмонта» и «Фауста», но и как театральный деятель, написавший для Веймарского театра правила, которыми «в Германии при постановке пьес до сих пор руководствуются» [4. Т. 12. С. 286]. Что же касается итальянского театра, то материалы личной переписки драматурга, статьи и «служебные» записки свидетельствуют о его глубочайшем уважении к искусству итальянских актеров: Островский восхищается гениальным исполнителем шекспировских образов Эрнесто Росси, неоднократно вспоминает «величайшего трагика нашего времени» [4. Т. 12. С. 216] Томмазо Сальвини, пишет об Антонио Тамбурини – «отце знаменитейших примадонн» [4. Т. 12. С. 272], о пении Марио Джузеппе и Аделаиды Ристори. Островский дает высокую оценку итальянской комедии dell'arte, считает необходимым включение итальянского языка (наравне с французским) в качестве необходимого в программу обучения будущих актеров.

Особый интерес и внимание Островского – реформатора русского театра – были связаны с вопросом о «сильных бытовых пьесах из русской жизни» [4. Т. 12. С. 204] и о создании театра для народа, в котором эта масса «очеловечивается» [4. Т. 12. С. 256]. В книге Гете о путешествии по Италии большое место занимают наблюдения над жизнью народа, бытом и нравами простых итальянцев. Пьеса Гольдони и восприятие ее зрителями давали Гете богатый материал для размышлений о своеобразии итальянского национально-го характера и искусства, ориентированного на народный вкус. Описание театрального спектакля Гете начинает с характеристики действующих лиц, представленных обыкновенными людьми из простонародья, и отмечает жизненную верность картины Гольдони:

Действующие лица – моряки – жители Киоцци и их жены, сестры и дочери. Обыкновенная крикливость этих людей и по случаю хорошего, и по случаю дурного, их ссоры, запальчивость, добродушие, плоскости, остроумие, юмор и развязность манер – все очень хорошо представлено. Пьеса эта

принадлежит Гольдони, и так как я только накануне был в той местности и у меня еще раздавались в ушах и были живы перед глазами голоса и обращение этих жителей моря и гавани, то мне пьеса доставила большое удовольствие; хотя я и не понял некоторых отдельных намеков, но мог очень хорошо следить за общим ходом представления [2. С. 85–86].

Приступая к описанию самого «плана» комедии, Гете указывает на важную особенность поэтики Гольдони – простоту и прозаический характер *genius loci* (дух места):

План пьесы следующий. Обитательницы Киоццы сидят на рейде перед своими домами, прядут, вяжут, шьют, плетут кружева, по обыкновению [2. С. 86]¹.

Поэтика комедии Гольдони, связанной со стремлением верно воссоздать жизнь простого человека в ее бытовом и духовном проявлении, была свойственна и произведениям Островского, в которых герои из простонародья, купеческой, дворянской или разночинной среды, отмеченные, как и итальянцы, общительностью, простотой и открытостью нрава, проживали свои жизни «на людях». Характерно, что для перевода Островский выбрал комедию Гольдони «Кофейная», действие которой происходит на маленькой венецианской площади, образованной посреди улицы публичными местами: три лавочки, кофейная, парикмахерская, игорная, дом танцовщицы, гостиница.

Народный характер комедии Гольдони Гете отмечает в особенности юмора, отличающегося жизнеутверждающей веселостью:

¹ На характер организации пространства в произведениях Гольдони указал, вслед за Гете, в своей книге В. Ген, связывая выбор публичного места действия, например, в комедии «Веер», с традиционно сложившимися условиями жизни и особенностями менталитета итальянцев:

Но именно климат, как и древняя традиция, объясняет итальянское домашнее хозяйство. Итальянец живет на свободе, на улице, в кофейне, в суде и т.д., и покидает дом, как только позволяет солнечный зной и проливной дождь. Женщины и девушки сидят на террасе, посещают церкви, ожидают начала экипажного гулянья по Корсо и театра. Как лампы, столы, выставки всякого рода и т.д. имеют в глазах современных техников в высшей степени несовершенное устройство, но все еще носят на себе классические прекрасные формы, так и пребывание на обнесенном дворе под открытым небом, на публичной площади, под портиком, на мраморных ступенях лестниц, на улице и на рынке, в церкви и в театре и т.д., по обычаю древности составляет главную часть в системе жизни и нравов. В каждый свободный час оставаться в спокойном состоянии дома не приходит на ум итальянцу.

Насколько все сословия смотрят на публичное место, как на общий зал, и одно подле другого занимаются своими делами, показывает первая сцена комедии Гольдони: *Il ventaglio* (Веер. – Э.Ж.). Театром представляется una villa del Milanese delle Case nuove. С поднятием занавеса видны следующие лица на сцене: Г е л ь т р у д а и К а н д и д а сидят на террасе, обе заняты рукоделием; Э в а р и с т о (синьоре) и б а р о н сидят в креслах и пьют кофе, около каждого по охотничьему ружью; Деревенский г р а ф, в сюртуке и соломенной шляпе и с палкой, сидит близ аптекаря и читает книгу; Т и м о т е о (аптекарь) стоит в своей лавке и что-то толчет на подоконнике в медной ступке; Д ж а н и н а (крестьянская девушка) сидит у своей двери и занимается вязаньем; С у с а н н а (торговка) сидит у своей лавки и занимается шитьем; К о р о н а т о (трактирщик) сидит на скамье у своей гостиницы, с счетной книжкой и карандашом в руке; К р е с н и н о (сапожник) сидит на своей скамье; М о р а к к и о (деревенский парень) держит охотничью собаку на веревке и бросает ей куски хлеба; С к а в е ц ц о (слуга в гостинице) зовет курицу; Л и м о н ч и н о (слуга в кофейне) с подносом в руке ожидает вблизи обоих пьющих кофе господ, когда ему можно будет принять чашки; Т о н ь и н о (слуга обеих дам) занимается чисткою фасада дачи и подметает около двери [3. С. 114–115].

Я еще никогда не был свидетелем такого веселья, как то, которое выказала толпа, увидевшая так хорошо изображенную себя и своих. Хохот и ликование не прекращались. Я однако должен признаться, что актеры выполняли свое дело отлично. Они, сообразно характерам действующих лиц, разделились по различным голосам, встречающимся обыкновенно в народе. Первая актриса была очень мила, гораздо лучше, нежели намеренны в геройском одеянии и страстной роли. Женщины вообще, и в особенности эта, прелестно подражали голосам, жестам и манерам народа. Большой похвалы заслуживает и автор, который из ничего составил приятнейшее препровождение времени. Но это можно сделать только непосредственно для своего веселого народа. Во всяком случае пьеса написана мастерской рукой [2. С. 87].

Но особую похвалу Гете заслужило искусство Гольдони в создании национального характера. Не композиция пьесы (развязка комедии определяется как «поспешная» и «скудная»), а именно образ «старого шкипера» Гете называет «счастливой мыслью драматурга»:

Старый шкипер, которого все члены, а в особенности органы речи, потеряли свою подвижность, вследствие тяжелого образа жизни, который он вел с юности, выступает, как противоположность подвижной, говорливой, крикливой толпы: он всегда сначала готовится движением губ под аккомпанемент рук, пока наконец произнесет то, что думал. Но так как это удастся ему только отрывочными фразами, то он привык к лаконической серьезности, таким образом, что всё, что он говорит, имеет характер поговорки или сентенций, что прекрасно уравнивает буйный и страстный характер действия прочих [2. С. 86–87].

Рассуждение Гете о мастерстве Гольдони в создании характера героя и о роли его в общем развитии комедии было понятно и близко Островскому. Объясняя причину своего обращения к переводу «Кофейной», он писал:

Я перевел «Кофейную» для того чтобы познакомить публику с самым известным итальянским драматургом в одном из лучших его произведений. В этой пьесе, длинной и переполненной голою моралью (которую я по возможности сокращал), тип дон Марцио показывает, что Гольдони был большой художник в рисовке характеров [4. Т. 11. С. 115].

Сам же прием, использованный в разработке характера шкипера и так восхитивший Гете, Островский блистательно продемонстрировал в комедии «Волки и овцы»: образ Анфусы, неразвитой и убогой тетки купчихи Купавиной, изъяснявшейся только междометиями и фразами типа «что уж», «нет уж», «да уж» и т.д. в диалоге с болтливым и пустым Аполлоном Мурзавецким, служит созданию сатирического портрета русского пореформенного дворянства.

Интересна в этом плане одна из помет, сделанная в девятой главе («Язык») книги В. Гена. Вертикальной чертой на полях Островский выделяет рассуждения автора о «звуковой живописи»:

Особенно замечательный разряд новых слов образуется наконец <...> из междометий, посредством непосредственной звуковой живописи из слов кормилиц и детей, посредством лепечущей редупликации и т.д., след. из еще бесформенного в язычном отношении материала. Чем обработаннее язык, тем более стираются в нем следы этого явления; чем ограниченнее способность к языку у человека, тем чаще покидает его членораздельная речь и он прибегает к междометиям, довольно похожим на звуки животных, которые вовсе еще не могут говорить. В народной песне и у поэтов, поющих в смысле бедного, грубого народа, на каждом шагу натываешься на этот грубый способ выражения (напр. У Бюргера с его: hu! hu! и hurre, hurre, horp, horp, horp!), но и переполненная грудь истинного поэта, который отчаивается выразить свои радости и муки, конечно, облегчает себя восклицаниями: ах или увы! [З. С. 179].

Однако напротив утверждения: «Чем обработаннее язык, тем более стираются в нем следы этого явления; чем ограниченнее способность к языку у человека» – Островский на полях ставит знак «?», выражая тем самым несогласие, поскольку, как показывал опыт самого драматурга, современный язык художественной литературы обогащается формами, созданными и сохраненными в поэтической памяти народа.

За описанием театра Гольдони в книге Гете следует характеристика театра Гоцци.

Четвертую группу составляют пометы Островского, сделанные в книге В. Гена. Все они связаны с проблемами развития языка и культуры. Подчеркиваниями на полях и в тексте, как правило, Островский выделяет наиболее заинтересовавшие его наблюдения В. Гена над процессом взаимодействия языков и освоения «чужого» материала в системе одного языка.

А. Обогащение южно-романских языков арабским:

Если бы мы не знали наперед, каковы были светлые стороны арабского духа и жизни, и как в торговых городах арабов торговля, раскрыв ближний и дальний Восток, в то же время впервые дала сама себе прочную форму и организацию – мы отгадали бы это из южно-романских языков: *algebra*, *cifra*, француз. *chiffre* (цифра) <...> *tamarindo* (тамаринд, растение), *gelsomino*, француз. *jasmine* (жасмин), *zafferano* (шафран), <...> *tazza* (чашка), *giara* (сосуд о двух ручках), *alcohol*, *alkali*

(щелочь), *alchimia*, *alcova* (альков, углубление), *almanacco*, *talismano*, *carato*, *ribeba* (цитра, скрипка), *tamburino* (барабан), *liuto*, француз. *luth* (лютя), *taballo*, *ataballo*, *timballo* (маврский бубен), *gazzella*, *materazzo*, француз. *matelas* (матрац). <...> [З. С. 175].

В. Превращение собственных имен в нарицательные:

...особенно географических названий, действительных и вымышленных, в эпоху средних веков, и личных имен, в продолжении всей истории образования, обнимающей многие столетия. Так напр. <...> *cravat* (галстук) – от Стоате (кроат); *galoscia*, француз. *galoche* (калоша) – от *gallicus* (галльский башмак), подобно тому как испан. *galgo* (борзая собака) происходит от *canis*

gallicus (галльская собака); indaco (индиго) – от indicum (индейская синяя краска) <...> *lazzaroni* (бедняки в Неаполе), *lazzaretto* (лазарет), француз. *ladre* (прокаженный) и т.д. – от библейского лица Лазаря; француз. *marionette* (живая кукла), *marotte* (дурачество, конёк), оба – от *Marie, Marion*; *pantalone*, француз. *pantalon* – от итальянского комического лица, последнее – от *S. Pantaleon* <...> [3. С. 178].

С. Образование слов из междометий, получивших статус корней слов:

В романских языках, которые представляют обратно принятую в лоно природы латынь, выросло на такой народной почве не мало словесных корней, неизвестных классическому латинскому языку, корней, которые образовательный дух языка скоро сделал равными по происхождению с прочими. Для этого он брал каким-нибудь образом созвучное иностранное слово, вокруг которого природный звук, как растение вокруг жердочки, пускал вверх усики, принимал и давал ростки и ветви. Напр.: *but* – представлялся чувству непосредственно как выражение чего-нибудь короткого, толстого, тупого, выдающегося; а так как туда прибавился соблазн от древне-верхне-немец. *bōzzan, rōzzan* (бить, ударять; след. готск. *bautan*, сохранившееся еще в немецком *Amboss*, наковальня), то из этого начала возникло весьма разветвленное семейство слов: *buzza* (шишка), *buzzo, buzzone* (пузо, пузан), *buzzo* (подушка для булавок), *bozzo* (тесаный камень), *abbozzare* (обтесывать), *buttare* (пускать почки, распускаться), *botto* (толчок), *bottomone* (пуговка, почка), *botta* (жаба) и т.д. Совершенно близок к этому французский корень <...> *pic*¹, непосредственно подражающий звуку колотья, делания крапинок, отсюда возникли: *ricco* (клюв, вершина; напр. Пик Tenerифский), *piccare* (колоть), *piccolo* (маленький, подобный картинке), *la picca* (пика), *picchio* (толчок или удар; также и дятел зеленый), *piccaro* (нищий, бедняга; подобно немецкому *Spitzbube, Spitzerl* – плут) и т.д. [3. С. 179–180].

Внимание Островского к материалам главы («Язык») обусловлено творческой деятельностью драматурга, пониманием значимости языка как важнейшего способа характеристики персонажей. К этому следует добавить, что А.Н. Островский, прекрасно владевший европейскими языками, сделавший переводы драматических произведений с английского, французского, итальянского, испанского языков, придавал огромное значение жизни языковой стихии текста [11].

Таким образом, пометы А.Н. Островского на страницах «Путешествия в Италию» Гете и книги Виктора Гена «Италия. Взгляды и беглые заметки» указывают на сохраняющийся до конца творчества русского драматурга огромный интерес к Италии.

Внимание к книге Гете было обусловлено не только впечатлениями личного путешествия и знакомства Островского с Италией в 1862 г. и последовавшим за этим рядом переводов из итальянских драматургов, но и глубокой связью реалистической эстетики русского писателя с просветительскими идеями европейской культуры, получившими воплощение в творчестве Гете.

¹ Слово *pic* курсивом выделено В. Геном.

Высокая оценка Гете комедии Гольдони как театра, ориентированного на народное сознание и выражающего его ментальность, в творчестве русского драматурга имела смысл важнейшего художественного принципа – народности.

Судя по содержанию помет, образ Италии, сформированный в художественном сознании Островского, был близок гетевскому пониманию Италии и ее искусства как феномена культуры, давшего миру образец гармонического единства простоты, естественности и пластики с духовной, поэтической идеальностью.

Литература

1. Библиотека А.Н. Островского: (Описание). Л., 1963. 273 с.
2. Гете И.-В.. Путешествие в Италию / пер. З.А. Шидловская, Н.В. Гербель // Собрание сочинений Гете в переводах русских писателей: в 10 т / под ред. Н.В. Гербеля. Т. 7. СПб., 1879. 536 с.
3. Ген В. Италия: Взгляды и беглые заметки / пер. с нем. СПб., 1872. 200 с.
4. Островский А.Н. Полное собрание сочинений: в 16 т. М., 1949–1953.
5. Тураев С.В. Гете и формирование концепции мировой литературы. М., 1989. 270 с.
6. Жиликова Э.М., Корнильцева И.Б. Путешествие А.Н. Островского по Германии и Италии // Россия – Италия – Германия: литература путешествий. Томск, 2013. С. 40–53.
7. Неизданные письма к А.Н. Островскому. М.; Л.: Academia, 1932. 741 с.
8. Штейнер Рудольф. Мировоззрение Гете / пер. с нем. СПб., 2011. 191 с.
9. Герцен А.И. Письма об изучении природы. Письмо второе // Отечественные записки. 1845. Т. 39, Кн. 4. Отд. 2. С. 104–116.
10. Тэн И. Чтения об искусстве: 5 курсов лекций, читанных в Парижской школе изящных искусств / пер. А.Н. Чудинова. М., 1874. 372 с.
11. Корнильцева И.Б. Перевод как творческая лаборатория А.Н. Островского (на материале итальянских пьес) // А.Н. Островский – «рыцарь театра»: Актуальность творческого наследия А.Н. Островского на рубеже XX–XXI веков: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 190-летию со дня рождения А.Н. Островского, 3–4 апреля 2013 г. Москва / сост. Л.И. Постникова. М., 2014. С. 135–141. (Бахрушинская серия).

BOOKS OF I.-W. GOETHE AND VICTOR HEHN ABOUT ITALY IN A.N. OSTROVSKY'S READING CIRCLE (1870–1880S).

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 164–178.

DOI 10.17223/19986645/34/13

Zhilyakova Emma M., Budanova Irina B., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: emmaluk@yandex.ru / irinakorniltseva@mail.ru

Keywords: A.N. Ostrovsky, I.-W. Goethe, V. Hehn, C. Goldoni, Italy, theater, drama, aesthetics.

The article deals with marks of A.N. Ostrovsky in two books from his personal library stored in the Pushkin House: *A Journey to Italy* by I.-W. Goethe and *Italy. The Views and Cursory Notes* by German culture expert Victor Hehn.

A few marks in pencil in the margins and in the text of the works are extremely important for the understanding of Ostrovsky's aesthetics and creativity in the 1870–1880s: they complete the picture of the range of the writer's reading on theater and give concrete material for the understanding of the nature of the playwright's perception of problems relating to Italy.

Judging by the time of book publication, Ostrovsky's marks were made in the 1870–1880s: in V. Hehn's *Italy* no earlier than 1872, in *A Journey to Italy* no earlier than 1879; so the content of the marks is conclusive in relation to all Ostrovsky's works and life experience, including his perception of Italy. Ostrovsky had made his own trip to Italy (1862) by then; he had already translated some works by Goldoni, Gozzi, Ciconi, Franchi, Giacometti and others.

The marks are made in the form of a vertical line along the text in the margin, correction of letters and introduction of the question mark “?”, as well as underlining separate words and phrases. By their

content Ostrovsky's marks can be divided into four groups: 1) marks on style; 2) marks on questions of natural philosophy, aesthetics, psychology of creativity; 3) marks associated with the theater; 4) marks relating to issues of language history.

Analysis of the content of Goethe's and Hehn's reasoning on the problems of philosophy of nature, evaluation criteria of works of art, psychology of creativity that Ostrovsky marked and considered in the context of his aesthetic reflection reveals a deep connection of the realistic aesthetics of the Russian writer and the enlightening ideas of European culture embodied in the works of Goethe.

In his works, Ostrovsky interpreted Goethe's appraisal of Goldoni's comedy as a theater aimed at the national consciousness and expressing its mentality as possessing a sense of the most important artistic principle – national spirit.

A.N. Ostrovsky's marks in *A Journey to Italy* by Goethe and *Italy. The Views and Cursory Notes* by Hehn indicate Ostrovsky's continuing deep interest in Italy.

Judging by the content of the marks, the image of Italy, formed in the artistic consciousness of Ostrovsky, was close to Goethe's understanding of Italy and its art as a cultural phenomenon, which gave the world an example of a harmonious unity of simplicity, naturalness and plastics with the spiritual, poetic ideal.

References

1. Il'ina F.V. et al. *Biblioteka A.N. Ostrovskogo (Opisanie)* [A.N. Ostrovsky's Library (Description)]. Leningrad, 1963. 273 p.
2. Goethe I.-W. *Puteshestvie v Italiyu* [A Journey to Italy]. Translated from German by Z.A. Shidlovskaya and N.V. Gerbel'. In: Gerbel' N.V. (ed.) *Sobranie sochineniy Gete v perevodakh russkikh pisateley: V 10 t.* [Collected works of Goethe in translations of Russian writers: in 10 v.]. St. Petersburg, 1879. V. 7, 536 p.
3. Hehn V. *Italiya. Vzglyady i beglye zametki* [Italy. The Views and Cursory Notes]. Translated from German. St. Petersburg: Obshchestvennaya pol'za Publ., 1872. 200 p.
4. Ostrovsky A.N. *Polnoe sobranie sochineniy: V 16 t.* [Complete Works: in 16 v.]. Moscow, 1949–1953.
5. Turaev S.V. *Gete i formirovanie kontseptsii mirovoy literatury* [Goethe and the formation of the concept of world literature]. Moscow: Nauka Publ., 1989. 270 p.
6. Zhilyakova E.M., Kornil'tseva I.B. *Puteshestvie A.N. Ostrovskogo po Germanii i Italii* [A.N. Ostrovsky's journey in Germany and Italy]. In: Yanushkevich A.S. (ed.) *Rossiya – Italiya – Germaniya: literatura putestestviy* [Russia – Italy – Germany: travel literature]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2013, pp. 40–53.
7. Prygunov M. (ed.) *Neizdannye pis'ma k A.N. Ostrovskomu* [Unpublished letters to A.N. Ostrovsky]. Moscow – Leningrad: Academia Publ., 1932. 741 p.
8. Steiner R. *Mirovozzrenie Gete* [Goethe's World View]. Translated from German. St. Petersburg: Demetra Publ., 2011. 191 p.
9. Herzen A.I. *Pis'ma ob izuchenii prirody. Pis'mo vtoroe* [Letters on the Study of Nature. Letter Two]. *Otechestvennyye zapiski*, 1845, v. 39, book 4, pt. II, pp. 104–116.
10. Taine H. *Chteniya ob iskusstve. 5 kursov lektsiy, chitannykh v Parizhskoy shkole izyashchnykh iskusstv* [Reading about art. Five courses of lectures given at the Paris School of Fine Arts]. Translated from French by A.N. Chudinov. Moscow: izdanie K.T. Soldatenkova Publ., 1874. 372 p.
11. Kornil'tseva I.B. [Translation as a creative laboratory of A.N. Ostrovsky (based on the Italian plays)]. *A.N. Ostrovskiy – "rytsar' teatra". Aktual'nost' tvorcheskogo naslediya A. N. Ostrovskogo na rubezhe XX–XXI vekov. Sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 190-letiyu so dnya rozhdeniya A. N. Ostrovskogo* [A.N. Ostrovsky – “Knight of the Theater”. The relevance of the creative legacy of Alexander Ostrovsky at the turn of the 20th and 21st centuries. Proc. of the international scientific-practical conference devoted to the 190th anniversary of Alexander Ostrovsky]. Moscow: GTsTM im. A. A. Bakhrushina Publ., 2014, pp. 135–141. (In Russian).

УДК 801.73

DOI 10.17223/19986645/35/14

Е.Г. Новикова

ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕВОДА В ПРОГРАММЕ ДЕКОНСТРУКЦИИ ЖАКА ДЕРРИДА

В статье исследуется вопрос о роли и месте проблематики перевода в программе деконструкции Жака Деррида, и его изучение является целью данного исследования. Научная новизна исследования обусловлена тем, что философия перевода Ж. Деррида предельно редко становится предметом специального анализа. Показано, что в основе его размышлений о переводческой проблематике лежит библейский миф о вавилонском столпотворении; доказываемая, что суть позиции Ж. Деррида по отношению к проблематике перевода – стремление ценностно уравнивать оригинал и перевод (переводы).

Ключевые слова: теория перевода, философия XX в., Жак Деррида, Вальтер Беньямин, Роман Якобсон.

«Заманчиво и до некоторой степени оправданно видеть <...> перевод какой-то системы в процессе деконструкции», – пишет Жак Деррида в своем труде «Вокруг вавилонских башен» [1. С. 10], специально посвященном проблематике перевода. Суть этой работы философа (если не сказать «миссия») состоит в том, чтобы традиционным «<...> так называемым теоретическим проблемам перевода» [1. С. 25] принципиально противопоставить свою программу деконструкции, представить и осмыслить перевод как одно из ее закономерных направлений.

Ж. Деррида сегодня один из самых авторитетных мыслителей ушедшего XX в., чья программа деконструкции во многом определила основные направления мировой философской мысли второй половины столетия, задала важнейшие методологические установки и подходы в сфере современных гуманитарных наук. В частности, специальный интерес представляет вопрос о роли и месте проблематики перевода в программе деконструкции Деррида, и его изучение является целью данного исследования. Его научная новизна обусловлена тем, что философия перевода Ж. Деррида предельно редко становится предметом специального анализа [2].

В «Письме к японскому другу» французский философ прямо связывает свои идеи деконструкции с проблематикой перевода: «После нашей встречи я пообещал вам несколько своих соображений – схематичных и предварительных – относительно слова «деконструкция». В общем и целом речь шла о неких пролегоменах для возможного перевода этого слова на японский <...> Ведь если мы можем предвосхитить трудности перевода (а вопрос деконструкции от начала до конца есть также вопрос перевода и языка понятий, понятийного корпуса так называемой «западной» метафизики), не следовало бы начинать с предложения о том, что во французском слово «деконструкция» адекватно какому-то ясному и недвусмысленному значению, – это было бы

наивно. Уже в «моем» языке налицо темная проблема перевода оттого, что, в том или ином случае, может подразумеваться под этим словом <...> Более того, в немецкой, английской и прежде всего американской среде то же самое слово уже привязано к весьма различающимся аффективным или патетическим коннотациям, инфлексиям, значениям» [3. С. 53].

Действительно, сами переводы трудов французского ученого на другие языки постоянно сопровождаются интенсивной переводческой рефлексией. В.Е. Лапицкий объясняет это тем, что изначально «<...> все тексты Ж.Д. сознательно движутся *вокруг* очагов переводимости» [4. С. 19].

Принципиальна в этом смысле книга «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» [5], посвященная первому визиту философа в Россию. В ней содержится целый ряд материалов, связанных с именем Ж. Деррида, и открывается она его новым трудом «Back from Moscow, in the USSR» [5. С. 13–81]. В «Предисловии» к нему Михаил Рыклин, выступивший здесь в качестве переводчика, пишет: «Эта небольшая книга создает прецедент: впервые оригинал текста такого крупного современного философа, как Жак Деррида, выходит в свет на русском языке. Бывали случаи первой публикации его книг на английском, итальянском и других европейских языках, но с русским такое случается впервые. Есть и еще одно отличие: если за предыдущими публикациями работ Деррида на иностранных языках следовала публикация оригинала, то в данном случае сам перевод будет функционировать как оригинал, на месте, вместо оригинала. Жак Деррида многое сделал для разоблачения таких мифологем, как «оригинальное», «изначальное», «аутентичное», «порядок присутствия», привилегия логоса как голоса, как того, что предшествует письму. И вот оригинал его текста несводимо приобретает форму перевода» [5. С. 7].

Итак, проблематика перевода в собственном творчестве Ж. Деррида предстает как необычный жест предложения перевода «Back from Moscow, in the USSR», сделанного М. Рыклиным, в качестве оригинала (с демонстративным сохранением названия на английском, впрочем, именно на английском, а не на родном французском языке философа). Этот авторский жест Деррида определяется такой принципиальной исходной установкой его философской программы, как деконструкция логоцентризма, т.е., говоря словами М. Рыклина, стремлением «разоблачить мифологему» «привилегии логоса как голоса как того, что предшествует письму».

Формирование программы деконструкции Ж. Деррида изначально было связано с введением в мировую научную мысль оппозиции «phoné» – «grammé», «устная речь» – «письмо». Эта оппозиция была актуализирована и осмыслена им как противопоставление разных культурных позиций, традиционного для современной западной цивилизации «логоцентризма» и формируемой им самим программы «деконструкции». Как разъясняет сам философ, «логоцентризм – это европейское, западное мыслительное образование, связанное с метафизикой, наукой, языков и зависящее от логоса. Это – генеалогия логоса» [5. С. 171]. Основой логоцентризма, по мысли Ж. Деррида, является Логос как Устное Слово, Голос, звучащий здесь и сейчас и претендующий на то, чтобы быть Центром: «Это не только способ помещения логоса <...> в *центре* всего, но и способ определения самого логоса в качестве

центрирующей, собирающей силы» [5. С. 171]. При этом Ж. Деррида подчеркивает: «Центр не является центром», потому что «вся история <...> может быть представлена как ряд субституций одного центра другим <...> Центр получал различные формы и названия» (цит по: [6. С. 20]). Деконструкция Ж. Деррида – это, в конце концов, борьба с категорией Логоса как Центра, именно поэтому он противопоставил «phoné» – «grammé», «письмо», текст как письменный текст. «Письмо таило особую угрозу как философский принцип, поскольку сама возможность отчуждения, размножения идентичных дубликатов в отсутствие первоисточника полностью противостояла <...> системе иерархических эйдосов» [6. С. 38], – подчеркивает И.П. Ильин.

Вот, собственно, та изначальная позиция Ж. Деррида, основываясь на которой он и обращается к проблематике перевода. В его восприятии и интерпретации традиционная для критикуемой им «классической» теории перевода оппозиция «оригинал» – «перевод» – это типичное проявление «логоцентризма», где «оригинал» претендует на то, чтобы быть Центром, а «перевод» всегда только периферия. Понятие «оригинала» с присущими ему качествами первичности, «оригинальности», «изначальности», «аутентичности» соотносено здесь с «голосом», тогда как перевод – с «вторичным» относительно голоса «письмом». Но для Ж. Деррида особо ценными оказываются именно перевод и возможная множественность переводов – в этом он видит проявление бесконечных возможностей и продуктивности «письма».

Как указывает Н. Автономова, «часто под деконструкцией понимается такое обращение с бинарными конструкциями любого типа <...> при котором оппозиция разбирается, угнетаемый ее член выравнивается в силе с господствующим, а потом и сама оппозиция переносится на такой уровень рассмотрения проблемы, с которого видна уже не оппозиция, но скорее сама ее возможность» [7. С. 19]. Именно это и было сделано по отношению к оригиналу/переводу «Back from Moscow, in the USSR». Узаконив русский перевод «Back from Moscow, in the USSR» как оригинал, Ж. Деррида в оппозиции оригинал / перевод «выровнял по силе» обычно угнетаемый член оппозиции «оригинал» – «перевод» с обычно господствующим ее членом – оригиналом, перенес тем самым саму проблематику перевода «на другой уровень рассмотрения».

Так осмысление перевода стало одним из направлений общей программы деконструкции французского философа. Перевод, по Ж. Деррида, сущностно деконструктивен. Однако что это означает для него самого?

Проблематика перевода вновь актуализируется в еще одном блоке материалов книги «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» – в беседе с Ж. Деррида на тему «Философия и литература» [5. С. 151–186], в которой приняли участие известные российские философы и интерпретаторы Ж. Деррида Валерий Подорога, Наталья Автономова, Михаил Рыклин. В беседе данная проблематика разворачивается в двух направлениях: это вопрос о художественном переводе (о переводе стихотворений) и вопрос о переводимости / непереводимости идиом.

В частности, обсуждался эксперимент Дугласа Хофштадтера, который разослал своим друзьям во многие страны одно стихотворение Клемана Маро для того, чтобы получить как можно больше вариантов его перевода и на

этом большом и разнообразном материале исследовать возможности и границы художественного перевода. В связи с этим Н. Автономова задает следующий вопрос: «Мы всегда сталкиваемся с тем, что доступно переводу на один язык и никак не переводится на другой. Как с этим справиться? Снова невозможная задача...» [5. С. 161–162]. Ответ Ж. Деррида: «Но в то же время эта невозможная задача и есть то, с чем мы сталкиваемся на каждом шагу. Всякий раз терпим неудачу и всякий раз все-таки преуспеваем. Вот перевод – но перевод невозможен. Всегда есть что-то переведенное – переведенное изнутри стихотворения: речь идет не столько о той форме, которую мы называем переводом, сколько о том, что опыт перевода есть наипервейший опыт самого поэта. Он переживает опыт перевода и одновременно – сопротивление ему» [5. С. 162].

Здесь французский философ квалифицирует перевод не просто как один из типов означающего, но как некую метафору любого знака вообще. Для него порождение любого произведения, любого знака – это всегда своего рода «перевод»: «Всегда есть что-то переведенное – переведенное изнутри стихотворения: речь идет <...> о том, что опыт перевода есть наипервейший опыт самого поэта». «Переводом» Ж. Деррида называет самый акт создания художественного произведения, и именно и только это и позволяет осуществлять другие его переводы – переводы уже в собственном смысле слова: «Всегда есть что-то переведенное».

Более того. По мысли Ж. Деррида, «когда русский или французский поэт пишет стихотворение, он уже скрепляет печатью или подписью нечто, требующее перевода, желающее пересечь границу. Поэтому изъясняться на своем языке не значит заслоняться от перевода, не значит препятствовать ему. Напротив, это значит требовать перевода, взывать о переводе» [5. С. 161]. «Перевод» предстает у Деррида еще и метафорой понимания.

Проблематика понимания развивается и на материале обсуждения переводимости / непереводимости идиоматических выражений. Еще один вопрос Н. Автомоновой: «И как <...> соотносится: своеобразное – с универсальным, детали и частности – с желанием быть понятым, услышанным? Вчера в лекции этот вопрос фактически формулировался Вами так: можем ли мы примирить, согласовать «идиоматическое» и «рациональное»? Возможен ли вообще выбор между тем и другим? В самом деле, вот мы сталкиваемся, на одном полюсе, с массой особенностей – национальных, культурных и др. <...> На другом же полюсе – с глубоко ощущаемой каждым человеком потребностью обобщения, понимания» [5. С. 158].

Отвечая на него, Ж. Деррида, прежде всего, уточняет тот контекст, в котором он обратился к вопросу об идиоме в своей лекции: «<...> я бы подчеркнул, что невысказанное <...> или неведомые возможности языка, упоминавшиеся вчера во время лекции, не есть просто нечто находящееся вне языка, оторванное от идиомы. Невысказанное <...> тесно связано с высказываемым, это не просто нечто нейтральное, это не пустота, не что-то негативное» [5. С. 158–159]. Как видим, у Ж. Деррида вопрос об идиоме поворачивается иной стороной: его интересует не столько ситуация понимания, сколько ситуация высказывания, не позиция адресата, а позиция адресанта прежде всего.

При этом философ вновь использует деконструктивный принцип выравнивания членов оппозиции, в данном случае оппозиции «высказываемое» / «невывказанное» в идиоме: «Невыказанное <...> тесно связано с высказываемым, это не просто нечто нейтральное, это не пустота, не что-то негативное. Невыказанное детерминировано, оно детерминируется самой своей связью с тем, что <...> высказывается или репрессируется, однако не обязательно репрессируется, даже если невыказанное располагается глубже, чем психологическое вытеснение и полицейское подавление: невыказанное не есть все, что угодно, это не просто не-язык, не просто нечто чуждое тому, что высказывается или пишется. А раз так – вы должны, точнее, мы должны артикулировать это детерминированное невыказанное через то, что говорится или уже сказано <...> Таким образом, проблема в том, как примирить ценность идиомы, которая в известной степени непереводаима (ведь нет ничего абсолютно непереводаемого, как нет ничего абсолютно переводаемого), словом, как примирить непереводаемое и перевод, как примирить идиоматический язык со всеобщим разумом <...> Конечно, это очень трудная, почти невозможная задача, и в качестве таковой я бы определил ее следующим образом: сохранять идиому и сохранять перевод, сохранять прозрачность перевода» [5. С. 159–160]. Выравнивание членов оппозиции «высказываемое» / «невывказанное» в идиоме Ж. Деррида осуществляет за счет выявления их неразрывной связи между собой, подчеркивая, прежде всего, то, что «невывказанное» всегда детерминировано «высказываемым». На этой основе он получает возможность и право выравнивания таких оппозиций, как «переводимое» / «непереводаемое», «идиоматический язык» / «всеобщий разум»: «сохранять идиому и сохранять перевод, сохранять прозрачность перевода».

Как уже было упомянуто выше, ключевая работа Ж. Деррида о проблематике перевода – «Des tours de Babel» (1985), «Вокруг вавилонских башен» [1. С. 7–77]. Вот что здесь он пишет о Вавилоне: «Если присмотреться <...> к рассказу или мифу о Вавилонской башне, он не просто образует какую-то фигуру среди прочих. Говоря по меньшей мере о неадекватности одного языка другому, одного места в энциклопедии другому, языка самому себе и смыслу и т.п., он вместе с тем говорит о необходимости фигуральности, мифа, тропов, оборотов, неадекватного перевода <...>» [1. С. 9].

Текст, который в сознании Ж. Деррида теснейшим образом связан с проблематикой перевода, – это библейская история о вавилонском столпотворении, исходный европейский миф о возникновении разных языков: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там <...> И сказали они: построим себе город и башню, высотой до небес <...> И сошел Господь посмотреть город и башню <...> И сказал Господь: вот, один народ и один у всех язык <...> сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город (и башню). Посему дано имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт. 11, 1–9).

«Вокруг вавилонских башен» разворачивается как диалог с двумя мыслителями – это Роман Якобсон и Вальтер Беньямин. Ж. Деррида работает здесь с такими их классическими трудами по переводческой проблематике, как

«О лингвистических аспектах перевода» Р. Якобсона [8] и «Задача переводчика» В. Беньямина (цит. по: [1. Приложение]).

Р. Якобсон выступает у Ж. Деррида как представитель той «классической» теории перевода, которую он стремится деконструировать. Казалось бы, сочувственно воспроизводя известную классификацию Р. Якобсона о трех типах перевода, внутриязыковом, межъязыковом и межсемиотическом, Ж. Деррида сосредотачивается на определении, данном ученым межъязыковому переводу, как «перевод собственно говоря», «собственно перевод» [1. С. 22–23]. Эта формулировка Р. Якобсона, по мысли Ж. Деррида, указывает на «<...> возможную проблематичность этой успокоительной триадизации» [1. С. 24]: «<...> когда речь заходит о переводе «собственно говоря», другие употребления слова «перевод» оказываются в ситуации внутриязыкового и неадекватного перевода, как метафоры, в общем-то, обороты или повороты перевода в собственном смысле. Словно бы, стало быть, имеется перевод в собственном смысле и перевод в смысле переносном. И чтобы перевести один в другой – внутри одного и того же языка или с одного языка на другой, в смысле переносном или собственном смысле, – вступаешь на путь, который скоро обнаруживает возможную проблематичность этой успокоительной триадизации» [1. С. 23–24]. Квалификация одного из типов переводов как «перевода собственно говоря», по мысли Ж. Деррида, не только отменяет предложенную Р. Якобсоном систему и иерархию, но разрушает переводческую позицию в целом, истинную установку на перевод; здесь же у французского философа появляется такое определение, как «лингвистический империализм» [1. С. 24]. Обращение Ж. Деррида к работе Р. Якобсона «О лингвистических аспектах перевода» заканчивается следующим образом: «Но никакому теоретизированию <...> не возвыситься над вавилонским действием» [1. С. 25].

В свою очередь, изначальная близость позиций Ж. Деррида и В. Беньямина – в том, что последний также не приемлет «<...> традиционной теории перевода» (цит. по: [1. Приложение. С. 93]) и его работа также во многом направлена против нее. Анализируя его «Задачу переводчика», Ж. Деррида сосредотачивается, прежде всего, на названии: какова задача переводчика? Подход В. Беньямина к переводу осуществляется через фигуру и позицию переводчика, он размышляет о той самой установке на перевод и его необходимость, о той самой истинной переводческой позиции, отсутствие которой Ж. Деррида выявил в предыдущем исследовании. В качестве ответа на этот вопрос он приводит следующее описание переводческой деятельности, принадлежащее В. Беньямину: «<...> перевод вместо того, чтобы уподобляться по смыслу оригиналу, должен, скорее, в движении любви и вплоть до деталей провести в свой собственный язык, как и во что целил оригинал: таким образом <...> оригинал и переводы становятся опознаваемыми как фрагменты некоего большего языка» [1. С. 50–51]. «Последуем же за этим движением любви, за жестом того любящего (liebend), который работает в переводе», – восклицает вслед за ним Ж. Деррида [1. С. 51]. Задача переводчика – любить. «Такова, по крайней мере, моя интерпретация – мой перевод, моя «задача переводчика», – продолжает Ж. Деррида далее. – Это-то я и назвал договором

перевода: гимен или договор о супружестве с обещанием произвести ребенка» [1. С. 52–53].

Очевидно, что подход к «задаче переводчика» как к акту любви и «договору о супружестве» изначально ценностно уравнивает оригинал и его перевод (переводы). У В. Беньямина они становятся равнозначными «фрагментами» общей жизни произведения как «некоего большего языка». Эта общая жизнь произведения в оригинале и в переводах – одна из важнейших идей немецкого мыслителя, он называет переводы «особой, высокой формой жизни» оригинала (цит. по: [1. Приложение. С. 92]): «Переводы, являющие собой нечто большее, чем передачу содержания, возникают на свет именно тогда, когда пережившее свое время произведение достигает периода славы <...> Жизнь оригинала каждый раз достигает в них еще более полного расцвета» (цит. по: [1. Приложение. С. 92]). Переводы – это расцвет оригинала, и произведение воспринимается В. Беньямином как их историко-культурное единство.

Эту мысль также подхватывает и по-своему развивает Ж. Деррида: «Беньямин <...> говорит, в переводе оригинал увеличивается, он скорее растет, чем себя воспроизводит, и я добавлю: как дитя <...>» [1. С. 53]. «Оригинал – первый должник, – пишет Ж. Деррида также, – первый проситель, он начинает с нехватки и вымаливания перевода. Просьба эта не только со стороны строителей башни <...> дав свое имя, Бог тем самым воззвал к переводу» [1. С. 41].

Так проблематика перевода в размышлениях Ж. Деррида возводится в конечном счете к Божественной инстанции. Думается, проблематика Бога, активно присутствующая во всех размышлениях философа, является некоей высшей точкой, в которой логоцентризм и программа деконструкции сливаются воедино.

В «О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только» [9] волнуемый философа вавилонский миф разворачивается в размышления о судьбе имени самого Бога после произведенного им смешения – и это именно проблематика перевода: «<...> по сути неразрешимая проблема перевода (имя собственное принадлежит и не принадлежит к языку)» [9. С. 389]. В связи с этим философ задается вопросом о принципиальной непереводаемости любого имени собственного и квалифицирует данную ситуацию как «double bind»: «Своим деконструктивным жестом YHWH одновременно требует и запрещает, чтобы его имя собственное было понято в языке, предписывает и перечеркивает перевод, обрекает на перевод – невозможный и необходимый. И если эта double bind захватывает прежде всего YHWH, если каждый раз, когда эта double bind имеется в структуре имени собственного, имеется и «Бог», имя Бога <...>» [9. С. 389]. «Double bind» в современной философской мысли – это, в более специальном смысле, «специфическая структура, где информация текста противоположна информации, которая предполагается из контекста» [10. С. 31], а в смысле более широком – структура, организованная неразрешимым конфликтом заложенной в ней информации. Деррида, в сущности, утверждает, что любой перевод – «невозможный и необходимый», «double bind».

В работе «Вокруг вавилонских башен» Ж. Деррида размышляет о том, что когда Бог дает земным людям свое имя, он тем самым определяет – дает высшую санкцию – на перевод: «Именно начиная с имени собственного Бога, исходящего от Бога или от отца (ясно сказано, что ЯХВЕ, имя непроемное, на башню *сходит*) и им помеченного, и рассеиваются, смешиваются или преумножаются языки» [1. С. 17]. Так разворачивается проблематика Бога – Логоса, смешавшего языки земных людей: «Давая свое имя, давая все имена, отец стоит у истока языка <...> и власть эта по праву принадлежит Богу-отцу <...> Но это также и тот Бог, который, движимый гневом <...> аннулирует дар языков или, по меньшей мере, запутывает и замутняет его, сеет смешение среди своих сыновей и отравляет этот подарок» [1. С. 12]. Вот почему в названии статьи – не одна башня, как это было в библейском мифе, но «башни», не изначальный Логос, но множество земных языков – следовательно, и множество переводов. Поэтому закономерно, что тема Бога как высшей инстанции перевода переходит в «Вокруг вавилонских башен» в вопрос о переводе сакральных текстов, Священного Писания: «Это – самая вавилонская нота в анализе Святого Писания как модели и предела любого письма, во всяком случае – любого *Dichtung*’а в его бытии-для-перевода. Священное и бытие-для-перевода не дают помыслить себя одно без другого. Они производят друг друга на краю одного и того же предела» [1. С. 53]. И завершает свою работу о переводе Ж. Деррида цитатой из Мориса де Гандильяка: «Ибо в какой-то степени все великие писания, но в наивысшей – Св. Писание, содержат в себе между строк свой виртуальный перевод. Внутрострочная версия священного текста – вот образец и идеал для любого перевода» [1. С. 77]. Этими словами представляется уместным закончить и данное исследование проблематики перевода в программе деконструкции Ж. Деррида.

Литература

1. Деррида Жак. Вокруг вавилонских башен / пер. с фр. и коммент. В.Е. Лапицкого. СПб.: Академ. проект, 2002. 111 с.
2. Нестерова Н.М. Наука о переводе: Герменевтика vs деконструктивизм // Филологические науки, 2006. С. 235–238.
3. Деррида Жак. Письмо к японскому другу (пер. А. Гараджи) // Вопр. философии. 1992. № 4. С. 53–57.
4. Лапицкий В.Е. Вместо напутствия // Ухобиографии: Учение Ницше и политика имени собственного / пер. с фр., предисл. и коммент. В.Е. Лапицкого. СПб.: Академ. проект, 2002. С. 6–22.
5. Жак Деррида. В Москве: деконструкция путешествия. М., 1993. 199 с.
6. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 253 с.
7. Автономова Н. Деррида и грамматология // Деррида Жак. О грамматологии. М., 2000. 511 с.
8. Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 361–368.
9. Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только / пер. с фр. Г.А. Михалкович. Минск: Современный литератор, 1999. 832 с. (Классическая философская мысль).
10. Мурашов Ю. Восстание голоса против письма: О диалогизме Бахтина // Новое лит. обозрение. 1995. № 16. С. 31–35.

TRANSLATION ISSUES IN JACQUES DERRIDA'S DECONSTRUCTION PROGRAM

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 179–188.

DOI 10.17223/19986645/35/14

Novikova Elena G., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: elennov@mail.ru

Keywords: translation theory, philosophy of 20th century, Jacques Derrida, Walter Benjamin, Roman Jakobson.

One of the most authoritative thinkers of the past 20th century nowadays is Jacques Derrida, whose program of deconstruction both largely determined the main directions of the world philosophical thought in the second half of the century and set major methodological attitudes and approaches in the field of contemporary humanities. In particular, the question of the translation issues role and place in Derrida's deconstruction program is of special interest and its investigation is the aim of this research. Its scientific novelty is determined by the fact that Derrida's translation philosophy extremely rarely acts as a special analysis subject.

In his *Letter to a Japanese Friend* the French philosopher directly links his ideas of deconstruction to the translation issues. Hence an intense translation reflection constantly accompanies the very translated versions of the French scientist's works into other languages. The book *Jacques Derrida in Moscow: The Deconstruction of a Travel* dedicated to the first visit of the philosopher to Russia is fundamental in this sense. It offers translation issues of Derrida's own works as an unusual gesture of representing the translated version of his new work *Back from Moscow, in the USSR* made by M. Ryklin as an original one (with a demonstrative English title). This author's gesture of Derrida is determined by principles of his philosophical program of logocentrism deconstruction.

His translation conception is focused on the deconstruction of the traditional translation theory bases. Particularly, he considers its traditional "original text – translated version" opposition to be a typical "logocentrism" manifestation, which pretends to claim the "original one" to be the "center" and the "translation" to be nothing more than a periphery. But Derrida especially appreciates the translation and the possible translation multiplicity since he regards it as a manifestation of infinite possibilities and productivity of "writing".

His reflections on translation issues are based on the biblical myth of the Babeldom, which he appeals to in a number of his works. Thus in his work *The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond* the philosopher dwells on the Babylon myth in the reflections on the fate of the name of God Himself after the confusion, which is exactly translation issues.

Des tours de Babel (1985), or *Around the Towers of Babel* is the key Derrida's work on translation issues. The work is arranged as a dialogue with both R. Jakobson's article "On Linguistic Aspects of Translation" and W. Benjamin's essay "The Task of a Translator". Derrida represents Jacobson as a representative of the "classical" translation theory, which Derrida seeks to deconstruct. The initial closeness of Derrida's and Benjamin's positions is that the latter also rejects the traditional translation theory. He estimates the values of an original text and its translation(s) as equal and believes translations to be the zenith of an original text, interpreting both the original and translations in their historical and cultural unity.

Partly borrowing these Benjamin's propositions, Derrida raises translation issues to a new level and interprets them in the light of the Babylon issue of God who confused the languages of the earthly people. Derrida's *Around the Towers of Babel* turns the issue of God as a supreme translation authority into the question of the Scripture sacred texts translation. As M. de Gandillac did earlier, Derrida asserts: "The intralinear version of the sacred text would be the model or ideal of any possible translation in general".

References

1. Derrida J. *Vokrug vavilonskikh bashen* [Around the Towers of Babel]. Translated from French by V. E. Lapitskiy. St. Petersburg: Akademicheskiiy proekt Publ., 2002. 111 p.
2. Nesterova N.M. Nauka Publ. o perevode: Germenevtika vs dekonstruktivizm [Translation studies: Hermeneutics vs. deconstruction]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*, 2006, no. 291, pp. 235–238.
3. Derrida J. Pis'mo k yaponskomu drugu (per. Alekseya Garadzhi) [Letter to a Japanese Friend (transl. by A. Garadzha)]. *Voprosy filosofii*, 1992, no. 4, pp. 53–57.
4. Lapitskiy V.E. *Vmesto napustviya* [Instead of parting words]. In: Derrida J. *Ukhobiografii: Uchenie Nitsshe i politika imeni sobstvennogo* [Otobiographies: The teaching of Nietzsche and the

politics of the proper name]. Translated from French by V. E. Lapitskiy. St. Petersburg: Akademicheskiiy proekt Publ., 2002, pp. 6-22.

5. Petrovskaya E.V., Ivanov A.T. (eds.) *Zhak Derrida v Moskve: dekonstruktsiya puteshestviya* [Jacques Derrida in Moscow: the deconstruction of a journey]. Moscow: Kul'tura Publ., 1993. 199 p.

6. Il'in I.P. *Poststrukturalizm. Dekonstruktivizm. Postmodernizm* [Poststructuralism. Deconstruction. Postmodernism]. Moscow: Intrada Publ., 1996. 253 p.

7. Avtonomova N. *Derrida i grammatologiya* [Derrida and grammarology]. In: Derrida J. *O grammatologii* [Grammarology]. Translated from French by N. Avtonomova. Moscow: Ad Marginem Publ., 2000, pp. 7-110.

8. Jakobson R. *Izbrannye raboty* [Selected works]. Moscow: Progress Publ., 1985, pp. 361-368.

9. Derrida J. *O pochtovoy otkrytke ot Sokrata do Freyda i ne tol'ko* [The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond]. Translated from French by G. A. Mikhalkovich. Minsk: Sovremennyy literator Publ., 1999. 832 p.

10. Murashov Yu. *Vosstanie golosa protiv pis'ma: O dialogizme Bakhtina* [Rebellion of voice against writing: On Bakhtin's dialogism]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 1995, no. 16, pp. 31-35.

УДК 821.161.1

DOI 10.17223/19986645/35/15

А.С. Янушкевич

ФЕНОМЕН КАЛОКАГАТИИ В РУССКОЙ СЛОВЕСНОЙ КУЛЬТУРЕ 1790–1830-х гг. Статья 1

Проблема национального своеобразия русской литературы неразрывно связана с историей такого понятия, как калокагатия. Возникшее еще во времена Античности, оно выявило в человеческом сознании синтез нравственного и прекрасного, этического и эстетического. В предлагаемой статье предпринята попытка осмыслить процесс формирования этого явления в русской культуре 1790–1830-х гг., наметить этапы взаимодействия антропологических, онтологических и эстетических составных феномена калокагатии. Моралистика поздних русских масонов в лице И.В. Лопухина, открытия Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского, путь к пушкинской поэзии определили фактическую основу исследования и предопределили его перспективы в последующих статьях.

Ключевые слова: калокагатия, духовное рыцарство, антропология, эстетические манифесты Жуковского, Гений чистой красоты, Пушкин.

В своей «Нобелевской лекции» (1987) Иосиф Бродский сказал: «Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эстетика – мать этики; понятия «хорошо» и «плохо» – понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории «добра» и «зла». В этике не «всё позволено» именно потому, что в эстетике не «всё позволено», потому что количество цветов в спектре ограничено...» [1. С. 454].

Почти за 180 лет до этой речи В.А. Жуковский написал статью «О нравственной пользе поэзии» (1809), где, настойчиво подчеркивая свободу поэтического таланта, особые законы стихотворного дарования, решительно заявил о неразрывной связи стихотворца-артиста и стихотворца-человека. «Искусство стихотворное, – пишет он, – дает понятие стихотворцу о том, что должен он делать как артист; но стихотворец именно потому, что он стихотворец, ужели не имеет никаких других обязанностей, перестает ли быть человеком, почитателем Бога, членом общества, сыном отечества? А будучи ими, ужели не имеет других важнейших обязанностей, всегда неразлучных с обязанностями поэта? Может ли он сказать самому себе: уничтожу все прежние отношения и буду единственно стихотворцем? А если не может он уничтожить сих отношений, то может ли пренебречь и должности, необходимо соединенные с ними? И какой читатель захочет предположить в нем сей произвольный разрыв с самим собою? Но всякий читатель, будучи критиком *стихотворца*, есть в то же время и судия *человека*; и горе поэту, если одобрение судии не будет для него столь же важно, как и одобрение критика!» [2. Т. 12. С. 201].

Два этих суждения великих русских поэтов выявляют актуальность для русской словесной культуры того явления, которое еще во времена Античности получило название калокагатия. Анализируя историю этого понятия, генетически связанного с античной эстетикой и шире – с философией, выявляя

его рецептивные модели в русской переводческой культуре, А.Ф. Лосев констатировал: «Поскольку значительное количество текстов с “калокагатией” не содержит ясно выраженной антитезы и гармонии внутреннего и внешнего, правильнее будет исходить из однозначности этого термина, не отделяя в нем “прекрасное” от “хорошего” и не анализируя этих моментов порознь» [3. Кн. 2. С. 389].

Очевидно, что мысль о единстве добра и красоты, пройдя через столетия, обретала новые интерпретационные смыслы и национальную специфику, но в истории каждой культуры были периоды, когда происходила актуализация калокагатийных смыслов и их прочтение в системе общественно-политических, этико-философских, эстетических понятий.

Одной из таких эпох своеобразного калокагатийного бума в русской культуре стал рубеж XVIII–XIX вв. Общественные потрясения и этико-философские поиски рождали сдвиги в эстетическом сознании и в словесной культуре. Просветительские идеалы и нормативная поэтика уже не могли в полной мере отразить веяния времени. То, что позднее первый русский романтик В.А. Жуковский определит как возвышение и распространение души, опиралось на идеи сенсуализма и позицию героя-энтузиаста. Сочинения английских сенсуалистов, прежде всего Шефтсбери, Хатчесона, Смита, труды представителей немецкой моральной философии (Геллерт, Энгель, Гарве), шиллеризм и споры о руссоизме – всё это, как убедительно показала Н.Д. Кочеткова, способствовало «видоизменению просветительской программы образования и воспитания», «отказу от утилитарного подхода к литературе» [4. С. 138, 139]. Эта европейская составная новой калокагатии органично вошла в этико-философскую и эстетическую систему русского сентиментализма. Но одновременно русское художественное сознание в поисках национального своеобразия калокагатии настойчиво выявляло ее антропологическое содержание.

Два произведения переходной эпохи рубежа веков: трактат И.В. Лопухина «Духовный рыцарь» (1791) и роман Н.М. Карамзина «Рыцарь нашего времени» (1802–1803) отчетливо обозначили поиск концепции героя своего времени. И.В. Лопухин по праву стал ведущим «теоретиком и публицистом русского масонства» [5. Т. 1. С. 254]. Его трактат – первый в русском общественно-культурном сознании опыт воспитания «внутреннего человека». «Надобно человеку морально переродиться» – так автор формулировал свою установку [6. С. 15–16]. А в трактате «Некоторые черты о внутренней церкви...» (1798) сам эпитет «внутренний» обретает глубоко мировоззренческий смысл. «Обновление *внутреннего* человека», «средство к внутреннему истинному Христианству», «в глубине *внутреннейшего* его живущая сила Божия зачнет в нем возрождение...», «исполнить собою всего *внутреннего* человека», «находясь на *внутреннем* пути», «*внутреннейшие* побуждения сердца» [7. С. 11, 14, 25–26, 32, 42] (курсив мой. – А.Я.) – эти и многие другие словесные формулы Лопухина наполняются практическими рекомендациями о «главных средствах на пути к божественной жизни», о воспитании духовного рыцаря.

«Духовное рыцарство» и «внутренняя церковь» Лопухина способствовали «разрыхлению русской души», но сами нравоучительные догматы затруд-

няли ее освобождение от классицистической нормативности, рационализма и предрассудков. Массонская программа самоусовершенствования, опиравшаяся на идеи Франклина, была близка молодому поколению своим общим пафосом, но ему оказался чужд рационализм и определенный утилитаризм установок поздних масонов. В своем романе с открытым финалом (или незавершенном) «Рыцарь нашего времени» Карамзин, уже испытывавший разочарование в масонской идеологии (подробнее см.: [8]) и вступивший в диалог с ней [9. С. 176–196], идею духовного рыцарства пытается превратить в «романическую историю одного моего приятеля» в «быль» [10. Т. 1. С. 755, 761]. Эта установка способствовала развитию «концепции живой свободной личности, своеобразного духовного протезизма» [11. С. 161]. Новый герой как «внутренний человек» и «духовный рыцарь» становится объектом художественной рефлексии. В его жизненной философии открывается перспектива формирования антропологической универсалии «положительно прекрасного человека» (подробнее см.: [12. С. 322–336]) и героя нашего времени.

Далеко не случайно в контексте карамзинского романа появление имени еще одного знаменитого рыцаря – рыцаря Печального образа. Характеризуя нравственный облик своего персонажа, автор замечает: «Герой наш мысленно летел во мраке ночи на крик путешественника, умерщвляемого разбойниками, или брал штурмом высокую башню, где страдал в цепях друг его. Такое донкишотство воображения заранее определяло нравственный характер Леоновой жизни» [10. Т. 1. С. 772].

Об усилившемся интересе Карамзина к герою романа Сервантеса в 1790-е гг. подробно говорили Ю.М. Лотман [8. С. 309–311] и В.Е. Багно [13. С. 295]. Действительно, карамзинский «рыцарь нашего времени» через сравнение с сумасбродом и чудачком лишается ореола идеологического доктринерства и обретает новые черты личностного героизма. В 1793 г. Карамзин писал И.И. Дмитриеву: «Назови меня Дон-Кихотом, но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею так страстно, как я люблю – человечество!» [14. С. 42]. Герой карамзинского романа ретроспективно обретал эти свойства.

Но эти свойства с легкой руки Карамзина обретала и новая русская литература. 1802–1803 гг., время работы над «Рыцарем нашего времени», – период интенсивного общения Карамзина и молодого Жуковского. Именно в 1803 г., когда после публикации третьей части своего романа в «Вестнике Европы» Карамзин резюмирует: «Продолжения не было», двадцатилетний Жуковский принимается за перевод флориановской переделки «Дон Кихота», а в 1804–1806 гг. были изданы все шесть томов этого перевода. Как убедительно показал В.Е. Багно, в переводе Жуковского роман Сервантеса «не был воспринят как пародия», «пафос монологов Дон Кихота <...> воспринимается Жуковским не только серьезно, но и с восторгом и воодушевлением», «образ Дон Кихота <...> сыграл не последнюю роль в выработке концепции энтузиазма» [13. С. 303, 304, 310]. И самое главное, перевод Жуковского отразил тенденции русской культуры начала XIX в. Как точно заметил Ю.М. Лотман: «Основное культурное творчество этой эпохи проявилось в создании человеческого типа. Культурный человек России начала XIX в. – одно из самых замечательных и интересных явлений русской истории» [15. С. 10].

Русская словесная культура переходной эпохи последовательно формирует антропологические аспекты калокагатийной эстетики. Идея совершенного человека, духовного рыцаря как «внутреннего человека» оказывается в центре не только этико-философских, но и художественных поисков русской словесной культуры.

В атмосфере появления рыцарского дискурса и актуализации антропологического содержания русской калокагатии «Коломб русского романтизма в поэзии» (В.Г. Белинский) создает в течение 1798–1801 гг. своеобразный поэтический цикл. Он пытается насытить русскую лирику понятиями и образами калокагатийного сознания. В 1798 г. друг за другом на страницах изданий Московского благородного университетского пансиона он публикует два стихотворения с одинаковым заглавием «Добродетель», а затем в 1800 и 1801 гг. пишет еще два произведения с характерными, знаковыми названиями «Герой» и «Человек».

Каждый из этих четырех текстов, генетически связанных с традициями масонской и сентиментальной культуры, одновременно прорыв в пространство новой поэзии эпохи романтизма. Читатель сочинений Шефтсбери (об этом подробнее см.: [16. С. 16–34]) об энтузиазме и Шиллера об эстетическом воспитании человека, молодой Жуковский стремится в лирике сформировать образ духовного рыцаря и выработать его кодекс чести. Две «Добродетели», созданные 15-летним поэтом, – гимн высшим ценностям человеческой души. Воссоздавая в первой «Добродетели» картину суетного бытия и предрекая разрушение сего мира: «Всё, всё развеется, погибнет. // Как пыль, как дым, как тень, как сон» [2. Т. 1. С. 26], Жуковский во второй «Добродетели» раскрывает светоносность процесса рождения человека, верного идеалам служения добру. «От Света светов луч излился...», «От горних, светлых стран небес...», «Пустыня светлым раем стала...» [2. Т. 1. С. 27] – в этих определениях создается своеобразный поэтический строй русской лирики, когда расширяется и возвышается душа. Жуковский насыщает свои первые поэтические тексты этико-философскими концептами: любовь, правдивость, честность, дружба, истина, преданность, верность, совесть, стыд [2. Т. 1. С. 27]. Их предельная концентрация в одном поэтическом тексте формирует пространство моральной поэтической философии, открывает, по словам Владимира Соловьева, путь к «истинно человеческой поэзии в России» [17. С. 347]. Кстати, элегия «Сельское кладбище» Жуковского, о которой говорит великий русский философ, вырастает в атмосфере его калокагатийной антропологии.

Заключительные слова второй «Добродетели»:

Учитесь Добродетель чтить;
В душе ей храм соорудите,
Ей мысли, чувства посвятите,
Стремитесь мудрых по стезям.
Круг жизни вашей совершится,
Но солнце ваших дней затмится,
Зарю оставя по следам [2. Т. 1. С. 29] –

пролог к русской поэтической калокагатии.

В поэтической диалогии «Герой» и «Человек» Жуковский рассматривает понятие добродетели как часть сознания лирического героя. «Героем тот лишь назовется, // Кто добродетель красну чтит», «Познай себя, познай!..», «Но ты велик собой; сей мир твое владенье...», «Твой рай и ад в тебе!..» [2. Т. 1. С. 43, 51] – в этих поэтических формулах Жуковский намечает приемы психологического анализа героя-человека.

В стихотворении 1804 г. «К поэзии» молодой энтузиаст, расширяя сферу лирической рефлексии, использует эмфатические возможности вопросительной интонации, которая определяет композицию, «систему интонирования», «мелодические формы» его поэзии [18. С. 356]. А главное – рождает эвристическую ситуацию, создавая проблемное поле лирического героя. «Друзья небесных Муз, пленимся ль суетой?», «Любимцу ль Фебову за призраком гоняться? // Любимцу ль Фебову во прахе пресмыкаться // И унижением Фортуны обольщать?» [2. Т. 1. С. 63] – эти вопросы формируют эстетические предпосылки калокагатии. Любопытно в этом отношении сравнить стихотворение Жуковского со стихотворением Карамзина «Поэзия» (1787). Для Карамзина главное утверждение роли поэзии в истории человечества, выявление ее нравственного воздействия: «Поэзия, для душ чистейших благом будет» [10. Т. 2. С. 12]. Для молодого Жуковского, несмотря на важность этих поэтических уроков учителя и наставника, определяющим является позиция поэта, его рефлексия по поводу своего поведения (подробнее об этом см.: [19. С. 190–215]). Свое стихотворение Жуковский с некоторыми разночтениями публикует три раза: в 1804, 1805 и 1814 гг., тем самым настойчиво вводя его в поэтическое сознание эпохи. В послании «К Батюшкову» (1812) эта мысль сформулирована с наибольшей отчетливостью:

О, друг! служенье Муз
Должно быть их достойно:
Лишь с добрым их союз [2. Т. 1. С. 128].

Думается, его пафос был услышан и воспринят, отозвавшись в творчестве нового поколения поэтов, прежде всего Пушкина. Достаточно лишь вспомнить его поэтический афоризм из «19 октября» (1825): «Служенье муз не терпит суеты; // Прекрасное должно быть величаво...» [20. Т. 2. С. 276], который звучит как ответ на вопросы Жуковского.

Жуковский на протяжении почти двадцати лет ищет в поэзии органическое сопряжение нравственного и прекрасного. В своих балладах он оформляет рыцарский дискурс: «духовное рыцарство» становится постоянной темой философствования русской литературы (подробнее см.: [21. С. 373–383]). Его балладные рыцари – носители идей добродетели, Вечной женственности, «невольники чести». Но одновременно их моральный кодекс неотделим от идеалов красоты и поэзии. Путь от Арминия-певца из «Эоловой арфы» (1814) к героям «Рыцаря Тогенбурга» (1817) и «Графа Габсбургского» (1818) – это процесс постижения особой миссии поэта в обществе, рождения образа поэта-рыцаря. Не случайно В.Г. Белинский, оценивая художественные достоинства перевода «Рыцаря Тогенбурга» из Шиллера, особенно подчеркивал его общественное значение. «...Второй [Жуковский] усвоивал юной, едва рождающейся литературе плодотворные для нее элементы, и юное, едва возрож-

дающееся общество знакомил с новыми, необходимыми ему интересами» [22. Т. 7. С. 175]. Эти элементы и интересы оказались перспективны для последующей русской словесной культуры. «Жил на свете рыцарь бедный...» и «Сцены из рыцарских времен» Пушкина – «Ветка Палестины» Лермонтова – «Идиот» Достоевского обозначают рецептивные модели калокагатийного содержания балладного рыцаря Жуковского.

Уже современники остро почувствовали драматический элемент баллад Жуковского, назвав их «маленькими драмами», «театром страстей». Путь его рыцарей к калокагatii – это мучительный процесс прозрения, очищения, искупления. «На свете много прекрасного и без счастья» [23. С. 151] – в этом «слове» Жуковского, по выражению Ф.И. Тютчева «есть целая религия, целое откровение...» [24. Т. 2. С. 33]. Начиная с баллады «Вадим» (первоначальное заглавие «Искупление») Жуковский рассматривает поиск добра и красоты как волнение и смятение души, как страдание и поединок с судьбой. Через приобщение к идеалам добра и красоты, через преодоление зла и нечисти Жуковский намечал путь русской литературы к драматическому, почти трагическому содержанию калокагatii. От его «маленьких драм» пролегла дорога к «маленьким трагедиям» Пушкина не столько в аспекте их жанровой типологии, сколько с точки зрения «грозных вопросов морали» [25. Т. 2. С. 73].

Калокагатийная антропология в поэзии Жуковского начиная с 1814 г. всё ошутимее опирается на эстетические основания. В поэтических посланиях к друзьям-арзамасцам, прежде всего к П.А. Вяземскому и В.Л. Пушкину, он ищет точки соприкосновения доброты и красоты. Третье послание к ним («Друзья, тот стихотворец – горе...»), появившееся в журнале «Российский музей» за 1815 г., а затем вошедшее во все прижизненные собрания сочинений Жуковского, стало своеобразной энциклопедией калокагatii как вероисповедания и жизнетворчества. Его определения поэтического творчества и его носителя: «дар священный», «Певец, от Музы вдохновенный...», «пламенная душа», «плоды святого вдохновенья», «И находя в себе самом // Покой, и честь, и наслажденья, // Муж праведный прямым путем // Идет...», «Поэзия есть добродетель»; размышления о свободе творчества: «Свобода друг нам благодатный...», «Поем для Муз, для наслажденья, // Для сердца верного друзей...» [2. Т. 2. С. 346–349] – будут затем развиты в стихотворении «К Вяземскому. Ответ на его послание к друзьям» и сформируют миропонимание Поэзии, пронизанной «любовью красоты», пламенем «чистой души», полетом «к бессмертному» [2. Т. 2. С. 361].

В стихотворениях 1814–1824 гг., которые по праву можно назвать эстетическими манифестами, поэт последовательно антропологию и онтологию калокагатийной философии вводит в пространство прекрасного. В «Теоне и Эсхине» (1814) он стремление к «возвышенной цели» рассматривает как предназначение человека: «Всё в жизни к великому средство» и афористически определяет пафос этого состояния:

При мысли великой, что я человек,
Всегда возвышаюсь душою [2. Т. 1. С. 383].

В элегии «Славянка» (1815), которую Д.С. Лихачев справедливо сравнил с прогулкой «по садам Романтизма» (подробнее см. главу «Сады Романтизма» в работе [26. С. 249–279]), воссоздавая особую «семантику чувств», он реальное путешествие по окрестностям Павловска, по берегам реки Славянки превращает в поэтическую онтологию, в своеобразную натурфилософскую калокагатию. Панорама сменяющихся пейзажей («Что шаг, то новая в глазах моих картина») последовательно формирует «пейзаж души» («Всё к размышленью здесь влечет невольно нас, // Всё в душу томное уныние вселяет...») [2. Т. 2. С. 20–21]. Но онтологически-антропологическая рефлексия путешественника, в которой возвышается и распространяется душа («Душа незримая объемлет голос свой // С моей беседовать душою» [2. Т. 2. С. 24] – импульс к превращению путника по садам Романтизма в Поэта. Его человеческие эмоции и натурфилософские зарисовки, пронизанные добрыми чувствами воспоминания, исторической памяти, «неизменяющей Мечты», сельской жизни, постепенно становятся арсеналом для поэзии, которая «в видении прекрасном воскресает». Через нагнетение слов «как бы» и «как будто» поэт ищет взаимосвязи доброго и прекрасного. «Как бы знакомое мне слышится призванье, // Как будто Гений путь указывает мне // На неизвестное свиданье...», «О! кто ты тайный вождь? душа тебе вослед!» [2. Т. 2. С. 24] – все эти эмфатические формулы способствуют сопряжению калокагатийных смыслов и выявлению их эстетической и художественной природы.

Стихотворения «Цвет завета», «Невыразимое», «К мимопролетевшему знакомому Гению» (1819), «Лалла Рук» и «Явление поэзии в виде Лалла Рук» (1821), «Ангел и Певец», «Я Музу юную, бывало...» (1823), «Таинственный посетитель» (1824), эссе «Рафаэлева мадонна» (1821) – каждое из этих творений Жуковского и все они вместе варьировали составные, связанные с понятиями «нравственное» и «прекрасное». Поиск образа-символа поэтической калокагатии становится поистине задушевной идеей всех эстетических манифестов этого периода.

Открытие тайного смысла явлений у Жуковского определяет расширение самих возможностей поэтического мышления, философствования. Используя и метафору, и аллегория, и олицетворение, и миф, и эмблематику, Жуковский создает особый тип символического мышления. Функция каждого из этих приемов открывается у Жуковского в пределах того или иного стихотворного ряда, но символическое значение понятий «цвет завета», «таинственный посетитель», «мимопролетевший гений», «Лалла Рук», «Гений чистой красоты» открывается в общей системе стихотворений, в системе опосредований.

«Символизация» бытия у Жуковского связана с созданием моделей нового эстетического мышления. В этих символах приоткрывается не просто суть явления, а дано указание на процесс постижения этой сути. По точному замечанию А.Ф. Лосева, «символ указывает на какой-то неизвестный нам предмет, хотя и дает нам в то же самое время всяческие возможности сделать необходимые выводы, чтобы этот предмет стал известным» [27. С. 156]. У Жуковского этот момент тайны и ее узнавания является эстетически программным. Невыразимое – это не столько непознаваемое, сколько таинственно скрытое, неизвестное до тех пор, пока не будет открыто, не отзовется на при-

звыи души. По существу, невыразимое – это философия символического у Жуковского.

В одном из итоговых эстетических манифестов «Я Музу юную, бывало...» Жуковский дает концентрат этой философии. Романтическая символизация охватывает весь мир стихотворения. Поэт встречает Музу, к нему летает Вдохновенье, от него уходят светлые вдохновения, его посещает «дарователь песнопений». Но весь этот мир – знакомый незнакомец. Поэт утверждает: «Но ты знаком мне, чистый Гений», говорит о его доступности. Весь мир создан поэтом как модель жизни, он жизнеподобен. Но это жизнеподобие имеет второй смысл: воссоздается летопись творческого процесса. Мир поэзии, с его непредугаданностью, непредсказуемостью, тайной, воссоздан через движение философии символического. «Гений чистой красоты», «чистый гений» – символическая концентрация идеи «Жизни-Поэзии».

Но эта идея формировалась поэтом во всей системе эстетических манифестов. Романтическая символика придала ей особый масштаб и программность. В течение почти десяти лет в сознании русских читателей и русской словесной культуры Жуковский формировал идею творчества как процесса познания тайны бытия, как тайну невыразимого. И одновременно через сопряжение идей добра и красоты он передавал масштаб этого явления, универсальность и особую жизненную силу его.

Образ-символ Гений *чистой* красоты впервые появляется у Жуковского в стихотворении «Лалла Рук» (начало февраля 1821 г.) в своеобразном варианте «Гений *чистый* красоты» [2. Т. 2. С. 223] и отражает атмосферу Берлинского придворного праздника, связанного с сюжетом поэмы Томаса Мура «Лалла Рук» и участием в нем великой княгини Александры Федоровны (подробнее см.: [2. Т. 2. С. 595–603; примеч. О.Б. Лебедевой]). Поэт еще словно сомневается в его жизненности: «Ах! не с нами обитает // Гений чистый красоты; // Лишь порой он навещает // Нас с небесной высоты...» Но уже в эссе «Рафаэлева мадонна», выросшем из письма к великой княгине от 23–29 июня 1821 г., этот образ получает своеобразный статус эстетического гражданства и отражает состояние, когда «душа распространялась; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизобразимое было для нее изображено <...> Гений *чистой* красоты был с нею» [2. Т. 12. С. 343]. Выделение курсивом этого образа-символа не столько фиксирует его автореминисцентность (тем более что стихотворение «Лалла Рук» еще не появилось в печати), сколько закрепляет за ним масштаб «сквозного слова» и вводит его в большой контекст поэзии пушкинской поры (подробнее см.: [28. С. 3–25]). Появление эссе «Рафаэлева мадонна» в альманахе «Полярная звезда» за 1824 г. способствует такому прочтению образа-символа.

Но почти одновременный выход третьего тома «Стихотворений В. Жуковского» (3-е изд., испр. и умнож. СПб., 1824) с публикацией в конце курсивом текста «Я Музу юную, бывало...» провоцирует на его вариативную интерпретацию. Третью строфу стихотворения Жуковский завершает стихами:

Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы, –
Кладу на твой алтарь священный,
О Гений чистой красоты! [2. Т. 2. С. 235],

а в следующей, четвертой, последней строфе восклицает:

Но ты знаком мне, чистый Гений!
И светит мне твоя звезда! [Там же].

Жуковский сохраняет два прочтения образа: эпитет «чистый» с одинаковым основанием может быть отнесен и к слову «Гений» (чистый Гений), и к слову «красота» (чистой красоты). Неоднозначность толкования мифологемы «гений» (злой и добрый, соответствие греческому демону) лишает эпитет «чистый» абсолютного морального смысла. Его же связь с понятием красоты выявляет столь важный для поэта синтез нравственного и прекрасного. «Чистый гений» является лишь в «чистые мгновенья»; «Гений чистой красоты» – символ взаимосвязи Жизни и Поэзии, выражение святости поэзии, ее нравственного смысла. Муза – Вдохновение – Жизнь и Поэзия – этот большой контекст эстетических манифестов Жуковского закрепляет образ-символ «Гений чистой красоты» как «сквозное слово» и выявляет его калокагатийный смысл.

Когда еще в 1815 г. К.Н. Батюшков назвал Жуковского «рыцарем на поле нравственности и словесности» [29. Т. 2. С. 325], когда уже на исходе романтической эпохи В.Г. Белинский подчеркивал, что Жуковский «служил обществу, развивая его эстетическое и нравственное чувство» [22. Т. 5. С. 546], а его поэзия – «целый период нравственного развития нашего общества» [22. Т. 7. С. 241], то мысль о феномене русской калокагатии и ее наиболее ярком и последовательном выразителе стала достоянием словесной культуры.

Антропологический резерв этого понятия выявляется у Жуковского одновременно и в образе героя-рыцаря и в авторском сознании. Лирический герой его поэзии – носитель идей нравственно-прекрасного. Последовательно в течение 20 лет русская словесная культура жила «при свете Жуковского». Его арзамасское прозвище «Светлана» обрело символический смысл. А.С. Немзер справедливо и точно замечает: «Не только младшие современники великого поэта (прежде всего – Пушкин) или тонко чувствующий свое родство с Жуковским Блок, но вся новая русская литература (вплоть до Солженицына, Самойлова, лучших сегодняшних писателей) воспринимается мной при ясном и ровном свете Жуковского» [30. С. 16]. И в этих словах нет никакого преувеличения: *при свете Жуковского* синонимично тому, что позднее Марина Цветаева определит как «искусство *при свете совести*», включив в статью с одноименным заглавием эпиграф из Жуковского: «Поэзия есть Бог в святых местах земли» [31. С. 73].

Эта своеобразная школа калокагатийности, сформированная Жуковским в недрах русской словесной культуры 1810–1820-х гг., оказалась благотворна для мировоззренческих и художественных поисков молодого Пушкина. Р.В. Иезуитова историю взаимоотношений двух поэтов справедливо связывает с проблемой «литературного наставничества», которое «в понимании Жуковского было школой воспитания подлинного художника, выразителя нравственных идеалов своего времени» [32. С. 235–236]. Ю.М. Лотман, говоря о том, что «среди дружеских привязанностей Пушкина особое место занимал Жуковский, замечал: «Глубокий и тонкий лирик, открывший тайны поэтиче-

ского звучания, Жуковский отличался и другой одаренностью: это был бесспорно самый добрый человек в русской литературе» [33. С. 27]. Общение с ним на протяжении всей творческой биографии было для Пушкина школой жизни, тем нравственным климатом, в котором, как он скажет позднее сам, «чувства добрые я лирой пробуждал» [20. Т. 3. С. 373].

Молодой Пушкин рано определил свое призвание и свой путь. Менялись его взгляды, общественная позиция, отношение к искусству. Но уроки Жуковского навсегда вошли в генетическую систему его поэзии. Его путь к «Гению чистой красоты», к осознанию того, что «Служенье муз не терпит суеты; // Прекрасное должно быть величаво...» – специальный и отдельный разговор.

Литература

1. Бродский И. Форма времени: стихотворения, эссе, пьесы: в 2 т. Минск, 1992.
2. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 1999–2012.
3. Лосев А.Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития. М., 1994. Кн. 2.
4. Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма: (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994.
5. Пиксанов Н.К. И.В. Лопухин // Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1914. (Репринтное воспроизведение. М., 1991). Т. 2.
6. Лопухин И.В. Записки. М., 1860.
7. Лопухин И.В. Некоторые черты о внутренней церкви... 3-е изд. М., 1816.
8. Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
9. Кочеткова Н.Д. Идеино-литературные позиции масонов 80–90-х годов XVIII века и Н.М. Карамзин // Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. М.; Л., 1964.
10. Карамзин Н.М. Избранные сочинения: в 2 т. М.; Л., 1964.
11. Янушкевич А.С. Диалог И.В. Лопухина и Н.М. Карамзина: («Духовный рыцарь» и «Рыцарь нашего времени») // Масонство и русская литература XVIII – начала XIX века. М., 2000.
12. Иванов М.В. Судьба русского сентиментализма. СПб., 1996.
13. Багно В.Е. Жуковский – переводчик «Дон Кихота» // Жуковский и русская культура: сб. науч. тр. Л., 1987.
14. Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866.
15. Лотман Ю.М. Поэзия 1790–1810-х годов // Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971.
16. Янушкевич А.С. В.А. Жуковский – читатель Шефсбери: (К проблеме становления эстетической позиции поэта) // Проблемы метода и жанра. Вып. 14. Томск, 1988.
17. Соловьев В.С. Родина русской поэзии. По поводу элегии «Сельское кладбище» // Вестн. Европы. 1897. № 11.
18. Эйхенбаум Б.М. Мелодика русского лирического стиха // Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969.
19. Кочеткова Н.Д. Жуковский и Карамзин // Жуковский и русская литература: сб. науч. тр. Л., 1987.
20. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М., 1962–1965.
21. Никонова Н.Е. Рыцарская тема в поэзии В.А. Жуковского // Канунова Ф.З., Айзикова И.А., Никонова Н.Е. Эстетика и поэтика переводов В.А. Жуковского 1820–1840-х гг.: проблемы диалога, нарратива, мифопоэтики. Томск, 2009.
22. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. М., 1953–1959.
23. Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.
24. Тютчев Ф.И. Сочинения: в 2 т. М., 1980.
25. Ахматова А.А. Сочинения: в 2 т. М., 1986.
26. Лихачев Д.С. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Л., 1982.
27. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
28. Об этой тенденции художественного сознания Жуковского подробнее см.: Грехнёв В.А. Слово и большой лирический контекст в поэзии пушкинской поры (Жуковский, Тютчев) // Учен. зап. Горьк. ун-та. 1971. Вып. 3.

29. Батюшков К.Н. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 2.
30. Немзер А. При свете Жуковского: Очерки истории русской литературы. М., 2013.
31. Цветаева М. Об искусстве. М., 1991.
32. Иезуитова Р.В. Жуковский и Пушкин: (К проблеме литературного наставничества) // Жуковский и русская культура: сб. науч. тр. Л., 1987.
33. Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Л., 1982.

THE KALOKAGATHIA PHENOMENON IN THE RUSSIAN VERBAL CULTURE OF 1790–1830S. ARTICLE 1

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 189–201.

DOI 10.17223/19986645/35/15

Yanushkevich Alexander S., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: asyanush50@yandex.ru

Keywords: kalokagathia, spiritual chivalry, anthropology, aesthetic manifestos of Zhukovsky, genius of pure beauty, Pushkin.

The concept kalokagathia (Greek *kalos* – beautiful, *agathos* – kind) is inextricably linked with the ancient culture. It unites the aesthetic and ethical merits of the person and determines the evolution of philosophical and aesthetic thought. The article attempts to examine the process of formation of this concept in Russian literature and culture to reveal its national content. The atmosphere of the transitional epoch actualized the interest of Russian social and aesthetic consciousness in the problem of educating the new personality. The image of the “spiritual knight”, stated in Mason I.V. Lopukhin’s treatise of the same name and embodied in N.M. Karamzin’s novel *A Knight of Our Time*, became a reference point in the development of the anthropological universal “hero of our time.” The history of Russian literature interest in the image of Cervantes’ Don Quixote, Zhukovsky’s translation of Florian’s adaptation of this novel and his ballad knights are important stages in the search for the concept and image of a “positively beautiful person”. Early poetry of Zhukovsky (the poems “Virtue”, “Hero”, “The Man”, “Rural Cemetery”), based on the Masonic theory of self-improvement and Karamzin’s concept of a “sensitive person”, introduced this image and its anthropology in the sphere of aesthetic reflection. The image system of Zhukovsky’s poems of 1814–1825s, considered as the aesthetic manifesto of the “Columbus of Russian romanticism in poetry”, shows the tendency to the synthesizing of the “good” and the “beautiful”. The ideas of the “moral good of poetry” Zhukovsky referred to in the article of the same name in his journal *Vestnik Evropy* (“Herald of Europe”) as early as 1809 obtained poetic expression. Symbolization of the concepts “mysterious visitor”, “familiar genius flying by”, “ineffable”, “Muse”, “genius of pure beauty”, “Lalla-Rookh” expands image reflection and forms a special philosophy of the author’s consciousness, anchored in the poetic aphorism “poetry and life are one”.

Kalokagathia gains its national identity associated with the concept of scope and elevation of the soul in Zhukovsky’s poetic experiments. In his ballads, “little dramas”, poetic stories, dramatic poem “Camões” this spiritual process is accompanied with a struggle between the good and the evil, with a fight with the fate, with suffering and redemption. The well-known poet’s expression “There are a lot of beautiful things in the world other than happiness . . .”, which, according to Tyutchev, “is a whole religion, a revelation”, makes significant corrections in the Russian kalokagathia. Zhukovsky’s tradition and its development in the poetry of Pushkin and Lermontov, in Gogol’s prose are the objects of study in the next article.

References

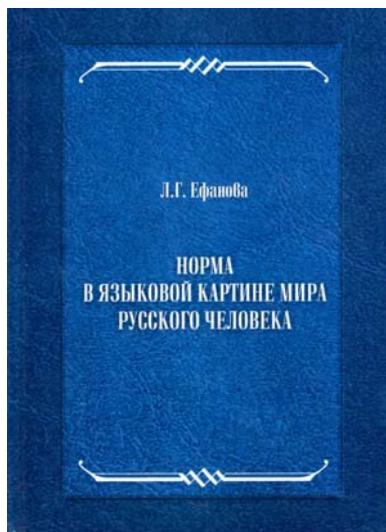
1. Brodsky J. *Forma vremeni: Stikhotvoreniya, esse, p’esy: V 2 t.* [Time format: Poems, essays, plays: in 2 v.]. Minsk: Eridan Publ., 1992.
2. Zhukovsky V.A. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 v.]. Moscow, 1999–2012.
3. Losev A.F. *Istoriya antichnoy estetiki: Itogi tysyacheletnego razvitiya. V 8 t.* [History of ancient aesthetics: Results of millennium-long development. In 8 v.]. Moscow: Iskustvo Publ., 1994. Book 2, 569 p.
4. Kochetkova N.D. *Literatura russkogo sentimentalizma (Esteticheskie i khudozhestvennye iskaniya)* [Literature of Russian sentimentalism (aesthetic and artistic quest)]. St. Petersburg: Nauka Publ., 1994. 279 p.

5. Pikanov N.K. I.V. *Lopukhin* [Lopukhin]. In: Mel'gunov S.P., Sidorov N.P. (eds.) *Masonstvo v ego proshlom i nastoyashchem. Reprintnoe vosproizvedenie izdaniya 1914–1915 gg.* [Freemasonry in its past and present. Reprint of the 1914–1915 edition]. Moscow: IKPA Publ., 1991. V. 2.
6. Lopukhin I.V. *Zapiski* [Notes]. Moscow, 1860.
7. Lopukhin I.V. *Nekotorye cherty o vnutrenney tserkvi* [Some features of the interior church]. 3rd edition. Moscow, 1816.
8. Lotman Yu.M. *Sotvorenie Karamzina* [Creation of Karamzin]. Moscow: Kniga Publ., 1987. 336 p.
9. Kochetkova N.D. *Ideyno-literaturnye pozitsii masonov 80-90-kh godov XVIII veka i N.M. Karamzin* [The ideological and literary positions of Masons in 1780 – 1790s and N.M. Karamzin]. In: Serman I.Z. (ed.) *Russkaya literatura XVIII veka. Epokha klassitsizma* [Russian literature of the 18th century. The Age of Classicism]. Moscow; Leningrad: Nauka Publ., 1964.
10. Karamzin N.M. *Izbrannye sochineniya: V 2 t.* [Selected works: In 2 v.]. Moscow; Leningrad: Nauka Publ., 1964.
11. Yanushkevich A.S. *Dialog I.V. Lopukhina i N.M. Karamzina ("Dukhovnyy rytsar'" i "Rytsar' nashego vremeni")* [Dialogue of I.V. Lopuchin and N.M. Karamzin ("Spiritual Knight" and "Knight of Our Time")]. In: Sakharov V.I. (ed.) *Masonstvo i russkaya literatura XVIII – nachala XIX veka* [Freemasonry and Russian literature of the 18th – early 19th centuries]. Moscow: Editorial URSS Publ., 2000, pp. 156–163.
12. Ivanov M.V. *Sud'ba russkogo sentimentalizma* [The fate of Russian sentimentalism]. St. Petersburg: Eidos Publ., 1996. 320 p.
13. Bagno V.E. *Zhukovskiy – perevodchik "Don Kikhota"* [Zhukovsky as the translator of "Don Quixote"]. In: Iezuitova R.V. (ed.) *Zhukovskiy i russkaya kul'tura* [Zhukovsky and Russian Culture]. Leningrad: Nauka Publ., 1987, pp. 293–310.
14. *Pis'ma N.M. Karamzina k I.I. Dmitrievu* [N.M. Karamzin's letters to I.I. Dmitriev]. St. Petersburg, 1866.
15. Lotman Yu.M. *Poeziya 1790-1810-kh godov* [Poetry of 1790–1810s]. In: Lotman Yu.M. (ed.) *Poety 1790-1810-kh godov* [Poets of 1790–1810s]. Leningrad: Sovetskii pisatel' Publ., 1971, pp. 5–66.
16. Yanushkevich A.S. *V.A. Zhukovskiy – chitatel' Sheftsberi (K probleme stanovleniya esteticheskoy pozitsii poeta)* [V.A. Zhukovsky as a reader of Shaftesbury (on formation of the aesthetic position of the poet)]. In: Kanunova F.Z. (ed.) *Problemy metoda i zhanra* [Problems of method and genre]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 1988. Is. 14, pp. 16–34.
17. Solovyov V.S. *Rodina russkoy poezii. Po povodu elegii "Sel'skoe kladbishche"* [Homeland of Russian poetry. On the elegy "Rural Cemetery"]. *Vestnik Evropy*, 1897, no. 11.
18. Eykhenbaum B.M. *O poezii* [On poetry]. Leningrad: Sovetskii pisatel' Publ., 1969, pp. 327–511.
19. Kochetkova N.D. *Zhukovskiy i Karamzin* [Zhukovsky and Karamzin]. In: Iezuitova R.V. (ed.) *Zhukovskiy i russkaya literatura* [Zhukovsky and Russian literature]. Leningrad: Nauka Publ., 1987.
20. Pushkin A.S. *Polnoe sobranie sochineniy: V 10 t.* [Complete Works. In 10 v.]. Moscow: USSR AS Publ., 1962–1965.
21. Nikonova N.E. *Rytsarskaya tema v poezii V.A. Zhukovskogo* [The knight theme in the poetry of V.A. Zhukovsky]. In: Kanunova F.Z., Ayzikova I.A., Nikonova N.E. *Estetika i poetika perevodov V.A. Zhukovskogo 1820-1840-kh gg.: problemy dialoga, narrativa, mifopoetiki* [Aesthetics and poetics of V.A. Zhukovsky's translations of 1820–1840s: The problems of dialogue, narrative, mythopoetics]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2009.
22. Belinsky V.G. *Polnoe sobranie sochineniy: V 13 t.* [Complete Works. In 13 v.]. Moscow: USSR AS Publ., 1953–1959.
23. *Pis'ma V.A. Zhukovskogo k Aleksandru Ivanovichu Turgenevu* [Letters of V.A. Zhukovsky to Alexander Ivanovich Turgenev]. Moscow, 1895.
24. Tyutchev F.I. *Sochineniya v dvukh tomakh* [Works in two volumes]. Moscow: Pravda Publ., 1980.
25. Akhmatova A.A. *Sochineniya v dvukh tomakh* [Works in two volumes]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1986.
26. Likhachev D.S. *Poeziya sadov: K semantike sadovo-parkovykh stiley* [Poetry of gardens: on semantics of landscape styles]. Leningrad: Soglasie Publ., Novosti Publ., 1982, pp. 255–396.
27. Losev A. F. *Problema simvola i realisticheskoe iskusstvo* [The problem of symbol and realistic art]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1976. 367 p.

28. Grekhnev V.A. Slovo i bol'shoy liricheskiy kontekst v poezii pushkinskoy pory (Zhukovskiy, Tyutchev) [Words and the great lyrical context in the poetry of Pushkin's time (Zhukovsky, Tyutchev)]. *Uchenye zapiski Gor'kovskogo universiteta*, 1971, is. 3.
29. Batyushkov K.N. *Sochineniya v dvukh tomakh* [Works in two volumes]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1989. V. 2, 719 p.
30. Nemzer A. *Pri svete Zhukovskogo: Ocherki istorii russkoy literatury* [In the light of Zhukovsky: Essays on the history of Russian literature]. Moscow: Vremya Publ., 2013. 895 p.
31. Tsvetaeva M. *Ob iskusstve* [On the art]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1991. 479 p.
32. Iezuitova R.V. *Zhukovskiy i Pushkin (K probleme literaturnogo nastavnichestva)* [Zhukovsky and Pushkin (on literary mentoring)]. In: Iezuitova R.V. (ed.) *Zhukovskiy i russkaya kul'tura* [Zhukovsky and Russian Culture]. Leningrad: Nauka Publ., 1987, pp. 229–243.
33. Lotman Yu.M. *Aleksandr Sergeevich Pushkin. Biografiya pisatelya* [Alexander Pushkin. Biography of the writer]. Leningrad: Prosveshchenie Publ., 1982. 250 p.

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

DOI 10.17223/19986645/35/16



Ефанова Л.Г. Норма в языковой картине мира русского человека. – Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 2013. – 492 с.

В монографии представлен комплексный анализ нормы как универсальной категории, отраженной в русской языковой картине мира, с точки зрения особенностей ее содержания, способов выражения и выполняемых ею функций.

Предназначена для специалистов в области лексической семантики, когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, для научных работников и аспирантов, преподающих и изучающих русский язык в качестве иностранного, а также для широкого круга ученых, исследовательская деятельность которых связана с изучением нормы.

В 2014 г. вышла в свет почти пятисотстраничная книга Л.Г. Ефановой, посвященная категории нормы. Удивительная своевременность этой работы обусловлена, прежде всего, обостренным вниманием языкознания XXI в. к содержательному плану языка, к вопросам семантики. Данный интерес, неуклонно возрастая на протяжении всего прошлого столетия, обрел новый импульс за счет развития когнитивных наук с их обращением к способам и формам получения, организации и экспликации знания, когда языковая деятельность стала рассматриваться в качестве одного из «модусов когниции». Как результат мы видим чрезвычайную востребованность введенного античной философией понятия категории. В XX в. его интерпретации были посвящены широко известные работы Л. Витгенштейна, Б.Л. Уорфа, Э. Бенвениста, У. Лабова, Т. Гивона, Р. Лангакера, Л. Талми, Р.М. Фрумкиной, А.В. Бондарко, Е.С. Кубряковой и десятков других крупных ученых. Согласившись в целом с пониманием категории как объединения элементов с нетождественными свойствами и вместе с тем характеризующихся неким общим свойством, лингвисты сегодня дискутируют о количестве языковых категорий, их таксономии, иерархии, а также о более частных деталях – функциях выделенных конкретных категорий, их признаках и т.д.

Вместе с тем современная кроссдисциплинарная теория миромоделирования не может изъять из своего предметного поля вопросы нормативной организации целостного образа действительности. Вполне очевидно, что фе-

номен нормы через области должного и идеала сопрягается с правом и моралью, порождая закон и заповедь, а через вопросы об источнике нормы и субъекте ее оценки – с теософскими учениями об онтологии мира. Поле нормы расцвечено сложным, причудливым узором из привычных правил, древних обычаев, новых предписаний, разработанных канонов, жестких стандартов, признанных эталонов, тривиальных стереотипов и высоких идеалов. Моделируемая посредством нормы действительность имеет, однако, недвусмысленные и интуитивно понятные границы, ведь норма – это феномен «человеческого мира»: лики микро- и макровселенной, где человек выведен «за скобки» бытия, нормированию не подлежат.

В результате избранный Л.Г. Ефановой предмет исследования заведомо не может быть сконструирован без обращения к предметным сферам других отраслей знания. Автор имел все основания повысить статус выделяемой им категории нормы до общелингвистического (релевантного для таких направлений языкознания, как культура речи, социалингвистика, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, теория межкультурной коммуникации, теория речевых жанров, где термины «текстовые нормы», «речевые нормы», «лексические нормы», «литературные нормы» давно стали привычными) и даже гносеологического (востребованного в антропологии, социологии, теории стандартов, модальной логике, философии и других дисциплинах, поскольку отношение к сложной и многоплановой норме принадлежит к числу важнейших механизмов познания как такового) и при этом доказывать статус нормы как универсальной семантической категории, свойственной всем языкам.

Л.Г. Ефанова корректно обозначает тот рубеж, с которого началось ее собственное исследование. Помимо освещения логико-философских, религиозных, социологических концепций феномена нормы от Аристотеля и Б. Спинозы, заинтересовавшихся сущностью нормы, до Э. Дюркгейма и Р. Мертонса, чье внимание привлекала граница нормы и аномалии, нормы и аномии, в книге также систематизированы достижения последних десятилетий по изучению нормы в рамках лингвистической семантики – ее трактовка как концепта, элемента иных семантических категорий, структурной составляющей модальности, основания оценки.

Уже затем автор предлагает собственную многоуровневую интерпретацию категории нормы. На общеметодологическом уровне выдвигается положение о нормативной картине мира как основании для языковой картины мира. Постулируемая в книге нормативная картина мира отмечена свойством универсальности по отношению к отраженным в ней типам норм и оказывается специфичной по отношению к их конкретным реализациям. Она антропогенна и складывается в результате предметно-практической деятельности человека. Обладая родовыми свойствами картины мира как когнитивного феномена, нормативная картина мира объединяет коллективные гетерогенные и гетероструктурные представления о нормах.

На межпредметном уровне научная гипотеза Л.Г. Ефановой связана с углублением и расширением трактовки нормы как особой разновидности оценки, с выявлением типологии норм и систематизацией их функций.

И уже сугубо лингвистический уровень создается интерпретацией нормы в качестве впервые выделяемого самостоятельного функционально-семантического поля. Оно оказывается полицентрическим и представляет собой переходы от «явной» грамматики русского языка к «скрытой».

Семантическая гетерогенность заявленной категории заставила автора квалифицировать основные нормы, существующие в русской языковой картине мира, и их категориальные особенности. Для этого Л.Г. Ефановой создана оригинальная процедура определения степени выраженности в семантике языковых единиц общекатегориальных признаков нормы на основе подбора соответствующего языкового показателя. Автору удалось доказать преимущественную соотносительность признаков нормы с предметом нормативной оценки или с ее основанием. Вскрыта не исследовавшаяся ранее корреляция функций нормы с субъектом нормативной оценки, субъектом нормы и ее авторитетом. Таким образом, научному сообществу представлено концептуально целостное описание языкового воплощения семантической категории нормы.

Л.Г. Ефанова отстаивает тезис о том, что предлагаемая ею категория рядоположена таким категориям, как интенсивность, градуальность, компаративность, недискретное количество и мера признака. Норма трактуется как семантическая константа, инвариант общекатегориального признака, разнообразные варианты которого получают воплощение в языковых значениях. При этом, как и следовало ожидать, специализированные языковые средства гораздо чаще маркируют проявления разнообразных девиаций, нежели соответствие норме.

Автор всесторонне характеризует частные разновидности нормы (собственно параметрическую норму, норму целостности, соответствия, количества статического / динамического признака одушевленного субъекта, оптимального состояния одушевленного объекта, видовой идентичности, стабильности, собственно аксиологическую норму), которые отличаются принципом репрезентации аномалии и средствами ее выражения, систематизированы категориальные признаки нормы (и как предмета оценки, и как основания оценки).

Исследование Л.Г. Ефановой вскрывает нелинейные и неоднозначные связи нормы с оценкой. Одним из самых сильных разделов ее книги является выделение основных разновидностей нормативных оценок – стереотипа, стандарта, образца и идеала – и анализ их взаимодействия. Скрупулезно рассмотрены функции нормы и их преимущественное распределение по видам норм: доказано, что для стереотипов наиболее характерна информативная функция, для стандартов – мерная, для образцов – регулятивная, для идеалов – проецирующая. Установлено, что функционирование нормы детерминировано рядом факторов, из которых наиболее значимы авторитет нормы, субъект нормы и субъект нормативной оценки.

Изложение доказательств перечисленных концептуальных положений представлено читателю чрезвычайно методично, последовательно и внутренне взаимосвязанно. Эта черта, впрочем, присуща всем хорошим работам, а книгу Л.Г. Ефановой отличает и ряд самобытных моментов.

В ее безусловно целостный текст введены 7 разделов, каждый из которых, будучи сфокусированным на конкретном вопросе, имеет отчасти самостоятельный характер. Это разделы «Категориальная семантика нормы в значениях лексических единиц» (с. 58–66); «Коммуникативная дистанция как разновидность стандарта, обозначенного при помощи средств языка» (с. 237–244); «Идеал безгрешности и его взаимодействие со стереотипом отношения к греху и образом праведности» (с. 301–307); «Душа как авторитет стандартов удовлетворения индивидуальных потребностей» (с. 361–364); «Душа как субъект этических норм» (с. 419–423); «Дух и душа как субъект религиозных норм» (с. 424–427); «Совость как внутренний авторитет этических норм-образцов с активным субъектом» (с. 434–444). Несмотря на небольшой объем (вполне возможно, благодаря небольшому объему), данные экскурсы являются бесспорным украшением книги, поскольку лишены некоторой статичности и монументальности основного текста. Они глубоки по содержанию и написаны «*con animo*». Думается, это было непросто, поскольку здесь автор соперничает с пером ведущих отечественных лингвистов, чьи работы хорошо известны по серии «Логический анализ языка».

Чтобы полнее охарактеризовать рецензируемую книгу, остановимся на особенностях и охвате анализируемых в ней языковых средств. Итак, функционально-семантическое поле нормы не опирается ни на одну морфологическую или синтаксическую категорию, и его не ограниченные формально элементы находятся в отношениях взаимного дополнения (впрочем, автор острожно говорит о некоторых признаках их иерархической организации). Помимо лексем, фразеологизмов и паремий, план выражения поля нормы составляют словообразовательные форманты, предложно-падежные сочетания, союзные конструкции.

И здесь следует отметить одну из немаловажных и вместе с тем ярких черт рецензируемой книги: и отдельные тезисы, и окончательные постулаты неизменно опираются в ней на уникальные по своей репрезентативности* выборки языковых фактов (складывается впечатление, что иллюстративная часть составляет едва ли не половину текста). При этом автор убедительно аргументирует выбор единиц наблюдения, которые релевантны для разных участков поля нормы, а также для реализации тех или иных ее функций.

К примеру, такая разновидность нормы, как стандарт, рассмотрена на материале лексем, маркированных аффиксами *полу-, недо-, пере-, без- (бес-)*; регулятивная (оценочная) функция нормы – на материале фразеологии начинающей с исконно русской (и даже диалектной: *ни пизжи ни ежи*) до заимствованной из самых разных источников (*отпетый дурак, детский лепет, нести ахинею, затянуть пояс, гол как сокол, баловень судьбы [фортуны], как игрушка, как на корове седло, пятая колонна, не по зубам, от аза до ижицы,*

*Например, только экспликация несоответствия норме тождества объекта самому себе (норме видовой идентичности) посредством конструкции *ни... ни...* проиллюстрирована 35 примерами (!) – от таких высокочастотных, как *ни рыба ни мясо, ни два ни полтора, ни три ни ну, ни убавить ни прибавить*, до редко употребляемых ныне *ни бес ни хохуля* [диалектизм со значением 'выхухоль'], *ни кафтан ни ряса, ни из короба ни в короб, ни куется ни плющится* и т.д. Автор скрупулезно фиксирует формальное варьирование конструкций: *ни шатко ни валко (ни на сторону), ни Богу свечка ни чёрту кочерга / огарыш*.

сами с усами, попасть пальцем в небо, крепкой закваски, терять почву под ногами, рыцарь на час, жать на всю железку, от чистого сердца, двенадцать на дюжину, тюрьма [веревка] плачет); внешний авторитет норм-образцов с активным субъектом и информационная функция нормы – на единицах паремиологического фонда (*и будь без хвоста, да не кажись кургуз; не ищи в селе, а ищи в себе; не будь в людях приметлив, а будь дома приветлив; не будь гостю запасен, а будь ему рад; умирать собирайся, а земельку паши; не смейся чужой беде, своя на гряде; хорони думку в пазушке, не носи в люди; не в свои сани не садись; по одежке протягивай ножки; что ни город, то норов, что ни деревня, то обычай; ремесло за плечами не виснет; грязь – не сало, помыл – отстала; кто празднику рад, тот до свету пьян; кто старое помянет, тому глаз – вон*).

Научная основательность не позволяет автору ограничить свою доказательную базу кодифицированной подсистемой языка. Так, например, стереотип разговорчивости (предметом его оценки является речевая активность человека) реконструируется через номинации отклонений от него, и большинство из них прогнозируемо выходит за рамки литературности или же стилистической нейтральности. Подобные примеры неуклонно сопровождаются выверенными по словарям пометами. Это касается как универбов (*балаболка* (разг.), *говорун, пустозвон* (разг.), *пустомеля* (разг.), *сорока* (перен.), *таранта* (прост.), *трепло* (груб., прост.), *трещотка* (перен.) vs. *молчун, заика, мямля* (прост.); *многословный, речистый, словоохотливый* vs. *безъязыкий, малоразговорчивый, немногословный, немой*), так и устойчивых выражений (*базарная баба* (груб. прост.), *бесструнная балалайка, живая газета* (разг.), *слаб на язык* (прост.), *язык без костей* (разг.) vs. *как будто [словно, точно] воды в рот набрал* (разг.), *клещами [слова] не вытянешь* (разг.), *ни гу-гу* (прост.), *ни гласа ни воздыхания* (книжн.)), – в целом данный участок нормы в монографии репрезентирован 64 единицами.

Отдельно остановимся на эвристическом потенциале монографии. Являясь вполне законченным произведением, она дает читателю импульсы для дальнейших размышлений, выходящих за рамки конкретных задач проделанного Л.Г. Ефановой исследования. Значительная часть сформулированных положений потенцирует связи и пересечения разных областей гуманитарного знания. Книга заставляет читателя (если угодно в другой модальности, – позволяет ему) думать. Так, приводимая серия примеров, которые иллюстрируют допустимость снижения нормы для отрицательного признака и недопустимость – для нормы положительного признака, типа *глуховатый – звонкий, кривоватый – прямой, трусоватый – храбрый, грубоватый – вежливый, бледноватый – румяный, слабоватый – сильный, пьяноватый – трезвый*, актуализует вопрос о своеобразии национальной ментальности. Еще более важное значение для «горячей» (в терминах Ю.Н. Караулова) на сегодня проблематики «русского мира» имеют доказательные выводы автора об эксплицированной русским языком специфике внешних и внутренних авторитетов норм, а также санкций за их нарушение. Описанный в работе выход девиаций аксиологической нормы стабильности на такие средства выражения, как неопределенные местоимения типа *какой-то, что-то, как-то, почему-то*, отсылает к семантической категории чуждости, поскольку именно чужой мир,

иномирие характеризуются неопределенностью и отсутствием границ, законов, причин и следствий.

Есть ли в книге Л.Г. Ефановой положения, вызывающие полемику? Разумеется. Ведь необходимость научной гипотезы, лишенной полемичности по отношению к уже существующим теориям, вызывает сомнения.

Итак, одним из главных содержательных акцентов работы стало развиваемое Л.Г. Ефановой на с. 165–170 положение о нормативной картине мира как основании для языковой картины мира. Этот тезис сразу порождает вопросы гносеологического плана: оказывается ли это основание единственным или же существуют рядоположенные феномены? Является ли нормативная картина мира предельным понятием или же она сама базируется на какой-то другой сущности?

Очевидно, что феноменологические черты (континуальность / дискретность, объективность / субъективность, стабильность / динамичность) предлагаемая нормативная картина мира будет разделять с другими картинами мира. Более неопределенными оказываются ее эпистемические черты, которые зависят от парадигмальных установок исследователя, от направления, к которому относит себя ученый, описывающий данный конструкт.

Л.Г. Ефанова предлагает следующее определение: «Содержание понятия нормативной языковой картины мира может быть определено как отраженная в семантике языковых единиц разных уровней система социально обусловленных и регулярно выражаемых средствами языка представлений о том, каким должен быть человек, социум и весь окружающий мир, для того чтобы получить со стороны социального субъекта положительную оценку и не вызывать у него неодобрительного отношения» (с. 169). Однако эта дефиниция не снимает вопроса, в каких отношениях находятся понятия «языковая картина мира» и «нормативная языковая картина мира».

Как известно, понятие картины мира приняли в методологии в начале XX в. для обозначения одного из структурных элементов теоретического знания естественно-научного спектра. К 1960-м гг. стало ясно, что каждая наука создает и институализирует рациональные модели действительности. Кроме того, было признано, что они граничат с теми картинами реальности, которые порождает у человека непосредственная предметно-практическая деятельность. Постмодернистская парадигма, затронувшая и науку, привела к принципиальной фрагментации действительности. «Миров» стало много. Сегодня иерархия и конкуренция выделяемых картин мира, а также их структура и сущностные эпистемические характеристики остаются дискуссионными, а мультипликация «миров» и их «картин» приводит к размыванию и обесцениванию их операционального потенциала.

На этом фоне понятие языковой картины мира также не избежало дробления, в нем стали выделяться и гипостазироваться отдельные аспекты. Конечно, вопрос об эвристической ценности (результативности) подобных построений разные научные школы решают неоднозначно, и никто не отрицает право ученого предлагать в качестве объекта исследования или же в качестве инструмента анализа новый вид такой родовой сущности, как картина мира. Однако термины «языковая картина мира», «ценностная картина мира», «ценностный аспект языковой картины мира», «нормативная картина мира»,

«языковая нормативная картина мира», «нормативная языковая картина мира» несколько спорадически возникают как в цитатах из работ В.И. Карасика, А.П. Бабушкина, Е.М. Вольф, В.Н. Телия, так и в собственном тексте автора, не давая возможности дифференцировать эти феномены и показать их иерархию.

Не всегда удачна и авторская терминология Л.Г. Ефановой (вызывают сомнения термины «норма оптимального состояния одушевленного объекта или субъекта», «норма количества статического / динамического признака одушевленного субъекта»).

К сожалению, автор не излагает принципы подачи гигантского массива примеров. А *posteriori* напрашивается вывод, что единственное ограничение языковой эмпирии при проведении исследования было связано с очень редким (спорадическим) привлечением диалектных фактов. Их отсутствие, пожалуй, не меняет радикально сущности и контуров смоделированного функционально-семантического поля. Кроме того, ясно, что выбранные и сгруппированные на страницах книги языковые факты в дальнейшем можно привлекать для анализа в иных аспектах. Как уже говорилось, списки примеров чаще всего очень пространны (достигая нескольких страниц), но иногда все же ограничиваются двумя-тремя единицами. В обоих случаях возникает вопрос: закрыт ли данный перечень? И этот вопрос нельзя считать праздным, поскольку разработанность той или иной зоны функционально-семантического поля оказывается принципиальной.

В заключение отметим, что книга Л.Г. Ефановой имеет отчетливо выраженный личностный отпечаток и на способе постановки и решения вопросов, и на способе описания полученных результатов. Не подлежит сомнению, что она, корректно вписываясь в современную проблематику языкознания, будет интересна не только лингвистам.

Г.В. Калиткина

A BOOK REVIEW: YEFANOVA L.G. NORMA V YAZYKOVY KARTINE MIRA RUSSKOGO CHELOVEKA [THE NORM IN THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF A RUSSIAN].

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 3(35), pp. 202–209.

DOI 10.17223/19986645/35/16

Kalitkina Galina V., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: dasty2@yandex.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

БИТКИНОВА Валерия Викторовна – канд. филол. наук, доцент кафедры истории русской литературы и фольклора Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

E-mail: bitkinova@mail.ru

БУДАНОВА Ирина Борисовна – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: irinakorniltseva@mail.ru

БОГОЯВЛЕНСКАЯ Юлия Валерьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры романских языков Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург).

E-mail: jvbog@yandex.ru

ВОРОБЬЕВА Елена Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка Вологодского государственного университета.

E-mail: helenvorobyova@mail.ru

ВОРОБЬЕВА Татьяна Леонидовна – канд. филол. наук, доцент кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования Томского государственного университета.

E-mail: tatnick@mail.ru

ЖИВАГО Наталья Александровна – аспирант кафедры русского языка Томского государственного университета.

E-mail: zhivago.natalia@gmail.com

ЖИЛЯКОВА Эмма Михайловна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: emmaluk@yandex.ru

КАЛИТКИНА Галина Васильевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного университета.

E-mail: dasty2@yandex.ru

КОВАЛЬЧУК Светлана Сергеевна – канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации естественно-научных направлений Тюменского государственного университета.

E-mail: sskovalchuk@mail.ru

МАТХАНОВА Ирина Петровна – д-р филол. наук, профессор кафедры современного русского языка Новосибирского государственного педагогического университета.

E-mail: matkhanova@mail.ru

МЕНЯЙЛО Вера Владимировна – канд. филол. наук, доцент департамента иностранных языков Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

E-mail: menyaylo917@mail.ru

МИШАНКИНА Наталья Александровна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета; профессор кафедры гуманитарных проблем информатики Томского государственного университета.

E-mail: mishankina@ido.tsu.ru / n1999@rambler.ru

НОВИКОВА Елена Георгиевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.
E-mail: elennov@mail.ru

РАХИЛИНА Екатерина Владимировна – д-р филол. наук, профессор Школы лингвистики Высшей школы экономики (г. Москва); вед. науч. сотр. отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук (г. Москва).
E-mail: rakhilina@gmail.com

РАХИМОВА Анастасия Рамеловна – аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета; преподаватель кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета.
E-mail: nastena.rahimova@mail.ru

ТРУБАВИНА Нина Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры немецкого языка Алтайской государственной педагогической академии (г. Барнаул).
E-mail: tschichni@mail.ru

ЮРИНА Елена Андреевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного университета; профессор кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета.
E-mail: yourina2007@yandex.ru

ЯКОБА Ирина Александровна – канд. социол. наук, доцент кафедры иностранных языков для технических специальностей № 1 Иркутского государственного технического университета.
E-mail: irina_yakoba@mail.ru

ЯНУШКЕВИЧ Александр Сергеевич – д-р филол. наук, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.
E-mail: asyanush50@yandex.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами переписку по методике написания и оформления научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2015. № 3(35)

Редактор *Т.В. Зелева*
Редактор-переводчик *В.В. Каишур*
Оригинал-макет *Г.П. Орловой*
Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Подписано в печать 19.06. 2015 г. Формат 70х100 ¹/₁₆.

Печ. л. 13,25; усл. печ. л. 18,55; уч.-изд. л. 18,35.

Тираж 500 экз. Заказ 1105.

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru